

81 (2) 6e - Pyc - AKJG
A 69 115 115

Михаил Анохин

ЕСЛИ
В ДОМЕ

ТЕРЯЮТСЯ
НОЖНИЦЫ!

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Ко. экз. пред. выдан

22.08.08 - 782

будим от-еле
от абрагор

сиреиь 2008г.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves.

09

84(2Рос-Рус-НК)Б
А 69 — КБ

Михаил Анохин

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЕСЛИ
В ДОМЕ

8744870

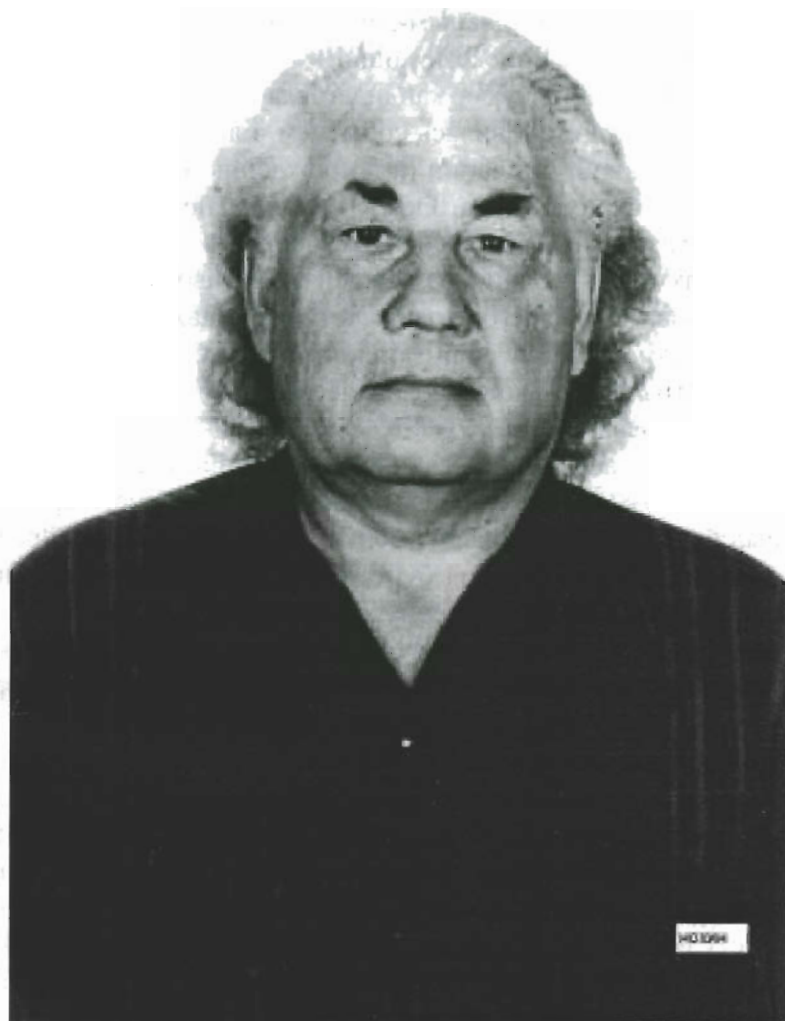
ТЕРЯЮТСЯ
НОЖНИЦЫ

Прокопьевск, 2008

О	Прокопьевская ЦБС
обсл.	Центральная библиотека

*Автор выражает
искреннюю признательность
директору ООО «Вита-плюс»
Заречневу Ивану Николаевичу
за оказанную финансовую помощь
в издании этой книги,
а также прокопьевской городской
партийной организации
«Справедливая Россия».*

Я за справедливую Россию



ПРЕДИСЛОВИЕ.

ГОРОД ГРЕМЯЩИХ ТРАМВАЕВ

Это первая книга прозы прокопьевского литератора. Но не первая по счёту. В самом начале были стихи – они вышли отдельной книжкой давным-давно, где-то в 1970-е годы. Автор тогда жил в Бийске и ходил в городской литературный кружок. Тогдашний отбор кандидатов на публикацию был строг и любая книга становилась событием в литературной жизни. Однако бывший бийчанин (а по рождению он наш – из села Калары, что под Таштаголом) Михаил Анохин – личность, больше известная Кузбассу не в качестве литератора. В 1989-90 годах он был одним из вождей забастовочного движения шахтёров, потрясшего страну. Хотя и не шахтёр, по профессии он строитель. А если заглянуть глубже в биографию, то матрос тралового флота, геологический рабочий, да много чего перепробовал.

Но про забастовки. Главным содержанием тех забастовок, если глянуть трезво и беспартийно из сегодняшнего времени, был бунт против засилья номенклатуры, за правду и справедливость. Однако энергия бунта была перенаправлена в иное русло – номенклатура обернула народную социальную самодеятельность в свою пользу, совершив «капиталистическую революцию» и придя в 1990-х годах к олигархической форме «демократии» и ельцинизму. Приватизация собственности, «обнуление» вкладов в сберегательных кассах, либерализация экономики, раздел страны, невыплата зарплат и пенсий, расстрел политических противников в 1993 году, «рельсовые войны» 1995-98 годов, дефолт и галопирующая инфляция – такое ни одному, даже самому рьяному забастовщику-экстремисту и в голову не могло прийти. Как бы там ни было, а новое время настало. Кто-то из лидеров рабочего движения ушёл

в тень, кто-то занялся профсоюзной деятельностью, кто-то стал штрейкбрехером и его встроили в новую политическую систему. А самых резвых во власть или в право-партийную деятельность. Об уровне социальной справедливости 1989 или 1990 года, которым были недовольны забастовщики, теперь можно рассуждать лишь в жанре социальной фантастики. Нынешний управленец и нынешний работяга, бывший «гегемон», находятся в отношениях белого плантатора и чёрного раба и, по-видимому, надо ждать новых, настоящих, а не «бархатных» бунтов, которые образуют пока ещё непуганого отечественного «работодателя». И, естественно, новых вождей. На этом вульгарно-социологическую часть текста завершаю. А нужна была она, чтобы уяснить – зря Анохина попрекают за 1989 год, путая шахтёрские забастовки с последующим развалом страны. Он страну не разваливал, это точно.

После поражения рабочего движения Михаил Анохин ушёл в философию и литературу. Время от времени выступал в периодической печати – дома и в газете «Край». Выступает и сейчас – в литературном приложении газеты «Кузбасс» «Круг чтения». Ведёт программу «Русское слово» на кабельном канале ТВ Прокопьевска. Написал книгу «Записки забастовщика». Она, к сожалению, не опубликована, а могла бы прояснить многое из недавнего прошлого. И углублённо занимается прозой. В большинстве своём прозаические работы Анохина пока остаются в рукописях. Напечатано лишь несколько рассказов и сокращённый вариант одной из повестей в журнале «Огни Кузбасса». То есть предлагаемая вашему вниманию книга – первое полноценное издание прозы Михаила Анохина.

Должно сказать, что Анохин не стилист в общепринятом смысле слова, не из школы Тургенева или Бунина, он не стремится отделать фразу, отшлифовать её до блеска. Он – мысли-

тель. Если позволите сравнение с великими, то его духовная родня Достоевский и Толстой. Иногда слово Анохина не поспевает за смыслом и возникает некоторое косноязычие. Впрочем, вполне извинительное в свете иных достоинств текста.

Рассказы Анохина многоплановы и сложно организованы. Написанное возможно понимать буквально, но не только. Подумаешь над прочитанным – обнаружишь подтекст. А поразмыслишь – возникнет новый, пожалуй, наиболее интересный смысловой этаж художественного произведения. Замечу тематическое и жанровое разнообразие произведений, включённых в книгу. Тут и классический рассказ (можно, однако, назвать это маленькой повестью) «Билет в **Фатерлянд**», – упрощённо говоря, о современном Акакии Акакиевиче Башмачкине, тихонько существовавшем в одном из «присутственных мест» и потерпевшем в результате «четвёртой революции» карьерное и человеческое фиаско. «Свет в конце тоннеля», привидевшийся было ему, использовать не успел – человека подмяла под себя грубая жизнь.

Дальше – стилизация под «житийную» литературу. Вещь так и называется – «Житие странника»: о человеке, взыскующем святости, не то бродяге, не то божже, которого активно отвергает власть, светская и духовная, и не вполне понимает даже ближайший соратник, практически ученик. Блестящий «абсурдистский» рассказ, давший название книге, – «Если в доме теряются ножницы», его в двух словах не охарактеризуешь, следует читать.

А это бытовой детектив с фрейдистским анализом «Прокурорская сага». И мрачная социальная фантастика в духе Джорджа Оруэлла «Ковчег».

И нечто, одновременно напоминающее Платонова и Шукшина, однако содержательно совершенно оригинальное, – «Смерть матери», «Трое». А также «ностальжи» из детства «Всяетка», только

без присущей такого рода «средним» произведениям сентиментальности. И просто-таки агностический философский трактат, замаскированный под художественную прозу, – «Как будто».

Не лишены рассказы, повторюсь, словесных недостатков, есть композиционные огрехи (например, «Прокурорская сага», где явно лишний рассказчик-журналист), но в целом книга ощущается как работа зрелого мастера слова. И добавлю важное. Все рассказы созданы на живом, современном материале. Ситуации, даже самые, на первый взгляд («Ковчег», «Житие странника»), фантастические, абсолютно узнаваемы. Характеры прописаны, иногда до мельчайших деталей («Кafka из Таштагола»), физиономии персонажей яркие и запоминающиеся. Большинство произведений Анохина помечены конкретным адресом. Это сибирский город Прокопьевск. Его серый снег. Его «тупорылые» трамваи. Его шахты, проглатывающие людей поутру и возвращающие (а зачастую не возвращающие) ввечеру, после основной смены.

Писатель Анохин создаёт (возможно – приспособливает под себя, под своё видение) личное литературное пространство. Как Гоголь – Петербург, Фолкнер – округ Йокнапатофа, Солоухин – Владимирские просёлки. Только у него это литературное пространство наполнено тревогой и ощущением неблагоприятия: видите ли, если в доме постоянно теряются ножницы, дом накануне беды...

Возвращаясь к началу данной заметки, скажу, что во многом книга Анохина это художественная фиксация разочарований бывшего советского человека, надеявшегося в период «перестройки» и последующих реформ на изменения к лучшему в общественной и приватной жизни. Подчеркну при этом: слёз по прошлому нет. Бывшая власть (а Анохин человек немолодой, помнит смерть Сталина и время правления последующих социалистических начальников), бывший уклад жизни ощу-

щались среднестатистическим гражданином СССР чужими. Но нынешние – ещё чужее.

Осмелюсь назвать Михаила Анохина стопроцентно состоявшимся прозаиком. Жаль, что книги такого уровня встречаются в кузбасской (да и российской) прозе не столь часто, как хочется.

006

Василий ПОПОК,
член Союза писателей России. Январь 2008 год.

ПРОКУРОРСКАЯ САГА.

007
008

«Но, видимо, нет такой женщины, которая, даже раздвигая колени, не была бы убеждена, что мужчина оценит ее по достоинству, только если будет разыграна мелодрама. Эта трогательная и наивная иллюзия как раз и делает женщину жертвой одностороннего духовного насилия... Наивность женщины превращает мужчину в ее врага».

Кобэ АБО «Женщина в песках».

За пределами профессии в журналистике остаётся немало сюжетов, долго будоражащих воображение и не отпускающих от себя. В тот памятный для меня день редактор потребовал полосной статьи на тему людей «скорбных душой».

-Здесь конь не валялся, а между тем и там, в этих «отстойниках человеческого брака» люди живут, - объяснял редактор «дядя Паша» мою «сверхзадачу». - Один Бог знает, о чем они думают и что переживают. Мы закрыли, понимаешь, глаза и думаем, как тот страус, что никто нам в жопу не клюнет. Еще как клюнет, да поздно будет!

Мой редактор имел привычку говорить «суконным языком житейской прозы» чем смущал, поначалу, женскую часть

нашей редакции. Он не был пошляком или сквернословом, этот среброволосый дядька, переживший на своем веку много чего, в том числе десятки вызовов на партийный ковер, угрозы криминального капитала, «давёжь» сменяющихся местных князей. Говорил так, поскольку для него не было ни в политике, ни в словах табу, а была только одна целесообразность. Иногда, как в этой фразе, такое требование едва угадывалось, но чего не сделаешь ради точности образа?

Образ страуса, укрывшего голову и выставивший на всеобщее обозрение ничем не защищенный зад, очень даже говорящий образ. По крайней мере, мне, но я хочу рассказать вам не об этом и не о дяде Паше и наших редакционных делах и делишках. Я хочу рассказать вам о прокуроре, которого встретил в доме «скорбных душой», хотя эта встреча была мгновенной, и о последующем вживании в души героев этой трагедии.

Разгребание прокурорско-милицейской грязи заняло много времени и, как верно сказал Экклезиаст, принесло мне это малое знание много горя. По крайней мере, в виде отворачивания к роду человеческому, да и к себе, конечно.

Но в путь! Я отправился на редакционной машине в чудное местечко под названием «Сосновый бор». Психоневрологический диспансер располагался в этом бору на окраине тёмного, как смоль, и, наверно, очень глубокого лесного озера.

Внешняя ограда из нескольких рядов колючей проволоки захватывала как само озеро, так и изрядный кусок соснового леса. Второй ряд отгораживал озеро от зданий лечебницы. Меня ждали и встретили у внешних ворот с небольшим караульным помещением. Ворота, которые распахнулись и приняли меня, были выполнены из брусьев и всё из той же колючей проволоки. Заборы и проволока, «огораживание» и «выгораживание»... В голове вертелись какие-то образы, дурацкие рифмованные слова, пока я обходил машину, чтобы поздоровать-

ся с хозяевами заведения.

Мужчина в белом халате, из-под которого выглядывала синяя рубашка с галстуком, представился как главврач учреждения. Он протянул мне свою узкую и сильную ладонь со словами: «Ковалев Сергей Владимирович, главврач этого «скорбного дома».

Сказал особенно, так, что я почувствовал в его словах приглушенную иронию. Он пояснил мне: «Вдвойне скорбного: с одной стороны контингент страдает душой и телом, с другой нет никакого финансирования».

«Ну, это известная песня всех бюджетников», - подумал я, вышагивая по гравийной дороге к главному корпусу. Всего насчитал пять строений, из них только одно, трехэтажное, было из красного кирпича, остальные рубленные из круглого леса.

Кабинет главврача, где я угощался крепким кофе, был невелик. Интерьер «поношен», как бывает поношен хороший костюм в руках бережливого хозяина лет через десять, пятнадцать.

Сергей Владимирович словно угадал мои мысли: «Последний раз эти стены видели ремонт ровно пятнадцать лет тому назад, как раз перед бучей, которую заварили шахтеры».

- Шахтеры ли? - переспросил его я. - В это трудно поверить.

- Ну, так говорят все, - он усмехнулся, - и я вслед за всеми говорю, а как там было, то один черт рогатый знает. Человек в общем и целом птица общительная, сродни попугаю или сороке, быстро перенимает стадные привычки. - И резко переменяв тему разговора, спросил:

- Ну-с. Так что же вас интересует конкретно?

То, что меня интересовало «конкретно», то выпало в «осадоку» в моей статье, а вот то, что туда не попало, что побудило

меня встать на тропу художественную, об этом стоит сказать несколько слов.

Во-первых, Ковалев, то есть главврач, соблазнил меня рыбалкой:

- Привезешь три-четыре линя жене на жаркое, разве ж это плохо? А трудов-то всего с полчаса, да каких! Азартных! С поклевкой!

Мы поднимались от озера уже удовлетворенные рыбалкой. Я с гордостью нёс собственноручно выловленных трёх огромных, отливающих бронзой линьков.

Рыба из озера во многом разрешала экономические трудности учреждения. Так Сергей Владимирович объяснил мне эту страсть к рыбной ловле и даже огораживание озера от случайных, пришлых рыбаков имело под собой экономический смысл.

- Однажды, - рассказывал мне Ковалев, - приехали на двух джипах крутые ребята. Чего с ними не было! Сети и даже шахтная взрывчатка. Пока в уме были, не упились, говорю им: «Валили бы отсюда подобру-поздорову иначе вооружу своих дураков чем ни попадя, да напущу на вас»...

- Ну и что? – переспросил я.

- А что? Озеро, как видишь, на месте и линёк в нём отменный. Так что мои подопечные с голоду не мрут. У меня главная проблема – муку достать да сахар, особенно осенью, когда ягода поспеет. Натуральным хозяйством выживаем.

Как я уже говорил, само озеро так же было отгорожено от административных зданий колючей проволокой. Получалось как бы зона в зоне.

- Приходится все мелочи продумывать, - по ходу пояснял заведующий «скорбным домом». - Это дополнительное ограждение выполнено с единственной целью, чтобы больные не вздумали купаться в озере. Есть, есть здесь такие Тарзаны...

Глаз да глаз за ними нужен.

Мы прошли через калитку (брус и колючая проволока) и очутились в саду. Сад состоял из толстенных и высоченных рябин, черемуховых кустов, зарослей крыжовника, смородины, малины и редкой сибирской ягоды – ирги. Посреди сада шла вымощенная битым кирпичом аллея, по краям аллеи стояли скамейки. Обычные – бетонные бока-опоры и деревянные прожилки. Несколько больших (я успел наглядеться всяких разных!) сидели на скамейках. Мое внимание привлек один из них, опрятно одетый, с венцом белоснежных волос на голове, редких и высоких, словно не голова человеческая, а одуванчик.

- Кто такой? - спросил я своего гида.

- Прокурор, - ответил он мне.

Я подумал, что он шутит. Нет, вначале я подумал, что это больной выдает себя за прокурора, но, глянув на Сергея Владимировича, понял, что в его словах нет шутки. Видимо, и он почувствовал, что я теряюсь в догадках, и пояснил:

-Он на самом деле прокурор. Его перевели к нам из соседней области года три назад. Тихий, опрятный человек.

Мы как раз поравнялись с ним и я глянул ему в лицо: на меня глядели бездонной синевы глаза но, мне казалось, что смотрят они куда-то сквозь меня. Ощущение было не из приятных, не страшное, но тревожное, словно я голый мимо него прошел.

- Неуютно, да? - спросил меня Сергей Владимирович, ничуть не стесняясь сидящего, а ведь речь шла о нём, о прокуроре, и он мог не только видеть, но и понимать, что речь касается его.

- Это случается с душевнобольными, - продолжал как ни в чём не бывало доктор. - Их взгляд приобретает завораживающую силу, гипнотизирует. Почему так происходит – никто толком не знает, разве что священники...

Тут он оборвал себя, не договорил и, чувствуя неловкость недоговоренности, разразился невнятными звуками:

- М-да, конечно... м... Вот вам, наверное, сделалось неуютно, будто вы, словно голый, проходите мимо него. Так?

Я замялся, поскольку он действительно нашёл точное определение моему состоянию - «неуютное». Выражение лица, глаза, весь образ больного - ничто не говорило о его безумии или каких-то иных ненормальностях. Он просто смотрел сквозь нас и молчал. Трудно было отвести взгляд, как нищему вместо подаяния сказать «нет», да еще прилепить к этому «нет» ряд подходящих к случаю эпитетов. Мне казалось, что мой взгляд, точнее, мои глаза для него были таким же подаянием, как копейка нищему. Странное, очень странное, никогда и нигде более не изведенное мной чувство!

- Он не понимает, что говорят о нём. Об этом не беспокойтесь, - Сергей Владимирович дотронулся до моей руки, давая понять, что «хватит, поглазели». И тем самым как бы вывел меня из гипнотизирующей, бездонной голубизны прокурорских глаз.

- Станный, странный больной, – машинально пробормотал я. Почти физически чувствовал на своем лице этот взгляд. Он словно прилип к моему лицу. И всю дорогу до кабинета главврача никак не мог отделаться от этого чувства. «Взгляд сквозь меня, туда, где моё будущее? А может, где будущее всех и оттого в этом взгляде столько неизбывной печали?»

Я даже поежился от таких мыслей и подумал: «Эко куда меня занесло!?».

- Он что, не говорит? – спросил я Сергея Владимировича, входя в административное здание.

- Почти не говорит, по крайней мере, он не отвечает на вопросы, а когда заговорит, то произносит слова не адекватные ситуации. Две, от силы три коротких фразы.

- О чем он думает? - спросил я, вышагивая рядом с врачом

по стертým половичкам коридора. Я полагал, что он-то должен знать ответ на этот вопрос, но Сергей Владимирович обескуражил меня:

- А кто его знает, – он поглядел на меня с какой-то усмешкой, - вот вы знаете, о чем я думаю?

- Нет, конечно! Разумеется, нет!

- Вот и я не знаю, о чем думают мои пациенты. Я знаю их реакцию на мое слово, действие, на лекарство, в конце концов, но что они думают и о чем думают, это скрыто от меня.

- Как же вы их лечите?

- А мы и не лечим их, мы наблюдаем.

- А этот прокурор... Какая-то история его заболевания есть?

- Есть. Только это относится к разряду медицинских тайн.

Как я ни упрасивал Сергея Владимировича, чтобы он мне рассказал эту историю, он остался неумолим: «И не просите, и не вводите меня в искушение».

Уезжал я из этого учреждения снедаемый любопытством к загадочной личности прокурора. Когда я сел в машину, Сергей Владимирович, наклонясь ко мне, сказал: «Вот когда он умрет, если у вас останется желание узнать его историю, то милости прошу, приезжайте».

* * *

Прошло два года и я уже подзабыл этот разговор, эту встречу, когда неожиданно в телефонной трубке услышал мягкий тенор Сергея Владимировича. Узнал его сразу. Он сообщил мне, что человек, историей которого я заинтересовался, умер.

Я уже и не знал, нужна ли мне история сумасшедшего прокурора или не нужна, но из уважения к собеседнику я с излишним энтузиазмом сказал, что завтра-послезавтра непременно приеду. Приехал, правда, через неделю.

За два года ничего не изменилось, даже обои на стенах кабинета главврача остались прежние, только еще сильнее выцвели, потускнели.

- Вот, - Сергей Владимирович положил на стол огромную папку, видимо, приготовил её заранее. - Читайте. Если не против, можете в моем кабинете читать. Я вам мешать не буду, дела, знаете ли, дела.

На этот раз в его голосе я не уловил той легкой иронии, которая свойственна оптимистам. Была тоска.

* * *

Начать эту прокурорскую сагу необходимо с Петра Алексеевича Дёмина. Он работал следователем в городской прокуратуре, и эта работа была ему ненавистна, но он терпел её «по обстоятельствам жизни», как терпел свою супругу Анну. И профессия, и супруга явились следствием его юношеских увлечений.

За год до окончания школы Пётр Алексеевич начитался рассказов о Кони и Плевако и ему захотелось стать адвокатом. Дёмин без труда поступил в юридический вуз, а на втором курсе, когда проходили историю права, его словно пронзило, словно открылось у него особое зрение. Он увидел, что в мире людей право, как правда, как любовь, не имеет ни малейшего отношения к действительности, хотя люди ни о чем ни говорят с таким желанием и энтузиазмом, как о любви, правде и справедливости. И Дёмин понял, что право в государстве наподобие хорошего лакея в английском доме: все знает, но обо всём молчит, пока его не спросит хозяин. Хотя правовые отношения много чего и даже самым существенным образом меняют в этой действительности, они утяжеляют её, как чугунные грузы в балласте парусного корабля утяжеляют его маневренность.

Такой вот получился у него парадокс: с одной стороны, право не имеет отношения к жизни, а с другой вторгается в жизнь наподобие бульдозера в заросли кустарника. Право, как инородный обществу, но мощный механизм, его перепыхивающий...

Еще в студенчестве на ум приходили строчки Твардовского: «Как та самая машина скорой помощи идет: сама режет, сама давит, сама помощь подает!». Помнится, Демин долго и как-то истерически хохотал над таким определением правоохранительных органов. И себя видел как санитаря в этой машине – огромные, не его, чужие, волосатые ручища...

Разрешить этот парадокс, между правом и своей совестью он так и не смог, но зато получил стойкое отвращение к профессии.

* * *

Что же касается любви, то призрачность и недолговечность этого эфирного создания, этой розовой дымки, этого безумного юношеского флера, он понял уже через три месяца после женитьбы на сокурснице Анне Смеляковой. Эта обаятельная, млеющая от стихов девушка, такая, казалось бы, возвышенная и тонкая натура, оказалась обыкновенной, мелочной и склочной бабой, к тому же мало следящей за своей внешностью в обыденной жизни. Это больно задевало Дёмина, но ребенок, которого родила ему Анна, привязывал Петра к семейному очагу сильнее, чем отвращение к его матери.

Дёмин терпел жизнь и привыкал к ней. Наверное, в этом было что-то наследственное, потому как и мать, и отец Дёмина всегда повторяли одно и то же: «Бог терпел и нам велел».

С Богом у Дёмина были сложные, «натянутые» отношения. В отличие от разного сорта отрицателей Бога Дёмин прочитал не только канонические книги Ветхого и Нового заветов, но и работы таких столпов православия как Святитель Брянчанинов, Дионисий Ареопагит, Серафим Саровский. Эта

начитанность давила его, а не помогала жить. Страсть к чтению именно этого сорта литературы стала болезненным влечением, уходом от домашних проблем и суеты работы.

Дёмин терпел жизнь тихо, невыразительно, даже обречённо. Бывает, что одни терпят такое, что других повергает в тихую или буйную ярость. Следовательская работа давала ему наглядное подтверждение этим умозаключениям. Но сам он старался ничего из того, что было в нем беспокойного, порой страшного, не показывать людям. Напротив, он выглядел тихоней, немногословным и потому ему давали вести самые громкие дела, случающиеся в городке. Если бы знали сослуживцы, то самые ему ненавистные.

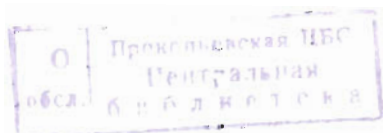
Вот и сейчас на его письменном столе в душном закутке отдельного кабинета лежало «Дело об изнасиловании гражданки Коломиец Ангелины Петровны» и дальше следовали год её рождения и домашний адрес. К немалому удивлению Демина в деле оказалась и фотография потерпевшей. Милицкий дознаватель явно переусердствовал, фотография потерпевшей была не нужна по протоколу дознания, но была в нём.

Демин вытащил из папки фотографию: «Так вот ты какая, Ангелина Петровна, пострадавшая», - пробормотал следователь.

С картонного листика на него глядела девица двадцати лет. Фотография была цветная и потому голубые, дерзкие (Дёмин подумал: «Наглые») глаза так и буравили следователя. И опять подумал: «Нет, не зря появилась это фото в деле... Не зря...».

Пальцы машинально вытащили вторую фотографию, теперь уже её насильника. Это был мужчина тридцати с небольшим лет. Дёмин, не отдавая себе отчета, сравнил взгляды. Мужчина смотрел уверенно и спокойно. Петр подумал: «Глаза - зеркало души...».

Мысль скользнула и пропала, как это бывало не раз. «Зеркало» преступника было чище и яснее, чем «зеркало» потерпевшей – вот



82-44870

какой вывод сделал Демин, пока даже не осознавая, что этот вывод сделан. И то, что этот вывод поведет за собой цепочку следствий, вовсе не тех, какие бы хотел следователь прокуратуры Дёмин, и уж конечно не тех, какие четко и ясно изложил прокурор города, передавая ему в производство это дело.

А передавая ему дело, прокурор сказал: «Тут все ясно, нужно только бумаги оформить правильно, чтобы представить дело в суд».

Вчера это было, в конце рабочего дня.

Дёмин закрыл папку, с хрустом потянулся, мельком пролетела мысль, что нужно по утрам махать ногами и руками, кланяться неведомому богу, словом, нужно делать зарядку, однако вслух сказал другое: «Нужно увидеть этого Буртазина». Дальше все слова были мысленные, отрывочные, случайные.

Дёмин пришел в горотдел милиции, где в подвальном помещении находилось СИЗО, а на первом этаже кабинеты дознавателей. Такое обозначение должности милицейского следователя вызывало у Дёмина цепочку неприятных и даже пугающих ассоциаций, а тут еще круглый, как колобок, старший лейтенант Тетёркин с которым приходилось делить кабинет, когда дела милицейские и прокурорские пересекались, как в этот раз.

Тетёркину было за пятьдесят и потому он взял за правило учить уму-разуму Петра, посвящая его в нехитрые приемы следовательского дела.

- Рано ты пришел «исповедовать» своего подопечного. Человек, можно сказать, еще совершенно «зелёный», не созревший для откровенного разговора, - говорил Тетёркин, бурявя взглядом Дёмина. Эта привычка смотреть на собеседника «пристрельно», как выражался старший лейтенант, стала частью его личности.

- Ты дома на жену так же смотришь? - спрашивал понача-

лу Демин, поеживаясь от тяжелого, недоброго взгляда Тетеркина.

- Я на всех гляжу так, даже на своего начальника, потому как никому в жизни нельзя доверять, – при этом он ухитрялся улыбаться, но улыбка походила на насмешку или даже на издевку. - У меня все люди под подозрением и ты, кстати, тоже.

- Я-то почему? - Демин недоуменно пожимал плечами и думал о том, каких же монстров воспитала система, но никогда не говорил об этом вслух, памятуя мудрую пословицу о длинном языке, который завязали петлей на горле.

- Потому что ты человек и все вокруг - люди, а значит потенциальные преступники, – пояснил Тетеркин.

- И ты тоже потенциальный?

Тетёркин спрятал усмешку и сказал совершенно серьезным тоном. от которого мурашки пошли по коже:

- Я-то? Без всякого сомнения! Если хочешь знать, всяк, кто работает в милиции лет пять-десять, становится преступником, - и пообещал молодому следователю. - И ты скоро им станешь»

А потом улыбнулся злорадно и успокоил:

- Только вот на нас нет суда и следствия, - гадкая ухмылка сползла с лица и скучным, будничным тоном Тетёркин закончил свою поучительную мысль, -покуда ты соблюдаешь внутренние, неписанные правила нашей милицейской корпорации. Тогда - ты отличник боевой и политической подготовки. Кандидат на повышение по службе и прочее, что причитается служаке... Словом, «пионер» и «будь готов», служу - кому доложу! Так-то, парень. Вникай в смысл жизни и службы.

Тетёркин был на хорошем счету, имел не одну правительственную награду и потому самые сложные, самые запутанные дела поручали старшему лейтенанту. Будь у него высшее образование, то далеко бы пошел этот Тетёркин. О своем образовании он говорил неохотно да и взгляд отбивал всячес-

кую охоту говорить с ним по душам, однако Тетёркин, не поняв почему, поставил себе за правило поучать Дёмина.

Через месяц вынужденного общения с ним Пётр ненавидел дознавателя тихо и глубоко. Но тот, несмотря на всю свою пронизательность, так и не понял этого. Или же понял, но настолько сжился с тем, что его не любят, что не обращал никакого внимания.

- Да, рановато ты пришел к своему подопечному, – повторил Тетёркин. - Я его видел, когда привезли опера. Добиться от него нужных показаний сложно, его потомить надо. Это особый сорт людей, мнящих о себе черте что. Такие, как арбузы семечками, набиты разными идеалами...

- А заявление от потерпевшей кто принимал? - оборвал его Пётр. Из головы не шла фотография Ангелины: «С чего бы она там появилась?».

- Хрен его знает, кто, наверное, участковый. Тебе это без разницы, кто, - и гоготнул, словно жеребец проржал. - Отъёбься бобик, теперь самого трахать будут, – это ржание касалось судьбы подследственного.

- Ты так радуешься, будто сам его трахать будешь, – буркнул Дёмин

Тетеркин еще что-то говорил, но Дёмин ушел в себя и мысли «непрощенные», неподобающие следовательно мысли завладели им. История права, сыска, прочитанные «расширенно», с выходом за пределы учебной программы, врезалась настолько глубоко и болезненно, что превратились в род душевной болезни Петра. Он жалел, что пошел на юридический факультет. И вдвойне жалел, что стажировался на уголовном праве.

В голове Дёмина вертелись образы из ранее прочитанных брошюр и всё это сливалось в некий калейдоскопический, жутковатый карнавал. Это была его обычная, как он называл, – «пытка воображением».

То, что внизу под кабинетом Тетеркина подвал, иначе сказать СИЗО, а над подвалом сидят «дознаватели», воображение превратило в сруб. утопленный на метр в землю, Под коробчатой крышей сруба деревянные балки, скругленные, лоснящиеся от жира перекинуты через них верёвки и болтающиеся на этих верёвках конские хомуты.

В сторонке напротив входа горны с вытяжной трубой и сушило с березовыми вениками. В противоположном углу вкопанная в землю железная клетка и там люди, человеческий материал дознавателя. Из этого материала огнем и железом нужно дознаться правды, ведь на-то и должность такая — дознаватель.

Конечно, никто пока не знает, какой правды дознаваться нужно, но вот отопьет утренний чаек следователь и спустится в эту курную избушку и поставит вопрос о правде.

И тогда всё. Правда должна быть выпытана, добыта любым путем. А если подследственный Богом клянется, что всю правду сказал, а эта правда с правдой следователя не бьет...

И в воображении Демина зазвучали голоса из этой воображаемой им пыточной избы. «Говори правду, говори правду!». Скрежет зубовой и стон в ответ. «Я сказал правду, давно сказал...». «Нет, врешь! Врешь!»

Если в такие минуты поглядеть на Демина, то можно увидеть, как широко раскрылись его глаза, как зрачки слились с радужкой и дыхание стало прерывистым, словно тащит он неподъемную тяжесть в гору.

Так случалось нечасто, но бывало, вот как сегодня. И кто-то в его мозгу наставительно говорит, похоже, Тетёркин: «Хотя по законам положено только три раза пытаться правду, но когда случается пытанный на второй или третий попытке речи переменит, то еще трижды пытается, и так, пока правду не подтвердит, либо Господь не приборет, следует делать».

- Ты меня слышишь? - это уже явственно, громко, спро-

сил Тетёркин. Дёмин вынырнул из омута собственного воображения и с тоской подумал, что никогда из него не получится путёвого следака. Что он болен какой-то психической болезнью, которая запрещает работать в органах.

- Привели твоего подопечного. Если хочешь, то я помогу тебе его «расколоть»? - предложил лейтенант.

- Нет, не надо, - Дёмин стряхнул с себя наваждение. - Ты пойди, погуляй малость.

Когда Дёмину определили место в горотделе, то начальник дознавателей пояснил, что у Тетёркина самый большой кабинет: «Вам обоим места хватит, к тому же, - майор подмигнул Демину, - у Тетёркина можно кое-чему поучиться».

Поначалу так и было: Тетёркин сидел в сторонке, когда Дёмин допрашивал подозреваемых и даже приходил на помощь, как в тот раз, когда задержали рецидивиста по кличке «Уголь».

Тетёркин не выдержал откровенной издевки матерого уголовного над неопытным следователем. Он тихо встал со своего места, подошел к нему со скучающим выражением на лице, с руками за спиной и неожиданно для Петра принялся жестоко избивать подсудимого. Он бил так называемым «демократизатором», новейшим изобретением в системе точного делопроизводства.

Этот «Уголь» после обработки Тетёркиным сказал: «Приятно иметь дело с профессионалом, а мне подсунули сопляка. Неуважение ко мне».

Привычная фраза в устах следователей всех рангов и регалий: «Подозреваемый начал давать показания», - с той поры вызвала ироническую усмешку у Дёмкина. Он помнил, как торговался «Уголь» по каждому эпизоду и как охотно брал на себя всё, что не отягчало его статьи.

- Ты мне расскажи, как оно было, а я запомню, подтвержу, - говорил «Уголь».

Со временем Демин узнал, что стоят признательные показания, но у него хватало благоразумия помалкивать «в тряпочку», то бишь в носовой платок. Он только иногда позволял себе понимающую усмешку и изредка фразу: «Куда ж ему деваться?»

Да и сам Пётр Алексеевич в начале своей работы начинал допрос с фразы: «Гражданин, чистосердечно признаетесь в содеянном или избобличать буду?»

Пока не нарвался на одного, который после его фразы сказал: «Начальник, если ты меня бить будешь, то признаюсь в том, что я инопланетянин. Хочешь, признаюсь, что шпионил в пользу трех разведок сразу?».

Дёмин машинально сказал: «Это ты в ФСБ признаешься, а здесь не по адресу».

- Тогда, пиши, что я расчленил и поедал трупы, - уголовник сделал свирепое лицо и клацнул золотыми зубами. Задержанный издевался над ним, но по-особенному, не так, как «Уголь». Эта издевка была грубой проекцией той самой иронии Петра насчет «признательных показаний».

Года полтора Дёмин попадал в похожие ситуации, а Тетеркин, если присутствовал при этом, явно наслаждался, дожидаясь, когда «прокурорский» попросит его помочь.

Дёмин его не просил, зато все чаще и чаще говорил Тетёркину: «Ты погуляй малость». Формально Дёмин имел на это право и пользовался им.

* * *

Конвойные ввели Буртазина сразу же, как только вышел из кабинета Тетёркин. Первое, на что обратил внимание Дёмин, было искреннее удивление задержанного. Ни страха, ничего такого - одно удивление, словно человек попал, как сказочная Алиса, в страну чудес. По отношению к внешнему

миру тут всё было «шиворот навыворот, задом наперёд». Словно Буртазин ни сном, ни духом не ведал, что рядом с ним всегда существовал особый мир, мир людей подозреваемых, осужденных, обвиняющих, судящих и надзирающих за ними. Точнее сказать он знал об этом мире, но знания были поверхностные, «сказочно-нереальные», как та сказка про Алису, «королеву» и «мартовского зайца».

- Садитесь, - сказал Дёмин и указал на массивный стул. Это был единственный стул для подследственных и он всегда стоял на одном месте, потому что его ножки были прикреплены к полу. История о том, как появился в кабинете Тетёркина такой «стул правды», обросла легендами, но сам Тетёркин объяснял появление стационарного стула, «техникой безопасности».

Между тем поговаривали, что однажды Демид Тетёркин получил в своем кабинете «сокрушительное поражение». Задержанный преступник ударил Тетёркина стулом и спокойно покинул здание горотдела через служебный ход во внутренний двор. Преступника так и не нашли по сей день. Эта не извлеченная из сердца дознавателя заноза причиняла ему постоянную нравственную боль.

Конвойные топтались у дверей, ожидая распоряжения следователя.

- Наручники снимите, - тихо сказал Дёмин. - И можете быть свободны.

Пока снимали наручники, Дёмин рассматривал Буртазина и необъяснимое чувство, что перед ним совершенно невинный человек, захватывало его. Может быть, потому, что помнил нагловатые глаза потерпевшей на фотографии, а может, по какой-то иной причине, например, по той же самой, по которой приходят «непрощенные мысли». Дёмин подавил это чувство. Он постоянно давил в себе такие чувства и изне-

могал в борьбе с ними.

- Вы отдаете себе отчет в том, в чем вас обвинила гражданка Коломиец? - спросил Дёмин, раскрывая папку и вытаскивая из неё чистые листки бумаги.

- А она разве обвинила? - в голосе Буртазина было неподдельное удивление.

- Вы что с луны, что ли, свалились? Вот заявление... - Демин помахал листочком бумаги над папкой и ему стало смешно. «Словно мух сгоняю», - подумал он.

- Разве при задержании вам не сказали за что задерживаетесь?

- Да знаете, я только начал подниматься в свой офис, а тут милицейская машина, ребята с автоматами выскакивают... Я и рот не успел открыть, как мне мешок на голову, наручники ... - он кивнул на наручники, лежащие на столе следовательно. - Удивился я. Только через час вспомнил об адвокате. Кстати, сижу уже вторые сутки, требую адвоката, а в ответ только смешки и угрозы.

Дёмин вздохнул и ровным голосом представился: «Я, следователь прокуратуры, меня зовут Дёмин Пётр Алексеевич, мне поручено вести ваше дело, так что давайте все последовательно, по протоколу, начиная с фамилии, места жительства, работы и так до обстоятельств вашей связи с гражданкой Коломиец, а потом и к адвокату подойдем.

Чем дольше беседовал с Буртазиным Дёмин, тем больше испытывал отвращение к своей работе и мысли, проклятые мысли точили его, но Пётр сдерживал их, не давал им воли.

- Адвокат будет и сегодня же, - пообещал Дёмин перед тем как закончить официальную часть допроса. - Кстати, вы можете позвонить отсюда на работу или домой и попросить принести себе смену белья, словом, всё, кроме режущих, колющих, отравляющих, наркотических и так далее предметов

и вещей.

Пока Буртазин звонил по телефону, чего-то объяснял, просил, наказывал, Дёмин думал о том, как же верно определение пословицы, что нельзя, глупо отречься от «сумы и тюрьмы», что все население России так или иначе «тюремно-лагерное».

Он насторожился, когда понял, что Буртазин говорит с адвокатом и речь шла о залоге.

- А выпустить никак нельзя? Под залог там... до суда? - спросил Буртазин, закончив разрешенные Дёминым звонки.

- Пока ничего такого сделать не могу, - Дёмин посмотрел на его пристально, как смотрят на тяжелобольного, с жалостью, что, вот, больной не понимает всю тяжесть болезни и сказать нужно и сказать непросто. - Скажите, Буртазин, у меня сложилось такое впечатление, что вы совершенно не понимаете весь трагизм своего положения. Статья ведь очень нехорошая, по понятиям зоны, очень.

- Трагизм? Да, да, да, конечно! - живо откликнулся Буртазин. - У меня сто сотрудников...

- Я не о том, я о статье, которая вам инкриминируется, - пояснил Дёмин.

- Знаете, не понимаю. Нет, не понимаю и понимать не желаю. Я же вам объяснял только что: поздняя ночь, коньяк, женщина на софе... Вы же мужчина в конце-концов!?

- Я прокурорский следователь. Буртазин, и надо мной и над вами - закон, а там, в законе, статья.

- А здравый рассудок? Логика событий? Знаете, я всё-таки совершенно не понимаю отчего Ангелина написала это дурацкое заявление?

- Этот вопрос я задам ей сегодня же. А сейчас отвечаю: не знаю, почему, но оно написано.

- Глупо все это! Очень даже глупо! У меня бизнес, а я

здесь на нарах, в грязи, с какими-то бродягами...

- А откуда следует, из чего следует, что в жизни все мудро? Вам, Буртазин, не повезло с выбором женщины. Многим не везет, - Дёмина начинала злить детская наивность взрослого человека.

- Нет, не говорите! Ангелина очень даже хорошая девушка. Это видно. Не знаю, как вам объяснить, но это чувствуется, - за всё время разговора в глазах Буртазина вспыхнул чувственный огонь.

«Жизнелюб херов», - подумал Дёмин. И опять в глазах замелькали сцены из спецфильмов о жизни уголовников. Дёмин зябко передернул плечами и сказал:

- Я видел её фото и мне так не показалось.

- Фото обманчиво. Не понимаю. Конечно, я вел себя грубовато, но... - Буртазин виновато развел руками.

- Что «но»? - Дёмин вытащил сигареты, закурил первую за все время допроса и предложил Буртазину.

- Не курю, - Буртазин снова сделал виноватый жест, как бы сожалея, что не может составить компанию следователю. - Вы спросили о моем «но», а ведь это просто. женщина всегда хочет и боится силы мужчины.

- Вы, должно быть, психолог? - Демин усмехнулся. - Но об этом ничего не сказано в Уголовном кодексе. Более того, он **очень**, очень строг в этом как раз отношении.

- Но разве непонятно, что в жизни всегда так? Женщина говорит - «нет», а думает - «да».

- Жизнь одно, а закон совершенно другое, Буртазин. Совершенно **другое!** - сказал с нажимом, сокровенное своё сказал и это **не ускользнуло от подследственного.**

- Но **хоть вы-то меня** понимаете? - в голосе Буртазина прозвучала надежда на понимание.

«Странно, - подумал Демин, - какая разница для него, по-

нимаю ли я или нет? Конечно, понимаю, но что толку в моем понимании? Что толку вообще в понимании? В истине?». Но сказал другое:

- Хорошо бы, Буртазин, если бы вас понял судья, а мое дело тут маленькое, совершенно ничтожное дело собрать все «за» и «против», оформить и передать в суд.

Буртазин оживился:

- Вот именно, «за» и «против»! Вот именно! О чем я и толкую! Как же без психологии! Как же без понимания того, что было на самом деле!

- Боюсь, что психология если и сыграет свою партию, то не на вашей стороне, Буртазин. Судьи по преимуществу женщины, а это - иная психология, - и вдруг неожиданно для себя выдал философскую сентенцию:

- Оглянитесь вокруг, мы живем в цивилизации, в которой женщине разрешено провоцировать мужчин на сексуальное домогательство, разрешено на каждом шагу. Мужчине же строго запрещено реагировать на это и уж тем более, силой. В этом есть смысл, Буртазин.

- Но в жизни ведь не так? - и опять в голосе прозвучала нотка, рассчитанная на понимание.

- Не так? Правда ваша. В жизни мужчина всегда преступает границу, всегда ломает преграду, всегда совершает, пусть крошечное, но насилие. Дело всё в адекватности, если хотите, в удаче.

- Вот именно! - воскликнул Буртазин. - Мне приятно разговаривать с умным человеком. Это Вы хорошо сказали, что женщина всегда провоцирует мужчину, но вы сказали не до конца - она очень, очень сердится, переживает, если не видит реакции мужчины на свою провокацию. И идёт дальше, провоцирует его, чтобы утвердиться в своей власти над ним.

- Не нужно мне льстить, Буртазин. Вам не повезло с парт-

нершей. Знаете, вы вытащили «черную метку». Не удержались. Чего-то не учли, ошиблись. Это случается гораздо чаще в жизни, чем кажется, и не только в отношениях с женщиной. Вот у вас, судя по всему успешный бизнес, а у скольких ничего не получилось? Скольких жизнь пожевала, пожевала да и выплюнула на помойку?

- Мне кажется, если бы я встретил Ангелину, если бы... - Дёмин перебил его:

- Вы её встретите. Я вам это обещаю, а пока... - он развел руками, снял трубку внутреннего телефона и вызвал конвойных.

После того как Буртазина увели, он зашел к начальнику СИЗО, капитану Кромешникову, переговорил с ним насчет содержания подследственного Буртазина и передач ему.

- Гуманист вы, Пётр Алексеевич! А гуманность нужна в гуманитарных учреждениях, в театре, к примеру, а не у нас, — у капитана с такой дьявольской фамилией на самом деле была легкая, почти воздушная натура, а заключалась она в том, чтобы поменьше перечить начальству, какого бы оно ранга ни было.

* * *

Вернулся Дёмин в прокуратуру перед самым обедом. Не видяще прошел длинным коридором мимо граждан, ищущих правды и прокурорской справедливости. Вошёл в кабинет и закрылся на замок изнутри. Затем вытащил из полиэтиленового пакета «тормозок» и, не ощущая вкуса, медленно сжевал его, запивая крепким чаем из термоса.

Разговор с Буртазиным задел Петра гораздо глубже, чем он того стоил. Много личного было в этом. Ведь и он взял свою будущую супругу силой. Дёмин отчетливо вспомнил тот вечер в общежитии института... Только Анечка, Анна ничуть

не обиделась на него, напротив... Да, именно «напротив»...

- Она этого хотела, - вслух сказал Дёмин и повторил:

- Именно этого «силового варианта» хотела, точно». Подумалось: «Она и сейчас ждет от меня такого подхода». И опять сорвалось с языка, вслух:

- Не дождется!

Прокурор города очень удивился, когда на следующий день, после передачи дела об изнасиловании к нему зашел Дёмин и повел разговор о том, чтобы выпустить обвиняемого Буртазина из следственного изолятора «под подписку о невыезде».

- Так это не делается, - сухо сказал прокурор, отстраняя рукой протянутое Дёминым постановление. - Статья серьезная, можно сказать «громкая» статья.

- До суда, Матвей Ипполитович, можно, - настаивал Дёмин, протягивая прокурору листок бумаги. Тот впери́л в Дёмина глаза и, буравя взглядом следователя, спросил:

- Ты в чем-то сомневаешься?

- В одном, нужно ли до решения суда держать человека под арестом? - сказал, не удержавшись от сарказма.

Нужно сказать, что в последнее время нелюбовь Дёмина к своей профессии оформилась в виде иронии, сарказма, переходящих в циничность. Это не нравилось многим в прокуратуре. К тому же молодой следователь, а Демин работал только третий год, никак не желал «влииться» всей душой в их коллектив, всегда норовил жить в особинку.

Однажды Матвей Ипполитович, прокурор города, не выдержал и сказал ему: «Нехорошая у тебя улыбка, Дёмин, нехорошая, - поглядел на Петра, как ему казалось, «отрезвляющим взглядом» и добавил внушительно, - к профессии нашей не подходящая».

Вот и сейчас прокурор города Кардовин Матвей Ипполи-

тович смотрел на следователя, не скрывая своей неприязни к нему.

- Ничего я подписывать не буду, - решительно сказал прокурор и махнул рукой в знак того, что Дёмин может быть свободен.

- Как следователь, я имею на это право, - Демин сказал это таким тоном, что не почувствовать в его голосе вызова Матвей Ипполитович не мог.

- Ты что, работать не хочешь, а? - лицо прокурора закаменело. Матвей Ипполитович был прокурором еще той, старой закваски и не привык к такому своевольному поведению своих подчиненных. «Это все новые веяния, - подумал прокурор, - когда в государстве нет «хозяина», то нет и прокуратуры».

- Я работаю, Матвей Ипполитович, и потому считаю, что этот человек не представляет сколь - нибудь серьезной угрозы для общества.

- Он, насильник и место ему на нарах! - выкрикнул прокурор и даже встал со стула. Матвей Ипполитович раздражено схватил со стола пачку сигарет и подошел к окну. За окном шли люди, трамваи, цвела в палисаднике сирень и светило весеннее солнце. А тут, в его кабинете стоял этот... этот... У прокурора не было слов дать определение Демину, лучшее, что пришло в голову, так это не слова, а понимание, что следователь не пригоден для своей работы. Слишком глубоко лезет в души преступников. Да, именно так, «слишком» и именно, «в души преступников!».

Наконец он повернулся к Демину и спросил:

- Скажи мне откровенно, почему у тебя жалость к этому развратному преступнику и нет жалости к девчужке? - он стряхнул пепел прямо на пол и растер его подошвой черной лаковой туфли. - Что это за мода пошла такая жалеть преступников и не жалеть их жертв?

- Не в жалости дело, Матвей Ипполитович, просто нет никакой надобности в содержании его под стражей. Я говорил с обвиняемым, - Дёмин не стал распространяться дальше, незачем, прокурор бы не понял его.

- Настырный ты и наглый не по годам, - в голосе прокурора явственно проступала злость. Он выхватил постановление и размашисто подписал его. Дёмин взял листок, молча положил его в папку с твердыми корочками и с надписью «На подпись», не сказал, ни «спасибо», ничего, повернулся и пошёл к выходу.

Прокурор крикнул в спину Дёмина:

- Ты бы подыскал себе другую работу!

Дёмин повернулся и сказал:

- Я подумаю над вашим предложением, Матвей Ипполитович, - сказал так, словно он, а не прокурор города предложил ему, Демину, озаботиться сменой профессии.

Никогда еще так дерзко Дёмин не вел себя и Матвей Ипполитович расстроился настолько, что после обеда поехал к себе на дачу, хотя с утра у него были совершенно иные планы.

Дача и цветник, ухоженные руками его супруги Галины Петровны, всегда успокаивали его. Супруга прокурора Галина Петровна по своей специальности была агрономом, но так как её жизнь была посвящена домашнему очагу, все свои знания и старания вкладывала в эти пять соток прокурорской дачи.

Галина Петровна была на десять лет моложе своего мужа и в свои сорок лет выглядела едва ли не на тридцать. Матвею Ипполитовичу бывало лестно, когда он ловил на себе завистливые взоры мужчин. Все мужчины, разумеется, были особого круга, входили в число местной аристократии, все лица, обладавшие в городе властью. И то сказать, Матвей Ипполитович Кардовин родился, вырос и выслужился в этом городе, так что многих знал еще со школьной скамьи. Правда, после-

дние десять лет изрядно перетрясли городские кадры, много появилось «варягов». Взошли, словно после обильного дождя грибы-поганки, разные скоробогатеи, но не они властвовали в городе, а он, Матвей Ипполитович, потому что много чего знал о каждом.

Об этом лениво думал Кардовин, покачиваясь на заднем сидении прокурорского «Вольво». Сегодня, на даче должны были установить спутниковую антенну - очередная причуда его жены в ряду других причуд. Он представил себе, как неожиданно нагрянет среди бела дня и удивит её своим появлением в неурочное время.

«Надо было позвонить ей, - подумал Матвей Ипполитович и полез в карман, где должен быть сотовый телефон. Рука наткнулась на кобуру табельного оружия. - Вот чёрт, - ргнулся Кардовин, не найдя телефона в кармане своего форменного мундира. - Как же я эту «подпругу с крючком» не снял? Это всё чёртов Дёмин меня из колеи выбил. Наглец!»

Он тут же вспомнил, зачем перед приходом Демина надел кобуру с пистолетом и расстроился: его в четыре часа дня ждали в колонии и он хотел показаться там...

- Вот, чёрт, - вслух выругался прокурор. Водитель повернулся к нему и вопросительно посмотрел на шефа, но тот промолчал, а спрашивать водила был отучен.

«Ладно, позвоню с дачи, извинюсь», - необходимость извиняться перед полковником Дергачёвым, «бурдюком», как его называли заглазно, была противна, а надо, этикет требовал и оттого злость вскипала, кружила и туманила голову.

Ведь и табельное оружие он взял специально, чтобы показать себя... А вот это бы и не стоило вспоминать. Всё в Кардовине вскипело от мысли, что на самом деле ему было важно показать Дергачёву себя. Важно поставить его на место. И вообще понятия «поставить на место» и «человек, стоящий на

месте» были из ряда ключевых слов прокурора.

Метров за триста до дачи неожиданно возникло препятствие в виде только что выкопанной траншеи. Кардовин вспомнил, что к дачному поселку прокладывали электрический и телефонный кабели, так как провода на столбах то и дело срезали «охотники за цветметом».

Машина остановилась, ни проезда, ни объезда не было. Мелькнула мысль вернуться назад и заняться своими служебными обязанностями, но волна злости на то, что сегодня всё ему противоречит, выбросила его с мягких подушек машины. Он хлопнул дверцей и крикнул водителю, чтобы тот приехал завтра за ним, как положено, в семь утра. Кардовин перепрыгнул через канаву и пошел к дачным домикам.

* * *

«Коломиец Ангелина Петровна, - Дёмин прочитал надпись на обороте фотографии и опять поглядел ей в глаза, – ну, что ж, пора увидеть сию особу вживе. - Он встал, прошел три шага до двери, открыл её в коридор и громко сказал:

- Коломиец, проходите.

С жестких стульев, соединенных по трое, встала девица в короткой юбочке, с ярко-алой копной волос на голове и, покачивая бедрами, как манекенщица на подиуме, направилась к Дёмину.

«Блядь! - мелькнула мысль в голове Петра и тут же этой мысли усмехнулась другая мысль. - Каждая женщина при определенных условиях – блядь. - Он становился циничным и замечал в себе это изменения, боролся с ними, но ничего поделать не мог. Когда девушка приблизилась к нему и он посторонился, пропуская её в кабинет, намеренно или случайно она коснулась бедром Петра и того обожгло прикосновение. - при этом хорошенькая блядь...»

Так закружилась в нем ухмыляющаяся мысль. Дёмину ста-

ло противно, оттого что такие мысли приходят в его голову.

- Садитесь, - сказал Дёмин, указывая на стул напротив себя. Она села вполоборота, так, что её сильные, загорелые ноги оказались перед глазами Дёмина.

- Сядьте прямо, гражданка Коломиец, - сказал Пётр ровным голосом. Равнодушие и сухость тона дались ему непросто, мгновенное прикосновение её бедра, чувственный ожёг - это обстоятельство сбивало с намеченного плана собеседования. В голову врывались совершенно посторонние мысли и огненными метеорами пролетали там. «Да что это, баб, что ли, не видел? - одёрнул себя Пётр, доставая из папки заявление гражданки Коломиец.

- У вас курить можно? - спросила Ангелина, оглядывая невзрачную, даже убогую обстановку кабинета. - Я никогда не была в прокуратуре, - сказала она, доставая пачку необычайно тонких и длинных сигарет.

- Вы не были в СИЗО, - мрачно сказал Дёмин, - уверяю вас, там бы вам куда больше не понравилось бы, чем здесь, а между тем... - он прервал мысль, которая вовсе не была запланированной, а была из тех «мелькающих мыслей» и вырвалась случайно. - Я пригласил вас для того, чтобы уточнить некоторые моменты из Вашего заявления в прокуратуру. Вот вы пишете: «Мы сидели в его комнате и мирно беседовали и вдруг он набросился на меня и овладел силой».

- Да, так оно и было, - подтвердила Ангелина. - До сих пор на руке синяк не сошел.

Она подняла руку, чтобы Дёмин увидел этот синяк на нижней стороне бицепса. Собственно говоря, этот синяк и порванные пополам трусики являлись вещественным доказательством насилия, разумеется, помимо спермы насильника в чреве этой особы.

«Если дело дойдет до суда, - подумал Дёмин, - то придется доказывать, что сперма принадлежит Буртазину. Дорогое

для следствия удовольствие».

Вслух сказал другое:

- Меня интересуют обстоятельства, предшествовавшие этому, - Дёмин сделал паузу и добавил. - Где познакомились с гражданином Буртазиным Андреем Анатольевичем, как попали в столь позднее время на его холостяцкую квартиру?

- Это так важно? - спросила Ангелина, стряхивая пепел в крышку для консервации стеклянных банок. Крышка была с банки маринованных помидоров. Маринованные помидоры стояли под столом Демина в качестве дополнения к обеденному «тормозку».

- Важно, - Дёмин боролся с непрошенными мыслями и в который раз подумал, что эта работа не для него. Тут нужно думать только одну мысль, как изобличить, а лучше вообще ни о чем не думать, а исполнять указания... И опять появилась саркастическая мысль: «Указы, приказы, законы, зоны»... - Демин тряхнул головой и это не осталось незамеченным девицей.

- Вы, так смешно головой трясете, словно мой пудель, когда я его вымою... - она спохватилась и сказала:

- Ой! Нет, конечно! Вы меня извините! Честное слово, я не так хотела сказать!

- Ну и где же вы познакомились с гражданином Буртазиным? - Демин сделал усилие над собой, чтобы не поддаваться непрошеным мыслям.

- А разве у него фамилия такая, смешная? - спросила Ангелина, мгновенно успокоившись после столь же краткой неловкости.

- Вы, что, не знали его по фамилии? - удивился Демин.

- Конечно, нет. Я татар не перевариваю - Ангелина брезгливо поджала губы.

- С чего вы взяли, что он татарин? - разговор принимал совершенно пустой, никчемный оборот и Дёмин никак не мог

направить его в нужное ему русло. Все дело было в «непрощенных мыслях», а может быть, ещё в чём-то другом, что так же требовало усилий осознать это.

- Фамилия-то у него татарская, а сам нисколючко не похож на татарина, - она вытащила вторую сигаретку и закурила. Сидела Ангелина так, как хотела сидеть, вполоборота к Демину и не думала сесть, «как положено».

«Очень дорогие у неё колготки, - подумал Дёмин и вспомнил свою жену. Следом за этим «саркастическая мысль» ослабилась, - как на корове седло. - Она относилась к его супруге, надевшей точно такие же колготки. - Это было не позже, чем вчера. Вчера... Она ходила в этих колготках, специально ходила... Чтобы меня соблазнить».

- Так, где же вы познакомились? - Дёмин едва сдержался, чтобы снова не тряхнуть головой и не походить тем самым на пуделя.

- В ресторане. Он подошел ко мне и спросил: «Можно мне пригласить вас к своему столику?»

- А что вы там делали, в ресторане?

- Делала? - брови Ангелины полезли вверх от удивления. - Почему... зачем, то есть... интересный вопрос... Вы разве не ходите в ресторан?

- Вопросы задаю я, - Демин проглотил комок в горле и вместе с ним все «непрощенные», «посторонние» мысли. - Вы же нигде не работаете?

- А разве в законах написано, что в ресторан ходят только те, кто работает? - Ангелина усмехнулась и потушила сигарету. - Вы смешной следователь. Смешной.

- Ну, и? - Демин решил не реагировать на оценку, о себе он мог бы сказать что-нибудь покрепче, поязвительнее.

- Он мне тогда, в ресторане, показался очень даже интеллигентным человеком.

- Сейчас этот интеллигентный человек сидит в СИЗО, — зло сказал Демин, — и дадут ему, самое малое, лет десять. И если он вернётся из лагерей, то это уже будет не человек, а труп ходячий, — выпалил на одном дыхании.

- А зачем он меня насилует? Зачем? — крикнула Ангелина.
- Бугай здоровенный! Сгреб, руки, как железные клещи!

- Зачем вы пошли к одинокому мужчине на квартиру?

- И что же по-вашему, если пошла, то меня можно насиловать? Да?!

- Нет, конечно, — Дёмину вдруг всё стало безразличным и даже отвратным. — Вы же должны понимать, что при Вашей внешности... одинокая квартира... холостой мужчина... — Сказал по инерции, проклиная себя и свою работу: «Как привратник у ворот ада стою». — Вы понимаете, что, осудив его на такой срок, вы убиваете человека? — и вдруг зло выдохнул ей в лицо свистящим шепотом:

- Вас в жопу кто-нибудь трахал? — девица отшатнулась от него, едва не упала со стула. — А там по такой статье «опускают» именно таким образом», — продолжал Дёмин все тем же свистящим шепотом.

Ангелине показалось что напротив вздыбилась огромная кобра, как в фильмах ужаса, раздула свой капюшон и шипит. Она вскочила со стула и нервно сказала:

- Я, пожалуй, пойду.

- Сядь! — прошипел Дёмин. — Сядь и подумай хорошенько, если есть чем думать.

О, нет, он умел быть грубым, циничным и жестоким. В любом голубе сидит ястреб, а в кролике — лев. Под покровом стыдливо опущенных век скрывается демон разврата и только обстоятельства, природа вещей, делают кролика — кроликом, а ворона — вороном.

Наступила тягостная пауза, слышно было, как тикает бу-

дильник на сейфе следователя. Прошла минута, вторая. Дёмин в первый раз за всё время разговора закурил. Потом достал из пачки девицы сигаретку, сунул ей в рот и поднёс зажигалку:

- Подумала?

Он вытащил из папки заявление Ангелины и положил на стол. Ангелина поглядела на него испуганно. Пугало не то, что сказал следователь, пугало выражение его лица, такое бывало у её отца, когда она возвращалось поздно, но отца вот уже пять лет как схоронили, а мать... мать вышла замуж за пьянчугу и вцепилась в него, как в последнюю, «лебединую» песню своей стареющей плоти.

- Ну? - сказал Дёмин. - Ты поняла, что не стоит садить мужика только за то, что ты сама дала ему повод потерять голову?

Ангелина медленно разорвала свое заявление, раз, два, а потом с остервенением в клочья!

Дёмин откинулся на спинку стула и вздохнул:

- В тебе есть понятие, девушка, - отчего так сказал - не понял и очень удивился сам сказанному.

Вот это обращение к ней «девушка», такое милое, старомодное и неожиданное после страшного, свистящего шепота следователя ударило в самое сердце Ангелины и этот удар выбил из глаз слёзы, море слёз!

- Девушка, девушка... - рыдала Ангелина, - была девушка, да вся вышла! Блядь, я блядь, понимаешь?!

Дёмину вдруг стало нестерпимо жалко её. Он суетился вокруг так, как никогда и впопыхах вместо воды налил ей стакан помидорного маринада.

Ангелина выпила залпом и перестала плакать, удивленно посмотрела на Демина:

- Фу, какая гадость! Что Вы мне дали?

Переход от слёз к этому вопросу был столь разительным,

что Демин от удивления растерялся:

- Воду, - сказал он, принимая из её рук стакан.

- Попробуйте, какая это вода? - перед ним сидела та самая Ангелина, которая нагло улыбалась с фотографии.

Демин взял в рот то, что осталось на донышке, и засмеялся:

- Извините, это я от усердия налил вам помидорный маринад.

- Так, не выпили, а уже закусили, - Ангелина быстрыми движениями платочка убрала с лица следы слёз. Переход от истерики к такой трезвой и даже ироничной фразе был неожиданным для Демина.

«Да и всё сегодня не так, как всегда, всё с вывертами, точнее, с душевным выворотом», - подумал Пётр. Вспомнилась фотография, совершенно не нужная в деле.

- Это ваша инициатива своё фото приложить к заявлению? - спросил Дёмин.

- А вам она не понравилась, точно? - спросила Ангелина. - Вы же такой из себя правильный...

- Неправильные мужчины вас не устраивают, - заметил Дёмин. - Вот Буртазин «неправильно» вас взял и вы тут же заявление...

- А знаете, почему я написала заявление? - спросила она через минуту. Сигарета Ангелины дымилась среди других окурков и как-то особенно быстро сгорала. Она заморожено смотрела на неё. Дёмин тоже уставился на догорающую сигарету.

- Вы сказали мне - «девушка»? - Ангелина поглядела на него и усмехнулась. - Девушка, вот такая же «брошенная» сигарета среди человеческих «окурков» и время её жизни не долгие.

Это умозаключение, поразило Демина, как гром среди ясного неба, и он совершенно иначе поглядел на неё.

- Ну, так вот, - Ангелина разминала в пальцах новую сигарету, не замечая протянутой зажигалки Демина. - Ну, так вот, -

повторила она. - Однажды, когда мне едва исполнилось тринадцать лет, мои школьные друзья сказали мне: «Это нехорошо, что ты одна в классе остаёшься целочкой. Мы не хотим, чтобы кто-то на стороне тебя трахнул. Это задевает нашу честь и честь нашего класса». А теперь рассуди, много это или мало тринадцать лет жизни быть «девушкой», а всю оставшую - блядью?

Дёмину хотелось сказать: «Вы молоды и у вас всё впереди». Обычные и правильные фразы, но не сказал, что-то удержало его от пошлятины «правильных слов»...

Ангелина продолжала говорить, уставясь в пепел окурков:

«Я тогда, когда мне ультиматум поставили, хотела петлю на шею набросить, а потом решила, коли нет выхода, то хоть сама буду выбирать мужиков себе. Сама! И они должны мне за это платить! Дорого платить! Очень дорого, потому что сроку моему телу отпущено не так уж и много!

- Капитал тела, девочка, нужно вкладывать в семью, – тихо сказал Дёмин. Сказал и поморщился, но не от того, что сказал неправильно, напротив, неуютно стало от «правильности» слов.

И опять скользнула, пришла откуда-то фраза: «Мне стыдно от того, что я способен стыдиться». Он стал обдумывать эту фразу: «Бывают времена, когда вечные истины»

Но мысль оборвал голос Ангелины: «В семью? Кому она нужна нынче, семья?».

«Правда, кому? - подумал Пётр.

- Все говорят «правильные» слова, но много ли правильных дел? Вот, вы всегда следуете правде? Только не врите мне, - Дёмин слушал её и поражался, что многое из того, что непрошено приходило в его голову, оказывается, было в этой красивой головке с наглыми глазами на фото, - оказывается, моё желание не совпадало с законами, - говорила Ангелина, - и с главным законом, что мужчина всегда прав. Я сказала, я предупредила этого бугая еще там, в ресторане, когда он пред-

ложил мне продолжить знакомство у него на квартире, чтобы он не рассчитывал на секс по его желанию.

- Что это значит, - спросил Дёмин.

- Это значит, что если я не захочу, не пожелаю, то его желание не в счёт.

- Но так не бывает в жизни. Так **не бывает** никогда. Ты совершила ошибку, девочка, - Дёмин **упорно продолжал** так называть Ангелину, даже не отдавая себе отчета, почему.

Ангелина, напротив, это отметила иронической усмешкой:

- Девочка этого не хотела, она хотела быть хозяйкой положения.

- Что из того, что человек что-то хочет, - сказал Дёмин и вдруг у него вырвалась «потаенная мысль». Вырвалась и оглушила обоих, как шумовая бомба. - **Я хочу** тебя, - признался Дёмин, - но это ещё **ничего не значит**.

- Да? - Ангелина смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых удивление, негодование и любопытство прихотливо, словно огни на елочной гирлянде, меняли друг друга. Дёмин же хотел провалиться тут же сквозь пол.

- Я хотел это сказать к примеру, - попытался исправить положение Пётр, но получилось **неубедительно**, - мало ли что. кто хочет? - севшим голосом закончил **фразу Демин**.

- Нет, - задумчиво сказала Ангелина, - вы сказали то, что думаете, не нужно отпираться, у вас это получается неловко, по-мальчишески.

Они замолчали. Через минуту Дёмин сказал:

- Наверное, вы правы и я зря завилал, но и на самом деле не бывает так, чтобы человеческие желания, все до единого, исполнялись. Жизнь - это схватка интересов, схватка желаний. Потому-то и говорят, что нет в жизни хорошего решения, а есть решения компромиссные.

- Я уже пошла на компромисс и порвала свое заявление, что же еще? - Ангелина пожала плечами и закурила, наверное, уже пятую сигарету за это время.

- Ничего. Вы поступили по-человечески, - устало откликнулся Дёмин. Он чувствовал себя разбитым и опустошенным.

- Нарушив закон, потому как преступление против моей личности очевидно, не так ли? А преступление должно быть обязательно наказано. Так учили меня в школе на уроках права.

- Совершенно верно, только я так скажу: когда вступают в конфликт совесть и закон, то совесть должна побеждать, иначе все мы, все до единого, станем рабами писанных человеком законов! - в эту тираду Дёмин вложил все свои долгие колебания и сомнения, ту «откровенную истину», что явилось ему вечером в институтской библиотеке за чтением учебника по истории права, истину, изломавшую ему карьеру и, похоже, что службу в прокуратуре.

Ангелина молчала и эта пауза была самой долгой. Потом поглядела на Дёмина и сказала:

- Мне кажется, вы очень несчастный человек, следовательно.

Дёмин увидел в её взгляде нечто такое, что начисто перечкивало изображение на фото. Так смотрела на него мать, когда Демин привёл в дом жену. Жалость, понимание, тревога и еще что-то, чему не находилось слов, стояли в её взоре

«Нет, она на самом деле прекрасна», - промелькнула «непрошенная мысль», а откуда-то из глубин, из темных задворок сознания стучалось и пробивалось нечто, что могло бы всё испоганить в этой приобретенной необычайности атмосфере следственного кабинета.

- Мне об этом говорил мой покойный отец, - Ангелина опять бросила взгляд на Демина и пояснила. - О совести говорил. Правда, в других словах и по другому поводу, но суть та же.

В кабинет постучали и всё разом, что так натянулось до

звона, до боли между Петром и Анжелиной, лопнуло. В дверь заглянула уборщица со шваброй и связкой ключей в руках.

- Пётр Алексеевич, - сказала она, - уже все давно ушли, а вы всё работаете. - Она осуждающе поглядела на Анжелину и проворчала, вроде как себе под нос. - Своего времени не жалуют, так чужого бы пожалели.

- И то правда, - вставая сказала Ангелина. - Вот мы и познакомились наконец-то, Пётр Алексеевич. Не скажу, чтобы общение было радостным, ну, да у вас заведение такое, под стать этому интерьеру. - Она обвела рукой кабинет со старыми, выцветшими обоями. - Однако же... - она уже от дверей бросила взгляд через плечо на Петра и сказала:

- Спасибо вам, странный вы следователь, - и тут же вышла.

* * *

Прокурор Матвей Ипполитович Кардовин шёл к своей даче напрямик, через неосвоенные участки и вышел к дачному строению со стороны парников. Он еще издали увидел над мансардой тарелку антенны и зло подумал, что теперь его супруга вдоволь насладится «мыльными операми».

По периметру второго этажа, с южной и западной сторон тянулась оранжерея, в которой до самых злых морозов цвели яркие цветы. Со стороны парников к оранжерее вела лестница с точёными перилами и Матвей Ипполитович, чтобы не обходить дом, стал подниматься по ней. Из оранжереи он мог попасть сразу либо в спальню, либо в зал.

Едва он вошел в оранжерею, как сразу услышал какие-то звуки, не то стоны, не то смех. Он подумал, что супруга смотрит какой-то фильм, но удивился тому, что смотрит в спальне.

«Совсем с ума сошла, в спальню телик загатила», - подумал он, минуя дверь, ведущую в зал, и окна зала. Он завернул за угол и странные, тревожащие его звуки стали явственнее.

Матвей Ипполитович глянул в окно спальни и вначале ничего не понял, только сердце гулко ударило в ребра, а потом увидел высоко задранные ноги своей жены и мерно раскачивающийся лохматый от волос зад мужчины.

Он ничего не помнил, этот прокурор, ничего, как ни пытались потом выяснить следователи и врачи-психологи. Был глубокий, «стойкий» провал в памяти.

Матвей Ипполитович из табельного оружия застрелил жену и случайного любовника, монтера спутниковой антенны. Потом, уже поздно вечером, пришел в городское отделение милиции и потребовал у дежурного вызвать начальника горотдела полковника Дьяченко.

Кардовин молча ждал его в дежурке, а когда полковник подъехал на своей служебной машине и привел его в свой кабинет, Матвей Ипполитович потерял по-видимому память и не смог ничего вразумительного сказать, только протягивал служебный пистолет, в обойме которого не было ни одного патрона, а из ствола нехорошо пахло сгоревшим порохом. Вид прокурора, пистолет - всё это вызвало такое смятение полковника, что он растерялся на какое-то время.

Десять километров, что отделяли дачу от горотдела, Кардовин прошел пешком и дорожная пыль припорошила прокурорский мундир. Дьяченко сообразил, что-то случилось на даче. Оставив Матвея Ипполитовича сидеть в кресле в состоянии протрации, он вызвал криминалиста Петухова и послал за ним свою машину. Без особой надежды позвонил в прокуратуру и не напрасно, там оказался Дёмин. Не объясняя причины, попросил, почти потребовал немедленно явиться в горотдел. После этого Дьяченко вызвал скорую помощь и подумал, что, наверное, не понадобится, но прогнал от себя такую мысль. На всякий случай вызвал и судмедэксперта Вавилова. Надо сказать, что полковник, хотя и был страшно растерян и находился в пол-

нейшим недоумении, но действовал как хорошо отлаженный автомат. Урок Афгана «кто много думает, тот долго не живет» он хорошо усвоил и потому всё доводил до автоматизма, до рефлекторности и требовал этого же от подчиненных.

Дёмин пришёл одновременно с Петуховым, которого хорошо знал по работе. Они встретились перед **входом** в горотдел. Поздоровались.

- Что случилось? - Спросили оба одновременно друг друга и рассмеялись.

- Кто у кого спрашивает? - Спросил Дёмин.

- Я у тебя, - сказал Петухов. - Только, понимаешь, жена в тарелку суп налила и нате, звонок шефа, бросай всё и садись в машину!

- Ну, суп ты, конечно, доел, а вот я голоден, как волк, - сказал Дёмин поднимаясь по широким ступенькам управления, - а вот по какой такой причине спешка, ума не приложу.

Дежурный, растерянный донельзя столь поздней суматохой, появлением прокурора города в странном виде и состоянии, махнул им рукой из-за решетки, показывая, что их ждет сам Дьяченко в кабинете. От волнения сержантик говорить не мог.

- Ты не замечал, - Дёмин был отчего-то разговорчив сегодня, - что дежурный сидит, словно лютей зверь, в клетке. Все-таки это странная привычка сажать людей за решётку?

- Не кажется, - буркнул Петухов, он не отличался воображением.

- А мне вот всё время кажется, - гнул своё Дёмин. - Это удивительная цивилизация, когда власть спасается от народа за спинами охранников и за решётками.

- Ну тебя с твоей философией, - Петухов шёл первым и толкнул обшитую кожей дверь с золотой табличкой: «Начальник горотдела Дьяченко Денис Григорьевич».

Дьяченко, увидев их, буркнул:

- Прибыли, - и тут же показал на сидящего в кресле прокурора. - Пришел, вот, - он опять взглядом показал на прокурорский пистолет на столе

Дёмин был изумлен видом Кардовина: опущенные плечи, голова, руки, свивающиеся между ног, и запыханный мундир. Всегда начищенные до зеркального блеска туфли представляли из себя жалкое зрелище - грязь поднималась до носков и выше, на внутренние стороны прокурорских брюк.

- Ничего вразумительного не говорит, - ответил Дьяченко на вопросительные взгляды Дёмина и Петухова. - Зато пистолет говорит о многом, - он осторожно, салфеткой взял его в руки.

- Ты, Иван, иди за своим инструментом, а вы, вы... - он забыл, как звать этого молодого, красивого следователя из прокуратуры. Ему не часто приходилось его видеть, - Делайте что-нибудь, - наконец, выдал из себя полковник.

Пока Петухов собирал свой инструмент, Дёмин подошел к прокурору, взял его за подбородок, приподнял:

- Матвей Ипполитович, - сказал Дёмин, стараясь придать голосу ласковость, насколько это он мог, - Матвей Ипполитович, вы меня узнаете? - но по выражению глаз понял, что в это время сознание прокурора было где-то совершенно в другом месте.

- Тут дело за медиками, - сказал Демин, обращаясь к полковнику. И только сказал это, как в кабинет вошли врач «скорой» и медсестра. Они занялись Кардовиным и в первую очередь сняли с него прокурорский мундир, уложили на диван.

- Я думаю, что-то случилось у него на даче, - Дьяченко кивнул в сторону Кардовина. - Я полагаю, что Вам... - он мучительно, судорожно вспоминал, как звали прокурорского следователя. Вспомнил, - Пётр Алексеевич, если не ошибаюсь, стоит проехать с нами до его дачи.

Пришел Петухов, снял отпечатки пальцев с пистолета, уложил его в специальный пакет. В кабинете появился судмедэк-

сперт и громко, даже жизнерадостно сказал:

- Наши-то, в хоккей, только что пару шайб шведам вкати-ли! - тут же осёкся, увидев, что кто-то лежит на диване и над ним «колдуют» люди в белых халатах.

- Кардовин, - сказал Дьяченко, как бы приглашая Вавило-ва принять участие в осмотре прокурора. Вавилов подошел к врачу «скорой», что-то спросил, коснулся лица Кардовина ладо-нью, снова перебрался несколькими словами с медиками и отошел. На немой вопросительный взгляд Дьяченко сказал:

- Видимо, потеря памяти от нервного стресса, так как на теле нет никаких повреждений.

- Он пришел сам и даже вполне вразумительно потребо-вал от дежурного, чтобы я явился, а когда я приехал, то ничего от него толкового добиться не мог. - Он чертыхнулся и попра-вился, - Бестолкового то же ничего! - сказал громко, для всех.

Врач «скорой» предложил увезти прокурора в больницу «для последующего наблюдения». С чем все согласились. Выз-вали дежурных милиционеров и они вынесли Матвея Иппо-литовича.

- Только поместите его в отдельную палату, скажите, что я лично просил, пусть ограничат доступ к нему медперсонала, не говоря уже о больных, - наставлял врача Дьяченко. - Да, чуть не забыл, вызовите по своей рации бригаду реанима-торов. Срочно! В мое личное распоряжение!

«Скорая», поблескивая сине-красной вертушкой, ушла.

- Такие вот, дела, - полковник ни к кому лично не обра-щался, все понимали, но никто не хотел сказать первым, что, по всей вероятности, прокурор кого-то расстрелял из своего табельного оружия.

Выехали уже в двенадцатом часу ночи, а приехали в пер-вом. То, что увидели в спальне, говорило само за себя. Голый труп мужчины на голой жене прокурора. Первый же выстрел

был смертелен для обоих. Пуля прошла навывлет сквозь сердце неизвестного мужчины и попала в голову жены. Смерть наступила мгновенно и они остались лежать в таких говорящих позах. Остальные пули были расстреляны куда попало, в том числе в ноги и в стены.

Первый выстрел был прицельным. Такое заключение сделал Петухов, да это было очевидно, а остальные выпущены уже в состоянии невменяемости.

Яркие переносные лампы криминалистов, фотовспышки и прочие подробности криминалистической работы прервало завывание патрульной машины. Кто-то из соседей вызвал милицию.

Дьяченко выругался, но вовсе не потому, что появятся лишние свидетели, он понимал, что шила в мешке не утаишь, а чем сильнее таишь, тем больше вокруг его различных слухов и домыслов.

- Вот так мы работаем, - зло сказал полковник. - Орем, кричим на всю ивановскую, мол, разбегайся кто куда может, а то ведь, не дай бог, с грабителями встретимся!

Когда в дверь дачи настороженно заглянул патрульный с автоматом на изготовку, полковник с издевкой спросил:

- Кого ищешь, милоч?»

Вскоре перед ним стояли все четверо, включая водителя патрульной машины, и Дьяченко нудно, ехидно выговаривал им:

- Хлопцы, - у него всегда в таких случаях вырывались украинизмы, - кому сигнал подавали, чтобы тикали в разные стороны? Кого предупреждали? Для чего на машине вертушка и сигнал? Для чего в ваших руках автоматы?

Прибывшие патрульные были кстати, не самим же таскать трупы, упакованные в черные пакеты. Патрульным, в отличие от Дьяченко, незачем думать, что теперь делать с прокурором города, а делать что-то нужно было. После того как машина реанимации с двумя трупами, а также сопровождающая её пат-

рульно-постовая машина ушли. Дьяченко окинул всех взглядом и сказал:

- Сидай, хлопцы, будем думу думать».

Однако придумалось только одно - утром сообщить по спецсвязи в область и ждать, что скажут «большие начальники».

* * *

Дёмин пришел на работу невыспавшимся, с чёрными кругами под глазами. Супруга не упустила повод закатить очередной скандал по поводу его «кобелячьей природы». То, что Пётр давно охладел к ней и не «домогался», как бывало, её тела, Галина относила на тот счет, что у Петра появилась любовница. Она не могла поверить, что ему «не хочется», ей-то хотелось, но она привыкла да и воспитана была так, что о «таких вещах не говорят», тем более, не просят.

По её понятиям - это мужик должен просить, просить лаской, подарками и чуть-чуть, самую малость, перед тем, как «сдаться», - силой. Вроде бы и не сама, да уж ладно, коли супруга.

Пётр не просил. Он уходил в зал, на диван, или играл с малышом. Играть с малышом он мог бесконечно, ребенок не отходил от отца ни на шаг, а у того хватало сил и терпения выдумывать каждый раз новые игры, рассказывать свои бесконечные, нравоучительные сказки. Эти сказки раздражали Анну, злили, она хватала ребенка, уносила его, но вскоре рёв и капризы малыша становились невозможными. Всё возвращалось в прежнее состояние.

- Вот увидишь, я когда-нибудь оставлю тебя! – выкрикивала Анна в надежде, что Петр испугается и хоть что-то скажет, ведь тогда можно зацепиться за слово, тогда можно «помотать ему нервы» и получить хоть какое-то удовлетворение.

Пётр вроде как не замечал в доме жены. Ничего обидного

не говорил, отвечал тихо, односложно, а когда супруга, как сегодня ночью, поносила его почём зря, молчал, словно речь шла не о нём.

Вот так молча, он просидел на диване до четырех утра, пока охрипшая, осипшая супруга не иссякла в порыве своего гнева. Сидя поспал до семи утра, помылся, побрился, шаркнул пору раз утюгом по рубашке, по брюкам и ушел, тихонько закрыв за собой дверь.

Прокуратура напоминала растревоженный улей, и при появлении Дёмина, все набросились на него, требуя подробностей. Говорить о подробностях не хотелось и Демин, как мог, уклонялся от них, и это разжигало любопытство. В конце-концов он закрылся в своем кабинете и уснул. Уснул так, что не слышал легкие постукивания в дверь сослуживцев, а очнулся от яростных ударов в дверь.

За дверью стоял зампрокурора города Костриченко Степан Ефимович, злой и, как всегда, пунцовый от злости:

- Ты что, спишь, что ли, на рабочем месте?»

- Сплю, Степан Ефимович, сплю, - признался Дёмин.

- Спать дома нужно, - буркнул Костриченко, обескураженный покорным и виноватым видом следователя.

- Из области ждем Митрохина Евгения Ильича, так что будь готов пояснить, что там... да и вообще... Вот беда на голову свалилась, - Степан Ефимович сказал искренне, но что-то было в его словах такое, что Демин не поверил, будто для него это происшествие на самом деле беда. Когда зампрокурора ушел, Демин понял причину своего недоверия к искренности Костриченко, как не крути, а это - шанс к карьерному росту.

«Да и мне...», - подумал Дёмин и тут же устыдился, что в жизни часто бывает: для кого беда, а для кого выгода.

Так оно и получилось. Митрохин назначил Костриченко исполняющим обязанности прокурора, а Кардовина в карете

скорой помощи увезли в область. Велено было на все вопросы отвечать кратко, мол, дело об убийстве жены прокурора взято в областную прокуратуру и все вопросы к ней.

Костриченко ничего не знал о последнем служебном разговоре бывшего своего шефа с Дёминым, о следственном деле в отношении Буртазина и потому с лёгким сердцем, даже бездумно подписал постановление о прекращении уголовного дела из-за «отсутствия события преступления».

Буртазин звонил Дёмину и на работу, и домой, приглашал отдохнуть на природе, но Демин сухо отказывался, не отдавая себе ясного отчета, почему? Дело тут было не принципах, а вот в чем - этого Пеёр не мог объяснить даже себе.

- Вы ставите меня в совершенно дурацкое положение, - ворчала телефонная трубка голосом Буртазина. - Я ваш должник, а вы не хотите принять от меня сугубо человеческую благодарность.

- Я её принял еще тогда, когда вас выпустили из СИЗО, чего же более? - Говорил Демин, но не всё договаривал, ему хотелось сказать, чтобы Буртазин благодарил не его, а Ангелину, но этих слов почему-то не произносил. Буртазин, обиженный, перестал звонить.

Однажды Анна поздней ночью пришла к нему на диван и принялась жарко целовать. От неё пахло сиренью. С этой ночи, если не все, то очень многое изменилось в их отношениях. Жизнь Дёмина вошла в обычное для нормальных людей, русло: работа, дом, семья, только нет-нет, вспомнится ему девчонка с большими и «наглыми» глазами с фотографии из следственного дела. Он плохо запомнил её той, какая она была в его кабинете, но вот странность: память от прикосновения бедра Ангелины еще долго жила в его теле самостоятельной, отдельной от Дёмина, жизнью.

Август 2002 года

ФРАНЦ КАФКА ИЗ ТАШТАГОЛА.

Есть в России захолустья, но Таштагол, или в переводе с шорского «Камень-на-ладони», даже по российским меркам предельное захолустье, тупик. Здесь не только заканчивается железная дорога Новокузнецк-Таштагол, здесь заканчивается жизнь и начинается борьба за выживание. И вот в это захолустье, в этот «тупик» приехал Мойша Крицман.

Вы не знаете, кто такой Мойша Крицман? Тогда вы ничего не знаете в этой жизни. Мойша Крицман имел миллионы и не каких-то там «деревянных» рублей, а самых настоящих денег, зеленую американскую «капусту»! Вот кто такой Мойша! Если вы думаете, что Крицмана позвал голос его предков, когда-то отправленных в Горшорлаг, то «вы сильно ошибаетесь», как сказала бы его мать, Рахилия Иосифовна.

Да, конечно, его дядя Соломон Буцис и отец Мойши были в этих местах и даже некоторое время брали в свои руки кайло и лом, чтобы после взрыва дробить горную породу в щебень, но это было недолго. Мама всегда говорила своему сыну: «Помни, Мойша, умный человек всегда найдет себе тёплое место».

И поясняла своему чаду: «Там, где имеется много людей, всегда есть тёплое место». А если в доме бывал её брат, она обращалась к нему за поддержкой: «Правду я говорю, Соломон?» И тот начинал свою длинную повесть о том, как в сорок седьмом всё семейство Крицманов и Буцисов арестовали за незаконный сбыт и обработку драгоценных камней. Как осудили без лишней канители и свидетелей, как дали десятку «по рогам» и «пять по ногам».

- А потом, дорогой мой племянник, увезли нас в Сибирь, в Горшорлаг, и мы чуть не умерли в «столыпинских» вагонах. И вот мы здесь живем и слава Иегове, здравствуем. Это не Москва и даже не Подмосковье, а про Одессу и Привоз я тебе и толковать не стану.

Отец Мойши от природы был немым, но имел точный глаз и верную руку, что немаловажно в ювелирном деле. Он чувствовал душу камня, но не имел возможности выучить своего сына в духе предков. Отец Мойши сам сшил себе арве канфос, в знак страха перед Богом и часами сидел в углу, ремонтируя часы. Иногда высокое партийное начальство тайком приносила Бен-Игуде, так звали отца Мойши, драгоценные камушки, выпавшие из оправы, и сломанные браслеты. За это Бен-Игуда денег не брал, поскольку была радость душе, да и небезопасно было требовать законный бакшиш.

Заботы о воспитании Мойши взял на себя брат его матери - Соломон.

Сестра Соломона Рахилия, мать Мойши, частенько просила своего брата, особенно в день Шаббос Кадешь, сказать маленький муссар - наставление сыну, перед тем как приступить к излюбленным кодеш кугель, к запечённым макаронам с настоящим соусом - росл флейш.

Брат никогда не отказывался от того, чтобы сказать, особенно когда сестра обращалась к нему со словами:

- Ты у нас, Соломон, настоящий ор ла иегудим.

Соломон в таких случаях поднимал руки до уровня лба и скромно отвечал сестре:

- Ну что ты, Рахилия, какой я дирех эрец, я самый настоящий ам гаарец.

Но от поучений не отказывался, иначе кто передаст племяннику хитрую науку выживать во враждебном евреям мире, среди этих злобных, но, хвала Богу, глупых гойим? Дядя Соломон всегда говорил своему племяннику:

- Что только не выдумают гойим, чтобы свалить собственную несообразительность и неспособность устроиться в жизни на евреев. И это хорошо, мой мальчик. Великий Иегова дал нам, евреям, все народы в услужение и особенно русский на-

род. Посмотри, Мойша, как он прост и доверчив. Разве не лежит на нём рука Иеговы, отнявшая у него элементарную мудрость? Он покорен и доверчив, как агнец, данный Иеговой в руки Аврааму для жертвенного заклания.

Острый ум Мойшы не только схватывал на лету поучения своего дяди Соломона, но тут же прикидывал, что из этого можно выкроить «себе на заплатки».

- Да, Рахилия, умный человек везде живёт, а шойте-дурак везде гибнет, - и обращаясь к племяннику дядя Соломон говорил. - Мойша, не будь дураком, учись!

Мойша Крицман или по-школьному Миша учился. В начальных классах приторговывал ученическими перьями, как говорил Соломон, учился помаленьку шахровать, и не было в школе лучшего знатока по этой части. Он знал, что такое перо «86 номер» и чем он отличается от «11 номера», что такое перо «Рондо». Никто искуснее Миши не играл в «перышки» и даже старшие школьники не искушали свою фортуна в игре с ним. У Миши был живой ум и пылкое воображение, он учился с лёгкостью необыкновенной и в восьмом классе написал стихи к ноябрьским праздникам. Он прочитал свои стихи со школьной сцены, чем вызвал восторг и умиление не только девчат, но даже директора школы, Прасковьи Ивановны. Величественный ямб и идеологическая содержательность стиха возымели действие и Мойша Крицман пошел в гору по комсомольской линии. Вначале комсорг в школе, потом, перед отъездом в Израиль, - инструктор горкома ВЛКСМ.

Дядя Мойши Крицмана работал в Госбанке. Разумеется, не первым лицом, чего нет, того нет. Соломон знал своё место в этом мире, знал, что негоже еврею высовываться, что еврей должен находиться в тени и там, в тени, как говаривал словоохотливый Соломон, плести свою маленькую паутинку и от того иметь свой маленький интерес.

- Помни, Мойша, - говорил дядя Соломон, - не деньги губят человека, а их отсутствие.

И еще говорил ему мудрый Соломон:

- Мойша, не вздумай быть ни первым, ни вторым – будь третьим.

Потом было всем памятное «еврейское дело», выдуманное Сталиным. И маленькая еврейская община в Таштаголе стала насчитывать пятнадцать семейств. Что поделаешь, партийный билет хотя и согривал сердца, но не излечивал болезни.

И вот случилось так, что в 1973 году из Израиля пришло письмо от сестры матери, а уже в 1974 году Крицманы и Буцисы уехали сначала в Париж, а потом в Израиль, но там стреляли, так что остановились они в Америке.

Отъезд семьи Крицмана в Израиль был для местной партийно-хозяйственной верхушки громом среди ясного неба. Сдвинулся, казавшийся незыблемым пласт местной элиты, Вслед за семейством Крицмана в Израиль потянулись и другие: Яблонские, Кислюки, Железновы, Лазаревы.

Так вот, не воспоминания о своей молодости привели в Таштагол известного предпринимателя, хозяина издательского дома «Бумбараш» и не заброшенные золотые рудники Спасска, нет! Крицман приехал по издательскому делу и к кому бы выдумали? Да, да! К этому полоумному Кочанову, которого в Таштаголе никто всерьез никогда не принимал. Ну, работал в библиотеке мужик с прибабахом, писал стихи, а кто их не пишет? Предлагал из гранита уран добывать и тем извёл всё местное начальство. На Руси во все века таких новаторов и рационализаторов было пруд - пруди. Так что местное, да и региональное начальство не догадывалось об истинной причине приезда Мойши Крицмана в родные места.

Оно полагало, что Мойша Крицман заинтересовался добычей урана из гранита, а может и золотишком, а может и

лесом. Лес еще остался в шорской тайге. Но дело было не в уране или золоте, а всего-то в нескольких сотнях машинописных листов бумаги.

* * *

Март в Москве в этот год выдался слякотным, оттепели перемежались снегопадами, к утру это всё подмораживало и автомобильная часть москвичей платила ежегодную дань невидимому богу прогресса, по крупному и по мелкому, жизнями и укоризненными взглядами, направленными в сторону опоздавших на службу. Там, где улица Щукина переходит в переулок Островского, в высотном здании времен сталинской монументальной архитектуры, располагался офис издательской фирмы «Бумбараш». В этот офис в десятом часу утра вошел мужчина в светлом плаще, шляпе и остановился у гардероба.

- Здравствуйте, Сергей Викторович, - сказала чистенькая интеллигентного вида старушка, принимая плащ из его рук.
- Как отдохали?

- Превосходно, Анастасия Петровна! Просто чудно как! Шеф у себя? - спросил Сергей Викторович, направляясь к лифту.

- Минут двадцать как поднялся к себе, - ответила Анастасия Петровна, расправляя на плечиках плащ.

Сергей Викторович Скрипник являлся литературным консультантом издательства и шёл к своему шефу не с пустыми руками, но о том чуть позже.

Имя шефа было двойным. Для всеобщего употребления он значился как Михаил Самуилович Светличный, фактически же на его второй родине, в США, он был записан, как Майша Бен-Игуда Крицман, но кого это может смущать и касаться в наше либеральное время?

- Ну, и как отпуск провел? - спросил Михаил Самуилович, вставая из-за большого редакторского стола и направляясь к

Скрипнику. – Ты, я слышал, вместо Альп в Сибирь отправился, что самое поразительное, по доброй воле, – сказал Крицман, пожимая руку Сергею.

- И представь себе, ничуть не прогадал! Чудесный уголок! Слышал, поди, Горная Шория называется?

Лицо Крицмана на мгновение изменилось, и это изменение было истолковано Скрипником по-своему:

- Вижу, что наслышан. Ну да, там этот Кузбасс с ужасными шахтерами...

Но Мойша не поддержал эту тему, а кивнул на папки с рукописями:

- Пока ты прохлаждался, мы тут предварительно вон сколько дерьма всякого набрали, - он запнулся и поправился, - точнее, нам прислали... Надо оценить, вдруг и найдется в этих помоях жемчужное зерно, - и закончил сухо. - Работать надо.

- Работать так работать, - примирительным тоном откликнулся Сергей, он был покладистым человеком и не шёл против шерсти, - можно хоть сию минуту. - Скрипник протянул руку к первой попавшейся папке.

- Можно и завтра, - бросил шеф, усаживаясь в кресло. - Забери весь этот хлам в свой кабинет.

- А между прочим, шеф, - сказал Скрипник, перетаскивая очередную порцию рукописей в свою, как он выражался «норушку», - я там, в Таштаголе, встретил одного самородка, этакий Франц Кафка из Таштагола. Несколько глав из рукописи своего романа он мне читал. Так вот я тебе что скажу, если у него всё так написано, как то, что он мне прочитал, то это, шеф, станет настоящей литературной сенсацией!

- Литературные сенсации, дорогой мой Сережа, не зависят от качества рукописи, это-то ты должен знать. Это дело ловкости рук и свободных денег, пущенных на «раскрутку» автора.

- Так-то оно так, шеф, - откликнулся Скрипник, примериваясь, за один раз унести оставшийся литературный хлам или разделить его на два приема. Решив не надрывать, унес половину. Вернулся.

- И все-таки, шеф, «раскручивать» талантливую вещь как-то морально, что ли, легче, чем убогую серость.

На этом разговор о Франце Кафке из Таштагола закончился для Скрипника, но не для Мойши Крицмана, поскольку в голове его зазвучали речи покойной мамы и мудрого дяди Соломона. Крицману страстно захотелось увидеть места, где он сделал свой первый вздох.

* * *

Крицмана на вокзале встречали все отцы города, резонно полагая, что бывший ученик пятой школы, миллионер обязательно вложит свои кровные во благо города, даже престарелую Прасковью Ивановну разыскали, пенсию ей всю за шесть месяцев выплатили и за счет городского бюджета одели прилично.

Короче, городские власти потратились и надеялись на ответную, естественно, положительную реакцию Крицмана. Они были горько разочарованы, поскольку не знали Мойши!

Мойша равнодушным взглядом оглядел скопление представителей власти и спросил у гражданина, стоявшего ближе всех к нему, как в лоб ударил:

- Мне нужен Качанов Григорий Максимович.

Кто-то из толпы сдавленным голосом крикнул: - Миша! — Но этот голос так и повис в воздухе, ни один мускул не дрогнул на лице Мойши и все как-то сразу поняли, что этот холерный господин действительно господин и не намерен пускаться в сентиментальные воспоминания о днях прошедших. Конечно, в душе у встречавших мелькнуло разочарование и кто-то подумал: «Это же надо! Не главу всего города и даже не

директора горнорудных предприятий, а какого-то зачуханного библиотекаря потребовал!».

Наступила, как говорят театралы, немая сцена. Престарелая учительница во все глаза разглядывала своего бывшего ученика, стихами которого была потрясена, и ничего не находила знакомого в этом ухоженном, властном лице, разве что глаза, голубые, нееврейские глаза. Да и вообще обликом Мойша Крицмана больше походил на скандинава: белокурые волосы с легкой проседью, рост выше метра восьмидесяти, широкие плечи и сильные маленькие кисти рук, в которых он держал небольшой кейс.

Известному телевизионному антропологу Горенко, как бы он не измерял череп Мойши, трудно было бы признать в нём родственную его сердцу телесность. Нет, никто, никогда не мог бы сказать, что Мойша Крицман чистопородный еврей, возводящий свою родословную к дому Давидову. Где, когда судьба вывернула такой антропологический ферт, история умалчивает, хотя поговаривают, что его дальние родственники служили в дружине русского князя Владимира, а там было полным полно скандинавский искателей сильных ощущений.

Как бы то ни было, но в роду Крицманов изредка появлялись на свет белокурые и светловолосые мальчики. Когда его мама впервые увидела Мойшу, а это случилось в 1950 году, она всплакнула от огорчения, но мудрый Соломон успокоил и её, и отца:

- Не плачь, Рахилия, чей бы бычок ни прыгал, а теленочек-то наш.

В положенный срок Мойшу обрезали, как велит закон предков, а дядя Соломон стал обучать его практической жизни, поскольку, как считал дядя, человек должен знать вначале жизнь, понять её пшат, а Бог даст, Тору он потом выучит.

И вот Мойша стоит на перроне, а перед ним все «силь-

ные» города сего, но они Мойшу не интересуют, он знает, что они хотят его денег, везде хотят денег Крицмана, словно у него они растут, как капуста на их огородах или картошка. Мойше нужен библиотекарь. Впрочем, немая сцена быстро закончилась и Крицмана увезли в гостиницу, поселили его в номере, где раньше бывали люди не менее «сильные», чем Мойша и даже куда более грозные, чем он. Кто такой Мойша по сравнению с секретарем обкома КПСС? Вот то-то же! Мойша с должности не снимет, куда «Макар телят гоняет» не отправит. Конечно, у Мойши деньги, много денег и даже кажется, их запах пробивается сквозь кожу кейса и как же он пьянит и разжигает воображение! Но Мойша не снимет, тем более народно-избранных, нет, не снимет!

Вечером этого же дня в номер к Мойше привезли перепуганного Качанова Григория Максимовича. Милиционер, стараясь заслужить похвалу начальства, рывкнул в дверях:

- Доставлен гражданин Качанов, как велено!

Высокое руководство отчего-то не оценило служебное рвение и испуганно замахало на бедного сержанта руками. Начальник горотдела, который присутствовал при доставлении в гостиницу Качанова, процедил сквозь зубы:

- Чего орёшь, болван! Доставляют арестованных, – и шаркался перед перепуганным библиотекарем. – Мы тут, вот, так сказать...

Выдать Качанову зарплату не успели, тем более приодеть. Он как был в поношенном, ручной вязки свитере, потёртых брюках и старых туфлях, надетых на дырявые носки, в том и был доставлен. Дальше уж сам Григорий Максимович дошёл до кресла и сел в него, пряча ноги под сидение, поскольку вязки от кальсон болтались рядом со шнурками от туфель.

Из ресторана, находящегося на первом этаже гостиницы, принесли в номер всё, что, по мнению шеф-повара, было

бы прилично поставить на стол такой знаменитости, как Мойша Крицман. К сожалению, ресторан не обладал исходными ресурсами для приготовления надлежавшей трапезы и потому на столе появился лангет с мучным соусом и свежей капустой на гарнир, пяток яблок, гроздь бананов, жареная сельдь, малосольные огурцы и минтаевая икра. Когда внесли бананы, Мойша покривился и даже кому-то показалось, что он процедил сквозь зубы: «Я же не обезьяна!».

Самое совершенное и стоящее из всего была, конечно, водка «Юбилейная» в подарочной литровой посудине и сквозь изломы стекла свет пятиламповой люстры рассыпался в цветные искры на этом чуде стекольного искусства.

Григорий Максимович вот уже второй год мясное ел только по праздникам, то есть когда получал зарплату, остальные же дни нажимал на дары огорода и леса, водки он вообще не пил, то есть не пил не потому что не пил, таких среди русских раз, два, да и весь счет на этом. Не пил от того что не по карману - раз, во-вторых, оттого что не испытывал в этом потребности, той могучей, исконно русской потребности, особенно обострённо чувствовавшейся в минуты огорчительные, когда душа просит.

Душа Качанова просила другое, она у него была больна нездешним.

Стоило бы немного рассказать о его душе. Когда Григорий удил рыбу на Мундыбаше, лет пятнадцать тому назад, это и случилось. Удил он себе рыбу и вдруг в голове стали складываться слова и он понял, что эти слова выстраиваются как-то сами собой в связный текст. Так Качанов стал писать роман о нездешнем мире, поскольку приходили в его голову слова именно о каком-то другом мире, похожем на наш, но в то же время и не похожем.

Сначала Григорий писал на вырванных из ученической тет-

ради листах, потом достал в горисполкоме списанную пишущую машинку, отремонтировал её и начал печатать. Впрочем, о том, как ему писалось, а самое главное - переписывалось, рассказывать неинтересно, тем более что Мойша Крицман, поблагодарив отцов города за гостеприимство, пожелал остаться с Качановым, что называется, один на один.

Когда отцы города, проглотив обиду, ушли, Мойша подсел к Качанову, плеснул в хрустальную стопку презентованной водки, сказал:

- За знакомство! Называй меня просто Михаил.

Качанов, сглотнув слюну, механически выпил, он был в смятении и подавлен тем, что ничего, ну, ничегошеньки не понимал. Потом Мойша пододвинул ему лангет с капустой, вазу с бананами и молча смотрел, как Григорий ест. Он не забывал подливать водочки и сам пригубливал, заедая пригубленное яблочком.

Наконец, Качанов насытился, а добрая водочка, выпитая в меру под ресторанный лангет с капустой, ввела его в благодушное расположение. Он закурил сигарету «Прима» местной табачной фабрики и впервые посмотрел в голубые глаза Мойши Крицмана и увидел в них любовь и сочувствие. Может, от водки, а может, от взгляда Мойши у него защипало в глазах и он отвернулся. Мойша Крицман, морщась от мерзопакостного запаха плохого табака, пододвинул к Качанову пачку «Мальборо» американского, заметьте, производства, а это вовсе не то «Мальборо», которое продается в киосках, и знающие люди об этом ведают.

Григорий потушил «Приму» и взял «Мальборо», и при этом тихим голосом спросил:

- Чем обязан? - он, всегда говоривший громким голосом, вдруг перешёл, чуть ли не на шёпот.

Мойша, как и учил его мудрый Соломон, взял быка за рога:

- Вы написали роман? Так?

- Откуда вы знаете? - и голос Качанова ещё сел.

- Я могу рассказать, откуда я знаю, но я не за тем приехал сюда, чтобы рассказывать, откуда и что я знаю. Это так неинтересно, а главное - не полезно вам!

Григорий вспомнил, что ранней весной он читал главы из романа какому-то московскому журналисту, любителю горных лыж, обитавшему почти неделю в городе. Мойша продолжал:

- Я приехал купить рукопись.

Сердце Качанова стукнулось около горла и упало куда-то в область печени.

- Вы, вы хотите меня издать? - срывающимся голосом переспросил Григорий.

- С чего вы взяли, что я хочу вас издать? Я же ясно сказал, что хочу купить рукопись, а что я с ней сделаю, это моё дело. Ведь не спрашивал продавец вот этих яблочек, что с ними делает покупатель?

В голове Качанова, словно в калейдоскопе, замелькали валенки, кожаная куртка на меху и пельмени, много пельменей, каждый день. Пельмени досыта, с перцем, со сметаной, с маслом сливочным, с горчицей, о боже, с чем только можно кушать пельмени! Потом Качанова взял страх, это как же - продать рукопись? Он с ней сжился. В ней, в этой рукописи вся его жизнь. Он уходил в неё не только мыслями, но и всем своим существом, это был его мир. И вдруг - продать?

- Я об этом никогда не думал, - пересиливая все эти мысли и видения, ответил Григорий.

- Так подумайте, голова-то, надеюсь, при вас?

Мойша не мог удержаться от иронии. Ему был интересен этот тип человека своей удивительной непохожестью на писателей, мечтающих продать свою рукопись. Ведь ещё Пушкин

писал об этом. Мойша верил чутью своего литературного консультанта Сергея Скрипника, который уверил, что ему довелось читать удивительный роман.

-Что-то кафкианское с элементами фантастики Артура Гаррисона, но куда более фундаментальное, и почти толстовский слог. Мы можем на этом хорошо заработать, Мойша, очень хорошо, если ещё подадим этот роман под заковыристым авторским именем.

И вот этот на треть Кафка, на треть Гаррисон, на треть Толстой сидит перед ним. Обычный мужик, помятый жизнью, как многие в России к пятидесяти годам, и нет в нём ничего от писателя. Мойша даже начал сомневаться, тот ли это человек, о котором говорил ему Сергей?

Между тем Григорий осмелел и сам налил себе рюмку водки. Мойша продолжал его разглядывать и не удержался, прыснул. Он увидел белые подвязки от кальсон.

- Ну, как, подумали? - спросил Крицман, подавляя в себе желание расхохотаться от действительно кафкианской картины. Он, Мойша Крицман, сидит в глуши, в дыре, в тупике цивилизации и выторговывает рукопись, которая, по мнению Сергея, взорвет весь литературный мир. Напротив сидит без пяти минут Нобелевский лауреат, у которого из брючины торчат подвязки от кальсон, а в лице, в выражении глаз нет ни капли мудрости и той значительности, которая бы предполагала гениальность.

- Нет, - подумал Мойша, - плоды всё-таки вырастают в подходящем климате, в подходящих условиях, на подходящей почве. Что-то здесь не так. Если Сергей меня разыграл, то я вычту из его дохода все мои издержки, - решил Мойша и оттого что решил этот главный деловой вопрос, ему стало легко и свободно, даже если бы он купил в Таштаголе пять кило макулатуры.

Водка ударила в голову Григория и он опять посмотрел в глаза Мойши и опять увидел в них то, чего давно не видел в

глазах окружающих его людей с той поры, как умерла его жена.

- Сколько? - спросил Качанов и невольно сглотнул слюну.

- А сколько бы вы хотели?

- Сколько? - и Григорий зашевелил губами, прикидывая свои расходы. Его даже прошиб пот, и вовсе не от жадности, нет, а потому, что не мог никак сосчитать, сколько же ему нужно, к тому же у его ни когда в жизни не водилась сумма больше тысячи рублей. Тысяча рублей ему казалась таким огромным количеством денег, которые можно тратить и тратить, разумеется, тратить на жизнь. И все-таки, зажмурясь от страха за свою дерзость он выдохнул: - Пять тысяч!

Мойша не моргнув глазом ответил:

- Годится, - и пошел в соседнюю комнату, где лежал его кейс. Качанов вначале обрадовался, а потом в голове мелькнула мысль, что продешевил. Продешевил! Пятнадцать лет работы за пять тысяч! Дурак! И мама моя дура! Охмурил своими глазами! И он решил: «Скажу этому голубоглазому, что пять тысяч долларов». И от такой дерзкой мысли у него потемнело в глазах.

Мойша вернулся через пять минут. Григорий за это время успел выпить ещё рюмку водки и, наверное, оттого что был уже пьян, встретил появление Крицмана словами:

- Пять тысяч долларов и наличными!

Мойша удивлённо посмотрел на него и сказал:

- А разве я вам говорил, что рублями?

Качанова опять пронзила мысль, что продешевил, он даже не мог понять, что же это будет в рублях, но то, что этот голубоглазый субъект так легко соглашается с ним, вызвало в его душе сомнения: подлинную ли стоимость он дает?

- А сами, поди, на ней кучу денег заработаете? - не то спросил, не то утвердительно заключил Качанов и потянулся к бутылке.

- Э, нет, любезный, давайте сначала дело сделаем, а потом

уж можно и до кондиции. Вас не устраивает вами же названная сумма?

- Я думаю, что вы на моей рукописи заработаете больше.

- Вы неправильно ставите вопрос и неверно понимаете существо дела, - поправил его Крицман.

- Поставьте его правильно, - сказал Качанов протрезвевшим голосом.

- Правильно следует спросить вас: вы сами надеетесь заработать на этой рукописи больше? Вам кто-нибудь уже предлагал её купить? Или у вас есть связи с каким-нибудь издательством?

- Нет, честно сказать, нет, - Качанов был смущён и растерян от такого напора.

- Вот видите. Откуда же вы можете тогда знать, что стоит ваш труд? - и вдруг Мойша сменил тему и спросил Качанова, - Сколько, вы думаете, золота в Горной Шории?

Вопрос застал Григория врасплох, он где-то читал, что по оценочным прикидкам золота около ста тонн, но он также знал и другое, что речь идет только о том золоте, которое можно добыть при существующей технологии, фактически золото есть в любой горной породе, но это все вылетело из качановской головы и он только промышчал что-то.

- Неважно сколько, - небрежно заметил Крицман, - важнее другое, что оно как бы и есть и в то же время его нет. То есть недобытое золото существует в воображении, в расчетах, фактически его нет. Я это к тому говорю, что ваша рукопись то же самое недобытое золото. Я вам плачу деньги за воображение, ещё нужно потрудиться, чтобы рукопись превратилась в книгу. Добытое золото еще нужно рафинировать, да и удачно продать. Скажите, какое вам дело до того, сколько я заработаю на вашей книге?

Качанов уже раскаялся, что затеял такой разговор. А вдруг

голубоглазый обидится и уйдет? Ему почему-то уже не жалко было рукопись, более того, нечто новое замерещелось ему, ведь на эти деньги... да, на эти деньги он мог многое, не там, в том мире, а здесь, в этом. Он подумал, что ещё не совсем стар и мог бы... А почему бы и нет? Словом, перед ним открывалась новая жизнь в этом неуютном и враждебном для него мире.

- Вы не подумайте чего... - начал оправдываться Григорий. - Мне ведь это впервые... Бывает же... - и вдруг опять словно холодной водой обожгло: «А ведь не скажи я про доллары, так ведь и всучил бы мне рубли? Темнит он что-то!».

- Знаете, Григорий Максимович, я бы ещё прибавил тысячу, но у меня возникло желание поставить условие, разумеется, если я прибавлю к пяти еще одну?

Это уже не походило на Мойшу, это уже вырвалось у него само собой. Мойша даже испуганно вздрогнул: что бы об этом сказал, дядя Соломон? Уж наверняка бы сказал своё знаменитое: «Запомни, Мойша, это только кажется, что ты делаешь людям добро, давая им ссуду под небольшие проценты, или, упаси тебя Иегова, просто так их даешь. Не дать денег - вот истинная забота о человеке!».

И перед глазами, словно живой, возник Соломон. Он сидел за столом, поглаживая свои седые пейсы, а Мойша, дожевывая мацу, удивленно смотрел на дядю: «Ты смотришь на меня, как будто я должен, но хорошо, я отдам тебе долг, хотя и не брал займы. Деньги, Мойша, портят всех людей, мы, евреи, единственная нация, которую деньги не портят. И вот, рассуди сам, ты даешь деньги, зная, что они испортят человека, следовательно, ты сознательно желаешь ему плохого!».

«Отчего так, дядя Соломон?» - спрашивал его маленький Мойша и дядя продолжал свой муссар: «Видишь ли, Мойша, мы любим деньги и деньги любят нас, так магнит притягивает железо из-за своей любви к нему. Все гойим видят в день-

гах только средство, деньги для них сами по себе ничего не значат. Если ты отдаёшь деньги другому и сердце твоё при этом не обливается кровью, значит ты - мимер и мешумед, отступник перед Иеговой. Отдать деньги гойим всё равно, что отдать свою девушку и даже хуже! Гораздо хуже!». «Ну, как же, дядя Соломон, ведь приходится отдавать», - пытался возразить Мойша. «К сожалению, к великому сожалению, но если отданное не вернется с прибавкой - горе тебе! Ты расточитель, а не собиратель. Мы - пчёлы, а все гойим – осы, и если мы не примем мер осторожности, то они пожрут нас. Этому учит весь наш опыт жизни в галусе».

Логика Соломона была всегда на высоте, и Мойша её хорошо усвоил, но что случилось в этой гостинице, то случилось. Мойша на мгновение забыл поучения старого Соломона, а он говорил: «Помни, Мойша, слово обратно в рот не затолкаешь».

- Какое условие? - спросил Качанов.

- Ну, скажем, - Мойша почесал за ухом, - вы не сможете получать в месяц более ста долларов, вернее, рублей, эквивалентных этой сумме.

- Это почему же? - Качанов начинал сердиться.

- Не почему, а зачем.

- Ну, так **зачем?** - уже грубо сказал Григорий. То родственное, **доверчивое** чувство испарилось куда-то и вместо него в душе **возникало** что-то иное - стыд не стыд, но очень похожее на это чувство, когда человек делает какую-то оплошность и оплошность эта **унизительна**. И вот он начинает осознать, что поступил как-то не так, «прогнулся», что ли, перед сильным мира сего, сапог «лизнул» и оттого - гадко. В Качанове **просыпалась** злость.

- **А затем**, дорогой мой Григорий Максимович, чтобы этих денег **вам** хватило надолго, чтобы их не выманили у вас

друзья, и, может быть, подруги, человек вы еще не старый.

Мойша говорил эти справедливые слова по инерции и понимал, что зря он их говорит. То, что зря, Мойша понял, как только проговорил последнюю фразу. И опять в его голове зазвучал голос дяди Соломона: «Мойша, запомни, что человека обижать не следует. Даже когда снимаешь с него последнее пальто, он должен быть тебе благодарен за это».

- Михаил, кажется, - желваки заходили под скулами Григория, - так вот, меня учить не следует, уже взрослый, это, во-первых, во-вторых, уже ночь на дворе и давайте продолжим наш разговор завтра, поутру.

- Простите меня, Григорий Максимович, простите великодушно, я действительно перешел грань приличия. Но я хотел как лучше. – Мойша отработывал «ход назад», нещадно ругая себя за сострадание к этому гоиму.

О, Мойша мог так себя красиво «высечь», что другим только и оставалось, что пожалеть Мойшу Крицмана. Закончилось все это тем, что они выпили еще по рюмке водки и Мойша позвонил дежурному по горсовету, как и наказывал ему глава города, в случае надобности. Надобность у Мойши была в автомобиле, чтобы немедленно поехать к Качанову и забрать у него рукопись.

Пока они ждали машину, Мойша положил на стол договор, в который следовало только вписать данные паспорта Качанова и сумму, за которую приобретена рукопись, шесть тысяч долларов, и расписаться. Договор был на одном листочке и заканчивался большей лиловой печатью издательского дома «Бумбараш». Договор гласил, что Качанов Григорий Максимович продал рукопись издательскому дому, и самое главное: «На всё время действия авторских прав».

Это «на всё время действия авторских прав» царапнуло по сердцу Качанова, но он решился. Потом они поехали на

окраину города, где в собственном доме, доставшемся ему от отца, жил Качанов.

Мойша, входя в дом, вспомнил свое детство. Отец долгое время жил в таком же доме, рубленном «в лапу» из пихтача, даже планировка показалась Мойше знакомой: холодные сенцы, потом вход на кухню с большой русской печкой и камельком, направо горница, из неё вход в спальню. Мойша даже вспомнил, что его мать, после доброго гит шабеса, ставила в такую печь шолент до утра и даже Мойше почудился запах цымиса - фруктового соуса с пряностями.

Нет, положительно, с Мойшей Крицманом что-то происходило непонятное. И Мойша осознал это, понял, что «размяк», «потёк», будто кисель. Вот почему так часто вспоминается ему дядя Соломон, он и оттуда, из бездн шеола, смотрит за своим племянником, предупреждает его.

Григорий вынес из спальни картонную папку с рукописью. Папка была толстой и тесемки едва завязывались. Намётанным глазом издателя Мойша прикинул, что этот роман потянет на шестьсот-восемьсот страниц нормального шрифта. Когда Качанов передал рукопись в руки Мойши, что-то кольнуло в его сердце, он даже не сдержался и ойкнул. Мойша участливо спросил:

- Что с вами? - но Григорий только махнул пренебрежительно рукой, мол, ничего.

Крицман поставил на стол, рядом с пишущей машинкой свой кейс, повертел колёсики замка и открыл. Под парой новых рубашек и несессера с туалетными принадлежностями, ровно уложенные лежали пачки долларов банковской упаковки. Григорий впервые видел их. Мойша вынул шесть пачек десятидолларовых банкнот и выложил их на стол перед Качановым, а потом в кейс положил папку с рукописью и с усмешкой сказал:

- Баш на баш! Мои деньги, ваша бумага.

Григорий нехотя улыбнулся:

- Не прогадаете, - и добавил к сказанному каким-то грустным, даже обреченным голосом. - Теперь я осиротел.

Мойша Крицман удивленно посмотрел на него:

- Так пишите! Пишите, черт вас возьми! - он похлопал Качанова по плечу. - Пишите скоро и много, пока я жив. И на самом деле, Григорий Максимович, вот годика через два нагряну и, глядишь, куплю еще одну рукопись?

- Нет, я уже ни чего не напишу больше.

- Отчего же? Написали один раз, руку, что называется, набили, еще напишете.

- Они мне этого не простят.

- Чего не простят? - удивился Мойша.

- Предательства мне не простят.

- Да кто, помилуй бог?

- Ну, те, кто... В общем, неважно это все. Дело-то сделано, чего уж тут.

- Знаете, Григорий Максимович, не моё это дело, конечно, завтра утром меня уже здесь не будет, но поверьте мне, денежки-то эти нужно бы положить в банк и лучше всего, надежнее всего в Сбербанк, хотя сейчас, по чести сказать, надеяться нужно только на печь да на мерина. И все-таки живёте вы на отшибе, одиноко живете. А сами понимаете, деньги...

И Мойша уже видел, как дядя Соломон укоризненно качает головой.

- Конечно, конечно! - отчего-то засуетился Качанов, как бы своей суетностью выпроваживая гостя. - Разумеется, я так и сделаю.

Крицман подходил к машине главы города и тут что-то заставило его обернуться и посмотреть на дом. И ему показалось, что в окне он увидел лицо Григория, тот смотрел - это понял Мойша - как увозят его рукопись.

Как ни старались отцы города заинтересовать Мойшу, он утром уехал в Новокузнецк, оттуда улетел утренним рейсом в Москву.

Книга вышла через полгода пробным тиражом в десять тысяч, на обложке значилось: «Ле де Кастер. «Багровые костры Меона». Через два дня она исчезла с прилавков, вернув Мойше Крицману его деньги. Второй тираж принёс чистую прибыль в двадцать тысяч долларов и уже готовился перевод на английский и испанский. Критики и писательская братия атаковывали издательство, пытаясь узнать, кто же скрывается под псевдонимом Ле де Костера, но издательская крепость отражала атаки.

Мойша понимал, что рано или поздно всё откроется, и это предчувствие оправдалось. Один дотошный журналист выяснил, что Крицман ездил к чёрту на кулички примерно год с небольшим тому назад, и решил съездить в Таштагол. Таинственного автора он там не обнаружил, но выяснилась любопытная деталь, что Мойша Крицман, отвергнув деловые предложения администрации города, весь вечер до середины ночи общался с неким Григорием Максимовичем Качановым, библиотекарем. О чем шла речь, никто не мог прояснить, кроме того, что Качанова через день после отъезда Мойши Крицмана нашли повесившимся в собственной спальне. Экспертиза следов насилия не обнаружила и, таким образом, следствие было прекращено за отсутствием состава преступления.

Именно это при встрече с Мойшей Крицманом сообщил ему дотошный журналист, пытаясь «расколоть» издателя. Но Мойша не «раскололся», правда, журналисту показалось, что он изменился в лице, когда узнал, что Качанова нет в живых, но быстро взял себя в руки. Крицман всё-таки пояснил журналисту, что его детство прошло в Таштаголе, а с означенным Качановым он учился в одной школе, так сказать, друг детства.

- Иногда, - сказал Мойша, - тянет побывать в местах, где

бегал по лужам босым.

По здравому размышлению, подобное желание могло быть даже у Мойши Крицмана.

СЛОВАРЬ

АКИМ - одно из названий, даваемых христианам.

АЛМЕМОРА - помост в синагоге, с которого читается Тора.

АМ ГААРЕЦ - плебей, невежда, необразованный еврей.

БОЛБОСТА - хозяйка дома, мать семейства.

БОХЕР - ученик.

БОБЕ - бабушка, позвать - бобеле

ГАКДЕШ - общественная богадельня.

ГИТ ШАБЕС - добрый шабаш, хорошее окончание дел.

ГОЙИМ - иноплеменники, неверные, христиане.

ГОЛУСА - изгнание.

ДИРЕХ ЭРЕЦ - религиозная учёность и светское образование.

ДРОШ - проповедь.

КИДУШ - обряд благословения субботнего вина, также обозначает и выпивку.

КОШЕРНОЕ – мясо, разделанное по ряду правил.

КОДЕШ КУГЕЛЬ - запеченные макароны

ЛАМДАН - ученый и проповедник.

ЛЕБЕН - душа, жизнь, ласкательный эпитет.

ЛОКШЕН - лапша.

МАЛОХ-ГАВУМЕС - ангел смерти; прикрепленный к косяку ворот охраняет от нечистой силы.

МИКВА - водоем при бане для обряда очистительного омовения.

МИКОЛЬ ШЕКЕН - «ни аза, ни бельмеса»

МИНХЕ - предвечерняя молитва.

МИМЕРЫ И МЕШУМЕДЫ - выкресты и отступники.
МОРЕЙНЕ - особый титул для талмудического еврея.
МУССАР - нравоучение.
ОР ЛА ИЕГУДИМ – комплимент, «Свет всего иудейства»
ПИЛЬПУЛ - юридический, талмудический диспут.
ПОСУКИ - стихи.
ПШАТ - смысл
РОСЛ ФЛЕЙШ - соус, приготовленный из муки, перца и
мяса.
РАББЕЦЕНЕ - жена раввина.
СИДУР - молитвенник.
ХАЛАС - свежий пшеничный хлеб домашнего пригото-
вления.
ХАРИФЛ И МАГИД - остроумный талмудист и проповед-
ник.
ХАРИФУС МАГИДУС - остроумное использование тек-
стов Талмуда.
ХАХОМ ГОДУАЛЬ - особенно умный человек.
ЦЫМИС - соус из фруктов и пряностей.
ШАББОС ШАББОС ГОЙ - христианский батрак.
ШАББОС КОДЕШ - священная суббота.
ШАХРОВАТЬ - спекулировать, приворовывать.

ТРОЕ

Августовские поезда «Новокузнецк-Адлер» полны шах-
тёрами, отправляющимися «на юга». В одном из купейных
вагонов такого поезда ехал и я, правда, не на курорт, а по
делам иным, командировочным.

Уже через час в таких купе возникает, как правило, ма-
ленькая пирушка: «за знакомство» и «по случаю отпуска».
Иногда, в зависимости от темперамента и общих наклоннос-
тей, это знакомство продолжается до самого прибытия к бе-

регам Черного моря.

В моём купе почти сразу после отхода поезда из Новокузнецка засуетился один мужик лет сорока. Он выложил на столик копчёную курицу, что-то из зелени и бутылку самодельного горячительного. Он хитровато улыбнулся и предложил попробовать, как сказал, «домашнюю заготовку». Он ехал из Осинников, где работал на знаменитой шахте «Капитальная» проходчиком, звали мужика Анатолием.

К нему, с живейшей радостью присоединился второй и также выложил снедь, а потом, загадочно улыбаясь, в тон первому сказал: «И у нас, в Малиновке, не только один уголь. Кое - что и другое производим».

Они пригласили остальных к импровизированному столу. Я понимал, что отказаться - значит оскорбить их лучшие чувства и также достал, что бог послал то бишь, что жена в сумку положила. Оставался четвертый. Он лежал на полке в трико и не обращал внимания на наши приготовления.

-А вы что? За компанию, - предложил Анатолий и добавил с обескураживающей простотой, на которую только и способны русские.- За компанию и жид удавился.

- Я не пью, к тому же не жид, - ответил тот, что лежал на полке.

Он широко, добродушно улыбнулся, свесив голову в проход купе. Я запомнил только его пышные усы пшеничного цвета и скуластое лицо типичного сибиряка, облик которых сотворила такая мешанина разнообразных кровей, что ни один антрополог не смог бы разобраться в их этнической принадлежности.

- А кто пьёт? Кто пьёт! - удивился мужик из Малиновки и представился Анатолию, протягивая широкую, как совковая лопата, ладонь. - Паша, «Алардинская» шахта. Я, как и ты, - проходчик, - потом, взглянув на мужчину, лежащего на пол-

ке, сказал. - Не пить, а пробовать. А это две разницы.

Анатолий поддержал Павла и пояснил:

- У нас пьют, когда на брата по литру, а так - пробуют.

Павел хмыкнул:

- Не пьяни ради, а знакомства для.

- Да нет, ребята, я своё отпробовал, - ответил мужчина с пшеничными усами и лицо его исчезло из прохода купе.

- Не похоже что-то, - заметил Павел, - не те годы, чтобы вот так «завяжи, да лежи».

- Зря, мужики, я действительно не пью, - отозвался мужчина.

Словом, мы от него отстали. Попробовали. Достали еще, а потом стали обсуждать достоинства самогонок, потому что у обоих шахтёров «домашние заготовки» оказались самогонками крепчайшего градуса.

Алардинский шахтёр принялся «доставать» непьющего. Тот то отмалчивался, то отшучивался, но в конце концов сказал:

- Хотите, я вам расскажу о самогонке?

- Что ты нам про неё можешь рассказать такого, чего б моя бабка не знала? - спросил Анатолий, - она у меня профессор по этой части - и марганцовочкой «осадит» и не гашеной известью подкрепит, а потом сквозь уголёк, да и ягодку по сезону зальет. Ты попробуй, - он протянул ему рюмку с настоеккой. - Чуешь, запах черемуховый?

Но мужик не соблазнился черемуховым запахом, а Анатолий продолжил:

- Тут важно сразу настойку с ягод слить иначе беда, из косточек дурь натянёт. Это вам не на малине или клубнике настойку делать, тут чутье нужно. К тому же в клубнике, да и в той же малине соку много, настойка получается слабее, чем на черемухе.

- Не в том дело, - прервал его монолог Павел, - что мар-

ганцовка хороша для очистки, тут иной секрет, в выгонке. Я, ежели наприкид, выгоняю литров шесть и разливаю их сразу по поллитровым банкам, таким образом, получается двенадцать банок самогона. Расставляю их по порядку, вот так... – он принялся расставлять на сидении карамельки. – Первая, вторая, третья и так дальше. Потом две первых и две последних сливаю вместе – это для наружного потребления, а остальные, получается восемь банок, вовнутрь. В первых и в последних самая «дурь», но и самое полезительное лекарство, хоть от ревматизма, хоть от чего иного.

Словом, они минут пятнадцать рассуждали о выгонке самогона, о приготовлении настоек на ягодах, потом спохватились и Анатолий сказал непьющему мужчине:

- Рассказывай. Только чтоб складно врал, – и засмеялся своей шутке.

- Врать не умею. Давайте так: я вам расскажу, а уж вы сами рассудите, чего знаете, а чего нет, – ответил тот.

- Только складно рассказывай, чтобы в сон не тянуло, – поддакнул Павел, видимо, почувствовав сонливость от выпитого.

- Хорошо, считайте это рассказом, – сказал мужчина.

- А как же иначе, ежели ты рассказывать будешь? – удивился Павел.

- Известное дело, рассказ и получится, – заметил Анатолий тоном разбирающегося человека в этих тонкостях.

- Да нет, я вам его прочитаю. Он у меня на бумаге изложен, – мужик поднялся, вытянул руку и снял небольшой чемоданчик с багажной полки. Открыл его и достал картонную папку. Развязал тесемки и вытащил из папки скрепленные листы с машинописным текстом.

- Так вы писатель, да? – с любопытством спросил Павел, кивком головы отгоняя дремоту. – Это даже интересно послу-

шать. В жизнь живых писателей не встречал.

Я отметил про себя удивительную перемену в обращении. Писателю вот так, запанибрата нельзя «тыкать» - это вам не «Ванька - вяжи веники», он книжки пишет!

К писателям и к начальству, особенно к начальству, у нас врожденное уважение, правда, уважение, показное - за глаза мы такое можем сказать, такое...

- В каком-то смысле. Ну что, читать? - спросил он.

Я его энергично поддержал:

- Разумеется. Для знакомства выпито достаточно, как раз в меру, чтобы не потерять способность понимать.

Я видел, что Анатолию не терпелось продолжить «знакомство» и чтобы умерить его активность, заметил:

- А то ведь, о шахтерах говорят, что они тупы и кроме водки ничего не понимают».

Видимо, сказанное попало в цель, и Анатолий решительно заявил:

- Ежели скучно будет, то я прямо в глаза скажу. У меня не заржавеет.

- Ну, вот и хорошо, - согласился лежащий на полке. Он стал читать ровным, сильным голосом, не спеша, как бы не читал вовсе, а вспоминал, вспоминая - размышлял.

* * *

Электричка «Парфёново - Зеелово» уже подходила к станции «Касаткино», когда «трое» появились в проходе и стали приближаться к Раздаеву. Шли они своим обычным порядком: впереди маленький, за ним средний, а потом длинный. Раздаев не стал дожидаться, когда они к нему подойдут, а сорвался с места и кинулся в хвост состава, вздрагивая от охватившего ужаса.

Он вспомнил слова главврача психоневрологического дис-

пансера, Аксенова Семена Петровича, что месячный срок для такой тяжелой формы алкоголизма очень маленький и ему не стоит торопиться с выпиской, но Раздаев чувствовал себя превосходно и ночные страхи увидеть «троих» перестали его преследовать уже недели две.

Поскольку Раздаев пришел сам, то Семен Петрович не стал его удерживать, просто сказал, чтобы в случае чего немедленно возвращался.

Раздаев выскочил из вагона как ошпаренный и, дико озираясь по сторонам, заметил, что товарный состав отходит в сторону Парфёнова, вскочил на тормозную платформу и сел на пол, уткнувшись головой в колени. Он дрожал, как от сильного озноба, и не соображал, что делает, одна мысль укрыться за спасительным забором от преследования «троих» заполняла всё его существо. Стояла поздняя осень и его изрядно продуло на открытой площадке, пока он доехал до Парфёнова.

* * *

Началось это давно, вот только как давно? В этом всё и дело. Может быть, всё началось с детства, с логушка его бабушки Настя? Этот памятный логушок о два ведра известен Раздаеву в мельчайших деталях: от железных обручей по три штуки с каждой стороны до деревянной затычки в круглом дне и вечно обмотанным тряпкой кляпе на боку. Логушок, не бочонок, как и подобает логушку, не «стоял», а «лежал» за обогревателем комбинированной печки, то есть печки русской с комельком на две чугунных плиты. Это сооружение, печь, занимало в бабкином доме едва ли не треть всей «полезной площади» и своими боками выходило в спальню и горницу. Раздаев вырос на этой печи и помнит её и логушок с раннего детства.

Бабка Настя постоянно пополняла логун запаренным от-

стоем из сохлого ржаного хлеба, дрожжами и сахаром. Брагу пили все обитатели дома Раздаевых, кроме, пожалуй, самой бабки, которая не любила браги по той причине, что с неё «голова кружится». Большой беды от браги она, по-видимому, не видела.

В каких-то домах делали и пили квас, а у Раздаевых мужики пили брагу. При этом никто из соседей в деревне Замышляево, где они жили, не видел Раздаевых пьяными. Дед, когда уже бросил работу в колхозной конюшне, бывал навеселе, но очень редко, да и то он говорил бабке: «Чой-то старуха, голова у меня кружиться начинает со второй кружки, видно, старость своё берет».

Бабка Настя ему отвечала: «И то, восьмой десяток пошел, есть с чего твоей голове кружиться».

Когда, внучок Семёна прибежал со своих детских игр иц разгорячённым, то бабка ему говаривала: «Ты, пострел, хлебного выпей, да не много-то пей, голова кружить будет».

Может, с этого всё и началось? Да нет, подошел срок, Раздаев окончил среднюю школу. Как все, не очень хорошо и не очень уж плохо, короче, не обидно для отца с матерью, которые к тому времени схоронили бабку Настю и деда Егора.

Потом, как положено, работал в колхозе, учился у отца плотницкому ремеслу, а перед тем как уйти в армию, обучили его в ДОСААФе **шофёрскому** делу и все три года отслужил Семён Раздаев в **стройбате**, на «ЗИЛе»-самосвале. Строили то один военный городок, то другой. Редко Семён вспоминал лотушок бабкин, который **перешел** по наследству его отцу и всё так же, как и тридцать, **а может** быть, и все пятьдесят лет тому назад, сбразивал в **своем дубовом** нутре «хлебное».

После армии **Раздаев** женился и уехал в посёлок городско-го типа Зеелово, **где на** окраине, в верхнем течении речушки Прозрачной срубил себе дом о четырех комнатах с кухней, ве-

рандой и надворными постройками. Распахал целик под огород и зажил «кулаком», не особо водясь с кем-либо.

Одного он не унаследовал из своего рода - это бабушкин логушок и потому обходился водочкой, но настолько в меру и аккуратно, что его жена, тоже деревенская, Валентина с чистым сердцем говорила на своей работе в парикмахерской, что её муж не пьет, разве что двести грамм с устатку. Жены, у которых мужья пили, ей завидовали: «Счастливая ты, Валька!»

Но счастье её было с червоточинкой, не было у них детей. Через десять лет они с этим смирились. Может, оттого, что у них не было детей и, значит, не было неизбежных трат, в доме их был достаток. Лишнего из скотины Раздаевы не держали, боровка к Новому году, курей к первым морозам штук до полста все ж таки забивали. Остальных, чтобы по весне быть с яичками, помещали в теплый и светлый курятник. Кролов, которых Раздаев держал в вырытой яме под зад двора, он также к зиме забивал, оставляя пару для весеннего расплода.

По этой причине жена ходила у него в кролячьей дохе, а он наловчился шить, кроме верхней одежды, ещё и шапки. Шапки на базаре стоили до двадцати рублей, а то и все тридцать, так что деньги у Раздаевых водились.

Лет через пять, после того как Семен отстроился и оброс, как он любил говорить, «жирком», зачастили они с Валентиной по курортам, оставляя на хозяйстве мать Валентины, «княгиню Заковряшину», такова была девичья фамилия матери Валентины.

С этой «княгиней» дело обстояло туманно, но только она упорно считала себя княжеской внучкой и очень неохотно оставалась на хозяйстве. После того как передохла половина кролов, Раздаев сказал своей жене: «Всё, хватит, поездили».

Нет, не тогда это началось, хотя кто его знает, как что начинается? Работал Семён водителем на молоковозе и однаж-

ды к нему подошел Лешка Званцов, он когда-то работал на этой машине, но после аварии потерял правую руку и сидел теперь на пенсии. Впрочем, из «Сельхозтехники» не ушел, а дежурил на вахте, по сути дела работал сторожем.

До молоковоза Раздаев работал на разных машинах, а единственный молоковоз в «Сельхозтехнике» был Званцова. Семену предложили восстановить машину после аварии, что он и сделал. Он уже успел «обкатать» молоковоз после ремонта и пару раз съездить в ближайший совхоз и в отделения этого совхоза. И вот к нему подходит Лешка Званцов и загадочно улыбается: «Хошь уму-разуму научу и недорого возьму?» - сказал Лёшка, шмыгая вечно сопливым носом.

- Ежели на бутылку просишь, то я не дам, - Раздаев на дух не терпел пьющих и потому не поважал таких.

- А то неизвестно, что ты первый жмот, а вот научу, так сам будешь привозить мне для согреву и от тоски в благодарность.

Словом, рассказал ему Званцов, что если в цистерну с молоком опустить плотно увязанный шар проволоки-путанки, - он даже показал руками величину с футбольный мяч, - то через полчаса езды по просёлкам можно выгаскивать проволоку, облепленную маслом.

- Кило два, полтора, смотря по дороге и времени, набирается, - пояснил он. - Очень прибыльное и безопасное дело.

Раздаев эту информацию пропустил мимо ушей, пока в одном отделении не увидел моток проволоки, очень подходящей для этой цели. Он, не особо задумываясь над тем, что делает, принялся формировать из сталистой, тончайшей, как паутина, проволоки нечто, похожее на шар.

Потом, когда отъехал за километр, бросил шар в цистерну, привязав его к проволоке потолще, чтобы удобней было выгаскивать, не порезав руки о стальную паутину. До молокозавода

было километров двадцать, и Семен, подъезжая к заводу, решил посмотреть, что у него получилось с придумкой Званцова.

Действительно, проволочный шар был густо облеплен ярко-желтыми комочками масла. Он, еще когда вытаскивал шар из цистерны, почувствовал тяжесть. Что делать с маслом, Раздаев не сразу сообразил, попробовал руками очистить и тут же понял бесперспективность затеянного.

«Нужно опустить проволочный шар в кипяток, тогда масло всплывет», - подумал Семён, но какой кипяток посреди дороги? Нашелся полиэтиленовый пакет, он положил шар в него и сунул в мешок. Он брал мешок, чтобы по дороге с работы нарвать травы и веток для кролов.

Раздаев с работы ходил домой пешком и только на работу ездил на автобусе. Напрямую от гаража «Сельхозтехники» до раздаевского дома было километра два через пустырь, поросший чертополохом и бурьяном, далее березовым колком, и березовый колок выходил прямо к ограде его огорода.

Вечером Семен вытопил из проволочного шара около полутора килограммов масла. Так и повелось. Семён многократно «улучшал» конструкцию и добился того, что иногда снимал до трёх кило. Вскоре вопрос встал так: куда девать масло? Бросить, остановиться Раздаев уже не мог, появился какой-то азарт. Другой раз он специально проезжал по такой дороге, на которую его раньше и «калачом не заманишь».

И тут случилось то, что Раздаев считает точкой отсчёта своей беды. По дороге на молокозавод он проезжал по пригородному селу Камышинка, и у машины отказал бензонасос. Пришлось его снимать и менять диафрагму. Уже смеркалось, когда к нему подошел мужчина лет сорока, сорока пяти, прилично одетый, и спросил: «Слушай мужик, у тебя масло коровье есть?»

Может, с этого все началось? Наверное, с этого странного

обмена масла на самогонку. Вскоре Гордейчив Валентин Павлович стал его встречать на въезде в деревню, где и происходил обмен, вернее, Раздаев отдавал ему облепленную маслом проволоку и брал чистый проволочный шар плюс три бутылки самогона. Нашёлся и покупатель на самогон, самый, что ни на есть, денежный - директор магазина «Обувь» Ворсинкин Семен Игнатьич, постоянный клиент его жены в парикмахерской.

Ворсинкин предпочитал самогон любому другому напитку, а самогон Гордейчива не только выгорал синим пламенем в ложке досуха, но почти не имел специфического запаха.

Тогда всё сошлось в одно: день рождения жены и эта встреча с Гордейчивым. По правде говоря, причина, по которой Раздаев откликнулся на предложение Валентина Павловича обменять масло на самогон, и заключалась в дне рождения.

Должны были приехать многочисленные родственники жены, люди не только пьющие, но и опохмеляющиеся. Когда Гордейчев шепнул Семёну, что у него есть самогон, которого и царям не зазор выпить, он согласился. На дне рождения присутствовал и Ворсинкин, которого пригласила Валентина. Так замкнулся круг.

* * *

Мужик на полке перестал читать, прокашлялся, попросил воды и я ему налил стакан минералки. Он выпил и спросил:

- Ну, что? Читать дальше?

Павел встрепенулся:

- А, что? - он видимо уже задремал, а шахтер из Осинников Анатолий буркнул:

- Коли начал, так продолжай, чего спрашивать-то?

- А вдруг скучно?

- Будет скучно, скажу, - пообещал Анатолий. - Вот только в ум не возьму, какая такая выгода была, масло на самогон

менять?

- Боялся масло продавать, ведь молоко возит.

- Ну-ну, коли так...

Мужчина еще раз прокашлялся и продолжил чтение.

* * *

Однажды, возвращаясь с работы, Раздаев решил отдохнуть в берёзовом колке. Он и раньше отдыхал под старой березой с раздвоенным корневищем, на мелкой, похожей на ворсовый ковер траве. Смотрел в небо и думал. Дома и на работе думать ему некогда было, а тут думалось. Всякое-разное думалось, иногда такое, о чем он ни в жизнь бы никому не признался, скажем, о том, есть ли Бог? Нет, Бог его не интересовал сам по себе, но когда перевалило за тридцать пять, странные мысли, о которых он не читал даже в тех редких книжках, которые приносила зимой в дом его супруга, стали откуда-то приходиться к Семёну. Особенно тогда, когда он вот так лежал под берёзой. Если бы его попросили рассказать, о чем он думал, то вряд ли бы смог: мысли скользили, плыли, вспухали, как облака в небе, и так же растаивали без следа. Думалось и всё.

Вот и сейчас он выложил бутылки с самогонкой в корневищную развилку, где уже лежали шесть штук, и принялся прикрывать их травой, но как-то машинально оставил одну и сделал из горлышка три больших глотка, а потом лёг на спину и стал думать.

Под раздвоенным корневищем берёзы образовалась глубокая ниша и Раздаев углубил её, расширил, образовался вроде как погребок для самогонки. Сделал он это «тайное хранилище» предусмотрительно, так как за самогон можно получить срок, тем более что участковый, старший сержант Михайлюк стал косо поглядывать и раза два приходил к Раздаеву, словно собака принюхиваясь к запахам на его подворье...

* * *

- Это когда же было-то? - прервал рассказчика Анатолий.

- Лет десять тому назад, - отозвался мужчина.

- Ну, тогда...

- Тогда срок за выгонку самогонки давали, - сказал мужчина и продолжил чтение.

Анатолий согласился с ним, что времена были дикие, коммунистические.

* * *

Потом у Семёна вошло в правило, как у его деда, заглядывать в логушок. Возвращаясь с работы, он выпивал. Вначале грамм двести, потом больше, пока не дошел до «нормы» в бутылку.

Семён вставал рано, того требовало хозяйство. В пять утра он выскальзывал из тёплой постели, принимал холодный душ во дворе, насос подавал воду из речки в железный бак для питья и полива. Потом давал корм кролям, подбирал в свинарнике, курятнике, в шесть вставала жена и готовила ему завтрак.

Усталость подкрадывалась к Семену незаметно. Раньше он понятия не имел об усталости: ложился поздно и вставал рано. Сейчас вставать в пять утра стало тяжело и Раздаев уже не выскальзывал из постели, а вырывал себя из неё злым - «надо»! К тому же возникло желание опохмелиться и Раздаев, прежде чем приступить к утренней, неперемной работе, забегал в мастерскую, где стоял верстак и хранился инвентарь, без которого мужик в доме вовсе и не мужик, и выпивал стопку самогона. Тяжесть отступала и привычная работа спорилась в его руках.

Наступила зима и работы в доме стало намного меньше, да и «улов» масла пошел на убыль, но самогонки всё еще хва-

тало для собственной потребности и для продажи.

Валентина как-то заметила ему, что он стал часто выпивать. Семён вспылал и наговорил ей грубостей, чего раньше не бывало. Он становился раздражительным и подозрительным.

- Что-то ты задом часто стала крутить перед этим Ворсинкиным! - крикнул всердцах Раздаев после очередного замечания Валентины насчет выпивки, хлопнул дверью и ушел в свою мастерскую. Чтобы не давать мужу повода к ревности, Валентина ушла с работы, но это ничего не меняло.

«Трое» появились следующим летом. Раздаев ехал, уже «затаренный» самогоном, а они стояли на обочине и голосовали. Он не обратил на них внимания. Если бы «голосовал» один, то Семен посадил бы, но куда троих? Он проехал мимо. Правда, из головы не шли эти три фигуры, особенно потому, что он ни как не мог вспомнить ни их лица, ни то, в чём они были одеты.

Раздаев возвращался с работы своим обычным путем и раздумывал над странностью своей памяти. Обычно он хорошо запоминал людей, достаточно было бросить взгляд и всё, как он говорил: «Уже «сфотографировал». Его злило, что вот втемяшились в голову эти три безликие фигуры и никаким образом он не может от них избавиться.

Так в расстроенных, злых чувствах Семен дошёл до своей берёзы, достал из схоронки стакан, шмат копченного свиного мяса. Раздаев хорошо запомнил, что успел налить в стакан самогона и только было намерился поднести его к губам, как за спиной раздался голос: «Ты чего не остановился, когда тебя просили?»

Стакан примерз к губам, волна животного страха окатила Раздаева. Он окаменел. Никогда в жизни так не пугался, да и подумать не мог, что бывает такой парализующий страх.

Сердце, казалось, переместилось к горлу и трепыхалась там, как пойманная в силос птаха. На лице выступили бисеринки

пота. Не меньше минуты сидел Раздаев в оцепенении со стаканом, прислонённым к губам, и всё ждал, и ждал почему-то удара по голове. Обязательно по голове. Семён мог бы точно сказать, по какому месту должны были ударить, это место в области затылка у Семёна онемело, словно под кожу ввели новокаин. Но всё рано или поздно кончается и Раздаев медленно стал оборачиваться на звук голоса, но там, за его спиной, никого не было. Выругался так, как никогда в жизни не ругался.

Семён выпил стакан самогона и не почувствовал его вкуса, следом налил второй и тоже выпил его залпом, потом бросился навзничь на траву и заплакал. Последний раз плакал, когда хоронил мать. Когда умер отец, Раздаев не плакал. Плакал от испытанного унижительного страха.

Пришел домой, что называется, «тёпленьким», таким его Валентина ещё не видела. Всю ночь отпаивала мужа холодным молоком, а утром Семен проспал до полседьмого. Пришлось опохмеляться уже в открытую, не помогла холодная вода из душа.

Валентина сунула ему в карман половинку мускатного ореха «от запаха». В обед Раздаеву потребовалась порция самогона, хотя он всеми силами пытался отодвинуть неизбежное. Еще утром, в автобусе, он сказал себе: «Всё, баста, завязываю».

Ему не хотелось признаться, что обойтись без обеденной порции уже не сможет.

Прошел месяц и Раздаев стал забывать о «троице», так смертельно испугавшей его в березовом колке. Он теперь пил целый день, правда, понемногу, чтобы незаметно было, а мускатный орех да еще кардамон нашли постоянную прописку в карманах Раздаева.

Неожиданно, исчез поставщик самогона и Семён почувствовал опасность. Он больше не опускал свою «удочку» в молоко, а однажды посреди дороги машину остановила ГАИ.

Милиционеры знали что искать, но ничего уже не было. К счастью, он был трезв. На другой день в диспетчерской ему вместо путевого листа выдали повестку в отделение милиции. Там он встретил своего приятеля Гордейчива.

Самое мучительное во всём этом было то, что ему требовалось выпить. В конце-концов Раздаеву захотелось обыкновенной холодной воды, но следователь объяснил Семёну, что здесь не киоск с прохладительными напитками: если Раздаев признается, то ему, может быть, и дадут попить. Из вопросов следователя Семён понял, что настучал на него никто иной, как бывший водитель молоковозки Званцов.

«Все по уму, по-нашенски, - зло промелькнула мысль. - Век молока не пить, лишь бы у соседа корова сдохла!»

До вечера его допрашивали, но Семён всё начисто отрицал. Доказать ничего не могли и с миром, но под пригляд, отпустили.

Вечером Раздаев, уже не таясь от жены, пил. Через две недели закончились запасы самогона и ему пришлось покупать водку. Деньги у Раздаева были, и заначка была немаленькая, около полутора тысяч рублей, но теперь приходилось прятать водку от жены. Она, словно чуя недоброе, стала заглядывать в такие места, в которые раньше и не совалась. Ссоры пошли чуть ли не каждый день.

Это случилось глубокой осенью, вечером. Жена, после очередной ссоры ушла к своей подруге, а Раздаев мучительно вспоминал, куда же он спрятал бутылку водки. Он вышел из своей мастерской и нос к носу столкнулся с «тремья».

Я уже говорил о том, что Раздаев никогда не видел их лиц, то есть лица-то у них, у всех были, но он их не запоминал, как и то, в чём они были одеты. Однако чувства, которые они вызывали, были отчетливы, запоминались, наверное, потому что Раздаева всегда охватывал страх. Но в этот раз того

животного, леденящего страха он не испытал, словно встретил давнишних, правда, назойливых знакомых.

Высокий из троицы сочувственно спросил его: «Ищешь?»

Раздаев зло буркнул: «Не твоё соплячье дело, что ищущ...

Семён мог бы поклясться, что этот высокий никто иной, как Званцов. «Стукач херов», - сказал Раздаев и, как ему показало, отодвинул Званцова с дороги.

«Как, какое дело? - переспросил Званцов. - Я видел, как ты у сходней, в реку опустил бутылку, чтобы жена не нашла».

И тут Семёна ожгла мысль: «Ведь точно! Да и не одну, а пару!»

Раздаев бросился к лестнице, ведущей к реке. Она оканчивалась площадкой для полоскания, которую смастерил Семен ещё лет пять тому назад. В минуту сбегал вниз и сунул руку под настил, куда он (теперь уже точно вспомнил!) положил две бутылки с водкой, но там было пусто. Он всерьёз принялся отрывать доску, а потом, как был в одежде, спрыгнул в воду, поскольку понял, что бутылки должны находиться в воде чуток ниже мостков, а не там, где ищет. Он стоял по колено в холодной, осенней воде и шарил руками по дну, почти засунув голову под настил. Но и там ничего не было.

Он выпрямился. На сходнях стояли «трое» и длинный голосом Званцова сказал: «Ты не к берегу, а от берега ищи. Ты же их не под доски положил, а бросил, так что они на метр, не меньше, от берега на дне лежат. Да еще учти, дно покато...».

Речушка, на берегу которой построил свой дом Раздаев, была не широка, не больше пяти метров по поверхности воды, но посредине глубина достигала двух с половиной метров, и Раздаев стал искать бутылки, удаляясь от берега. Забрел по грудь, ноги стали соскальзывать по дну к середине реки.

«Трое» с мостков наблюдали за ним, пока истошный крик жены не вспугнул Раздаева. Он обернулся на крик и увидел на

мостках жену.

- Ты охерел совсем, что ли? Утонешь же, пьянь сраная!

Утром Семен заболел, первый раз на своей памяти. У него оказалась острейшая простуда. Участковая врачиха сказала, что есть подозрение на воспаление легких, но больше всего Раздаева мучила не простуда, а острейшее желание выпить.

Он просил у Валентины опохмелиться, но та завернула большой палец в фигу: «Вот те опохмелиться!».

Мучения Раздаева продолжались бесконечно долгих два дня, потом, то ли болезнь, действительно перешедшая в воспаление легких, заглушила это желание, то ли прошел похмельный синдром, только жажда выпить во что бы то ни стало отпустила Семена. Проболел он целый месяц.

Прошла зима и Семен не притрагивался к водке. Ему даже показалось, что от этой пагубной привычки избавился окончательно. Весной и летом он, что называется, в упор занимался хозяйством и посмеивался над собой, вспоминая, как искал водку в речке. Валентине это воспоминание вовсе не казалось смешным.

Теперь, возвращаясь в работы, он обходил стороной берёзу с раздвоенным у земли корнем и что-то нехорошее, недоброе на мгновение охватывало его, когда он бросал туда взгляд.

Тогда Раздаев ускорял шаг, а иногда пробегал это место. К осени Семён окончательно уверовал, что с ним теперь будет все в порядке.

Однажды к ноябрьским праздникам купил бутылок десять хорошего вина, кажется, «Мадеры» или «Хереса», и две бутылки «Столичной». Желая сделать жене сюрприз, спрятал всё в своей мастерской.

За неделю до праздника, что-то мастера, он решил попробовать действительно ли он прежний Раздаев, который хочет выпьет, а не хочет и не станет. Семен открыл бутылку вина,

плеснул в стакан граммов сто пятьдесят. Вино показалось чуть-чуть сброженным соком. Остальное допил в два приема и стал прислушиваться к себе: «Как оно? - а потом с удовольствием хмыкнул. - Ни в жопе, ни в голове! Вот если б водки бутылку засосать, тогда можно было б определить, тот я или не тот?».

Он решил, что завтра попробует провести этот эксперимент и пошел в дом. Валентина возилась в курятнике. Семен прошел в горницу и стал переодеваться в домашнее. Взгляд его наткнулся на топор, он подумал: «Сколько раз говорил Валентине, чтобы топор не брала, опять кости рубила на кухне?»

В это время стукнула входная дверь и Раздаев уже вознамерился прочитать жене проповедь, но поглядел в сторону входной двери и похолодел... В комнату вошли «трое».

Раздаев с диким рёвом схватил топор и кинулся на них: «Зашибу, гады!»

Очнулся ночью под корнями березы и в первые минуты ничего не мог понять. Было гадко на душе и страшно от какого-то нехорошего предчувствия. Рядом с ним лежал топор.

«Зачем топор? Почему топор?» - подумал Раздаев. От топора тянуло замогильным холодом. Семён побежал к дому. Дверь в дом была открыта настежь, а в прихожей был настоящий разгром. Особенно потряс его косяк, расколотый ударом топора. Жены не было. Он запаниковал: «Убил Вальку!».

Осмотрел веранду, крыльцо - крови не было. Постепенно возвращалась память, и он стал припоминать, как гнал «троих» до самой березы и как все, «трое» шмыгнули под корневую развилку, враз превратившись в мышей.

Раздаев закрыл дверь, сел в кресло с намерением просидеть так до утра, но уснул. Утром его разбудил звук голосов: пришла жена с подружкой и с мужем подружки. Семен сквозь прищур глаз смотрел на них. Они с опаской вошли в комнату.

- Да спит он, - сказала Дина, подружка жены.

- Проспался поди, - сказал Динин муж. И громко сказал:
- Семен, а Семен!

Дальше притворяться, не имело смысла. Раздаев открыл глаза.

- Ты хоть знаешь, что вчера меня чуть не зарубил? - спросила Валентина.

- Догадываюсь, - осевшим голосом ответил Раздаев.

- Ты того, Семен, - начал говорит Динин муж, - это ведь не дело, всяко бывает и это болезнь, как любая другая, так что, сам не маленький и понимать должен.

Словом, на следующий день Раздаев поехал в Парфёново, прихватив с собой, для «смазки», пару сотен рублей. Жена пообещала уладить все его дела на работе.

Раз пять какая-то безумно мощная сила, поворачивала его обратно, а в памяти вставляли все ближайšie значные места. Деньги прожигали карман и только страх перед тем, что он чуть не зарубил жену, удерживал его в последнюю минуту. Во рту сохло и пот, несмотря на осеннюю прохладу, заливал глаза.

- Ну, хоть пиво! Пиво то можно?! - вопила одна часть сознания, а другая при этом цепенела от страха.

Вот так Семён Раздаев оказался в кабинете главврача наркологического диспансера Аксенова Семена Петровича, во второй раз сбежав от «троих», что настигли его в электричке.

* * *

- Всё, - будничным голосом сказал наш попутчик. - Такая вот история с самогоном.

- Ну и что, - спросил его Анатолий, поскольку алардинский шахтер уже давно спал, - он вылечился?

- Не знаю, - ответил мужчина с полки.

- Ну, это какой-то неоконченный рассказ получается. Вернулся и что? - допытывался Анатолий.

- Вы хотите знать, запил он снова или нет?

- Конечно. Иначе какой смысл в рассказе? Нет никакой окончательности.

- Так вы считаете, что этому рассказу не хватает конца? - спросил мужчина.

- Конечно! Непременно нужен конец, - и в голосе Анатолия прозвучала уверенность в том, что любой рассказ должен быть окончен.

- А какой же конец, вы считаете, должен быть? - снова спросил его мужчина с полки.

- Ну, не знаю. Вы же написали, Вам и виднее.

- А вы как считаете, он бросил пить или пьет?

- Бросил? - Анатолий хохотнул. - Как же при этой жизни бросишь! - Подумал и добави. - У нас как? Не умеешь - научат, не хочешь - заставят.

Мужчина, с полки ничего не ответил, замолчал. Прошло минут пять, пока не раздалось посапывание Анатолия, видимо, своим последним словом он подвел черту под рассказом. Я поднялся на свое спальное место, напротив полки автора рассказа о Раздаеве.

- А вы что скажете по поводу моего рассказа? - спросил он, выключая на своем спальном месте свет.

- Я думаю, у этого рассказа не может быть конца до тех пор, покуда жив этот герой. Ведь вы же о себе написали. «Трое» будут приходить к вам всегда, как только вы выпьете.

- Это же самое мне сказал врач, - согласился мужчина и отвернулся к перегородке купе.

Утром, когда я проснулся, рассказчика уже не было. Мои попутчики допивали бутылку домашней заготовки и, увидев, что я проснулся, шахтёр, смеясь, сказал:

- Присаживайтесь и пусть нам встретятся «трое», - он лихо опрокинул стопку. Русскому человеку нравится дергать чёр-

та за хвост. Но куда чаще чёрт «дёргает» русского мужика то за язык, то за ногу, то за руку.

1998 -2003 годы.

КОВЧЕГ

Взвывла сирена. Бровин бросил карты на стол, крикнул Культе:

- Ничья! - схватил брезентовую спецовку и выбежал из кубрика.

Бровин был «выходным», но это не освобождало его от участия в устранении аварии. Каждый взрослый на одну вахту в месяц освобождался от обязанностей исполнять свою судовую роль - это был его «выходной день», не регламентированный жестко инструкцией. Только АВАРИЯ или АТАКА могла внести свои коррективы в свободное времяпровождение «выходного», да и какие выходные могут быть в это время, когда решается вопрос «выживаемости отсека»!

Культя любовно собрал карты, подровнял кромки и аккуратно сложил их в картонную коробочку.

- Ничья, ничья, - бормотал он раздраженно. - Какая же тут ничья, если у меня на руках козырный туз и дама были?

Культя по инвалидности, у него не было правой ноги, не участвовал в аварийных работах. Устранение последствий АВАРИЙ и АТАК обычное дело, к которому привыкают с рождения, на то и была обычная реакция обитателей отсеков.

Дети, как обычно, носились по палубе и по тревоге вот-вот должны появиться в кубрике. Помимо уборки семейного кубрика на Культю возлагалась обязанность воспитывать детей и он не тяготился этим. Культя любил их и они платили ему взаимностью.

Когда-то Культю звали Иваном Емельяновичем, но это было так давно, что он прочно забыл свое имя-отчество и

откликался только на прозвище. В его кубрике жили двенадцать взрослых и шестеро детей. Это была его семья, третья по счету. О той, где когда-то родился Иван Емельянович, остались смутные, как сны, воспоминания.

Пять поколений родились и сошли в мир иной на этом судне со времени ВЫХОДА В ОКЕАН, но о том уже и память истерлась, ушла в предание, а само предание представлялась сказкой. Да и сам океан для обитателей седьмой палубы, где жил Культия, давно стал такой же абстракцией, как космос, бог, солнце, луна, небо, трава и деревья.

Когда-то предки обитателей седьмой палубы рассуждали о прошлом и говорили: то было до потопа, «допотопные времена». Нынче говорят: «Это было до выхода в Океан».

Всё - «до выхода в Океан», остальное складывалось из инструкции да из сообщений по судовому радио, предназначенных для обитателей именно этой, седьмой, палубы.

Поговаривали, что для обитателей других палуб имелись особые инструкции и особая информация. Однако такие разговоры считались непатриотичными, зловредными, отвлекающими людей от исполнения их судовой роли.

Так прошлое ушло в сказки и причудливым образом преломилось в этих сказках, а настоящим, повседневным и подчиняющим всю их жизнь стала БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Этот принцип был незыблем из поколения в поколение и уже для родителей Культи он стал смыслом жизни.

По-иному было нельзя и все это знали. Завывание сирены и последствия АТАК убедительно доказывали важность этого принципа. Самопожертвование во имя ВЫЖИВАНИЯ, вошло в плоть и кровь обитателей седьмой палубы, стало инстинктом.

Об этом же ежеутренне говорило палубное радио, об этом напоминала инструкция судовой роли. Этому обучались дети на примере своих родителей и перенимали от них, по наслед-

ству, судовые роли...

Сталь переборок и сталь палуб отделяли их от внешнего мира. Здесь, внутри отсека, была их доподлинная, настоящая жизнь от рождения до скорой смерти, потому что люди на седьмой палубе очень редко доживали до сорока лет.

Приточная и вытяжная вентиляция заменила им дуновение ветра, а ежедневное десятиминутное пребывания под кварцевыми лампами - солнечный свет.

Утром, перед первой вахтой, и вечером, перед второй, палубное радио, проиграв патриотический марш, объясняло, как важно следовать долгу, который изложен в судовой роли.

Впрочем, и без этого, жители отсека, да и всей седьмой палубы, так же как и других отсеков и палуб, понимали, что выжить они могли только в том случае, если свято исполняют свою судовую роль, свой патриотический долг.

* * *

В кубрик прибежали встревоженные, возбужденные дети. Культя, как мог, успокоил их, потом увел в детское отделение кубрика.

- Сидеть и не хныкать! - строго сказал Культя и добавил. - За старшую оставляю Розу. Понятно?

Дети расселись по диванчикам и согласно закивали головами, объяснять им важность происходящего не было нужды. Оставалось ждать включения автоматической подачи пайков, что было радостным мероприятием, так как ощущение голода было обычным делом и думы о еде занимали большую часть мыслительного процесса не только детей, но и взрослых.

Каждому согласно возрасту и роду работы полагалась пайка со своим индексом. Детям с буквой «Д» и указанием их лет. Взрослым с буквой «В» и номером судовой роли.

Культя получал пайку с буквой «И», самую маленькую и

самую безвкусную. Дети, как и Культя, помимо еды ждали результатов устранения АВАРИИ. Когда происходят АВАРИИ или АТАКИ, то передвигаться по отсеку можно только тем, кому это положено по судовой роли.

Вечерами в детском отделении кубрика они садились в кружок возле ВСЕХНЕГО деда и тот начинал свою бесконечную и бесхитростную игру с ними.

- Хотите, дети, я расскажу вам сказку, которую мне рассказывали, когда я был таким же, как вы, маленьким? - спрашивал Культя, по обыкновению привалившись спиной к переборке.

- Хотим! Хотим, деда! Только волшебную, страшную! - отвечали дети.

- Ну тогда слушайте. Жила-была девочка, она носила красную шапочку, потому её называли - «Красная шапочка». Понесла она болты и гайки к своей бабушке в другой кубрик...

- Нет, нет! - кричали дети. - Ты неправильно рассказываешь! Рассказывай правильно!

Культя усмехался и начинал заново. Ему нравилось каждый раз переиначивать сказки, чтобы дети его поправляли. В этом заключалась новизна сказок, та самая «игра», которая придавала свежесть одним и тем же сказкам.

- Ну ладно, ладно. Понесла она корзиночку с пирожками. Вот идет она вдоль переборок и внезапно прорыв масляного трубопровода...

- Да не так, дед! - малышня начинала топтать ногами и стучать кулаками по переборке. - Ты нам сказку рассказывай, волшебную, а не такую...

- Ну, хорошо, хорошо! - успокаивал Культя детей. - Буду рассказывать правильно, - и он продолжал. - Навстречу ей серый волк...

Дремучий лес, серый волк, охотники - все это для детей было таинственно, как гномы, феи, колдуны и колдуньи. Они

придумывали для себя объяснение «пирожкам», которые не-сла «Красная шапочка» своей бабушке, и спорили между со-бой, что же это такое за «пирожки», которые нужно нести бабушке, да еще «через дремучий и темный лес».

- Пирожки, - объяснял им Культия, - это тубики с гермети-ческим клеем, поскольку у «бабушки», то есть старой женщи-ны, в соседней семье, произошел «прорыв» из-за того, что там появился «серый волк», то есть особого вида снаряд... А внучка... ну, это девочка, которая еще не стала взрослой, но уже имела ОБЯЗАННОСТИ.

Запутавшись окончательно в объяснениях, Культия разво-дил руками и говорил:

- Это же сказка, дети, в которой есть сказочные слова, а сказочные слова нельзя объяснить, иначе это уже не сказка. Понятно?

- Понятно, понятно, деда! - хотя вряд ли что понимали, но это также входило в правила игры в сказки.

Не было детских книг с картинками, которые могли бы им показать, что это такое. Конечно, были технические кни-ги, инструкции, но это уже для взрослых. Ими пользовались родители, когда начинали обучать СВОЕЙ судовой роли дос-тигших пятнадцатилетнего возраста «общих детей». Были учебники по письму, чтению, элементарной математике, ка-рандаши и тетради для обучения письму. Такие, как Культия, инвалиды не годные ни на что, обычно исполняли судовую роль УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Дети рисовали на учебной доске волка в виде чудовищного переплетения медных тру-бок, из которых струями бьет горячий пар. Или изображали его в виде снаряда с зубатой пастью, а на большее у них не хватало фантазии.

Детей рождалось много, но смертность была такая, что поддержание численности экипажа седьмой палубы, а точ-

нее, их отсека, было одной из важнейших задач, второй по важности после **БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ**. Детные матери получали дополнительное питание и общественный статус их зависел от количества рожденных детей.

Культя оставил малышня на попечение Розы и вышел в общий отсек кубрика.

Вахты на палубе длилось по двенадцати часов. Первая с восьми до двадцати, вторая с двадцати до восьми утра.

Утро - это когда в переходах отсека загорались лампы дневного света, а ночь, когда отсек освещался тусклым светом «ночного освещения».

Поскольку электрические часы показывали девятнадцать часов и пятнадцать минут, следовательно, заканчивалась первая вахта 134 суток, 214 года со **ДНЯ ВЫХОДА В ОКЕАН**. Через сорок пять минут должны появиться все обитатели кубрика: Моня, Зануда, Сявка, Милашка, Толок, Красотка, Рохля, Катерина, Анфиска и Марта. В каждом кубрике, площадью в сто пятьдесят квадратных метров, жила одна **ОБЩАЯ** семья. В каждом секторе было по десять кубриков, а каждый сектор отделялся от других водонепроницаемыми переборками, которые постоянно были **ЗАДРАЕНЫ**. Люки этих переборок открывались автоматически в **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ** случаях. Таким образом, в этом отсеке жило около двухсот человек, включая детей.

В каждом секторе на сотни метров тянулись помещения, забитые чавкающими и пыхтящими машинами, - это были рабочие места для обитателей секторов. Назначения этих машин было неизвестно, да и неважно для тех, кто стоял у них. Технологическими лифтами к этим машинам доставлялись какие-то ингредиенты, вахтенные засыпали их в бункера, регулировали параметры температур и давлений, словом, каждый исполнял **СВОЮ** судовую роль.

Об истинных размерах судна никто не имел представления. Даже такой старожил, как Культя (ему было уже под сорок лет!), не мог бы точно сказать, каковы размеры палубы, а ведь он потерял ногу во время ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА, когда БОРЬБУ ЗА ВЫЖИВАНИЕ вели шестнадцать секторов! Тогда погибло более половины обитателей его седьмой палубы! Так говорили по радио. Ходили слухи, что пострадали обитатели шестой и даже пятой палуб!

Раз в год, участникам ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА выдавали по банке удивительного напитка, называемого компот. Правда, на литровых банках не было наклейки и обитатели седьмой палубы терялись в догадках, из каких ингредиентов изготавливался этот напиток. В такие, торжественные дни Культя вешал на свою тельняшку БОЛЬШУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ МЕДАЛЬ, а дети с замиранием сердца смотрели, как он вытаскивал свой складной ножик и ногтем извлекал из него серповидное лезвие. Делал он это не спеша, сохраняя достоинство и выдержку. Вся семья собиралась за обеденным столом, но не притрагивалась к праздничной пайке. Упакованное в фольгу порционное синтетическое кушанье сулило им также сюрприз и они догадывались о нем.

В такие дни всем полагалось по двести граммов водки. И вот, когда Культя вскрывал банку компота, а в это время по динамику начинали играть марш ПОБЕДЫ, все обитатели кубрика, также вскрывали свои пайки. Культя брал в руку маленькую ложечку, а дети выстраивались перед ним согласно своему возрасту. Первыми стояли самые младшие. Культя, дождавшись, когда стихнут последние аккорды победной музыки, торжественно опускал ложку в банку с компотом, а ребенок открывал рот. Культя совал ложку в рот и там переворачивал её, чтобы компот попал точно на язык, и ребенок ощутил в полной мере вкус этого напитка. Ощутил и запомнил до

следующего праздника, если доживет.

После этой процедуры Культя вскрывал свою пайку и вливал в банку с оставшимся компотом водку. И только после этого он вопросительно смотрел на остальных обитателей кубрика. Обычно изъявляли желание вступить с ним в пай женщины. Они протягивали Культе свои порции водки и если желающих было много, а водки больше, чем могла вместить банка из-под компота, то брали более емкую посуду. Тогда Культя переливал компот в неё, а потом брал порцию пайщика и вливал в банку с компотом, тщательно ополаскивал и только после этого переливал в общую емкость. И так порция за порцией. Пайщики заморожено следили за этими манипуляциями.

Двести граммов есть двести граммов и Культя наливал каждому пайщику его дозу, уже разведенную сказочным компотом. Остальное он выпивал сам. Потом пели песни, занимались сексом, и спали, так как распорядок вахт был неумолим.

* * *

Бровин вернулся через полчаса. От него дурно пахло. Он снял у порога Спецовку и сунул её в автомат стирки, а сам голый прошел в душевую.

Сегодня Культя играл с Бровиным на его пайку, но внезапная тревога все испортила: «А ведь мог выиграть! Мог!» – всерьёз подумал Культя, прислушиваясь к шуму воды в душевой.

Утреннюю пайку он вчера проиграл и хотел расквитаться с Бровиным - не получилось.

В животе у Культи посасывало, булькала вода, которую он все дул и дул, стараясь заглушить голод. «Не нужно было мне эту воду пить! Знал же, еще хуже будет!» - пробурчал Культя. Он не заметил, что Бровин вышел из душевой. Культя последнее время стал мыслить вслух. Вот и сейчас сказал, что подумалось.

Бровин услышал и как всегда ехидно и жестко проком-

ментировал: «Знаешь, дед, я бы вообще тебе выдавал пайку один раз в сутки. Зачем тебе есть? Ты не работаешь, аварии тебя не касаются. Беспольный ты человек, балласт!»

Культя даже задохнулся от гнева: «Ты, ты, да ежели бы не мы, то где бы ты был?»

Бровин грубо ответил: «Где? в пи...де! Вот где! Разве не рожденный плачет и скорбит о том, что его не родили? Ну, не было бы меня и дело с концом! Меня бы не было, не было бы этих пацанов, что? Выли бы мы к тебе из небытия: «Спаси нас и защити!?» Может быть, куда лучше, если бы тогда все ко дну пошли!

- Ты, ты! - продолжал одышливо Культя. - Где таких слов поднабрался, а? Где ты, гаденыш, их вычитал? В инструкциях таких слов нет! Вот погоди, подойдет время ЧИСТОСЕРДЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ и припекут тебя! Сказывают, под нами есть еще одна палуба для таких умников, как ты.

- Грозишь донести? - усмехнулся Бровин. - Так я не боюсь.

Было ли это пустая бравада или на самом деле Бровин не боялся, Культя не мог знать, от такого всего можно ждать и потому счел за благо проглотить обиду.

Время ЧИСТОСЕРДЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ приходило один раз в год, когда каждый обитатель отсека обязан был сообщать в специальном кубрике в микрофон всё, что он думает о существующих порядках и о поведении членов своей семьи. Это была обычная формальность почти никогда не влекаящая каких-либо последствий. Однако ходили слухи, что бывали случаи, что кое-кого ОПУСКАЛИ на восьмую палубу.

Чем бы окончилась очередная стычка Бровина и Культи, не известно, известно было другое, да и то неточно, что будто бы Бровин был сыном Культи и такое «родство» бесило Бровина. Почему? В этом он и сам не мог разобраться.

Бровин родился за три года до ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА,

когда самому Культе было семнадцать лет и жил он в другом кубрике, в другой семье, от которой в живых никого не осталось, кроме него да, возможно, Бровина. **ВЕЛИКИЙ ПРОРЫВ** нанес огромный человеческий урон и всё перепутал. Долгие годы семейные кубрики стояли пустыми, пока не народилось новое поколение.

А молва считала Бровина сыном Культы только потому, что Бровин сильно походил на него.

Бровину, как уже сказано, такое «родство» страшно не нравилось, да и не могло этого быть по законам судовой жизни, чтобы взрослые дети были в одной семье со своими родителями! Шестая палуба, командная палуба для седьмой, строго и неукоснительно следила за **ЧИСТОТОЙ ПРАВОВ**. Все девочки, достигшие пятнадцатилетнего возраста, переводились в другой отсек, а мальчики в другую семью.

В самый разгар перепалки в кубрик вошел Сявка:

- Блядь, опять трубопровод с фекалиями прорвало! Нет более вонючей работы, чем его чинить.

- Ты и близко к нему не подошел, - сказал Бровин.

- Так меня ж скрутило. Вот как есть напополам и скрутило! - всем было известно, что Сявка не прочь был увильнуть от аварийных работ и потому его оправданиям, что «скрутило» не очень-то верили, но Сявке многое прощали за то, что он играл на губной гармошке, единственном музыкальном инструменте, который был распространен в этом отсеке. Его даже звали в другие семьи поиграть, что не очень-то поощрялось инструкцией о **МОРАЛИ**.

Вошел Моня, он слышал сигнал тревоги, но стоял на вахте, а в устранении аварий и последствий **АТАК** участвовали люди, от вахт свободные, «дежурные» люди и «выходные». Он деловито спросил:

- **АТАКА** или так, **АВАРИЯ**?

- Так кто ж его знает! - всердцах ответил Сявка. - Вот придет Анфиска, у неё и спросим. Легкая на помине Анфиса буквально влетела в кубрик и истошно заорала:

- Бровин и Сявка, немедленно в антирадиационный бокс! - это уже было более чем серьёзно!

- Давно... - начал было Культия, но Анфиска на него прикрикнула: - А ты, дед, заткни пасть!

Ей помимо всего было от чего злиться. Анфиса была «старшой» в их семье. Так уж повелось, что Бровин большую часть свободного времени проводил с ней, хотя Анфиса и не рожала. Однако никто не смел открыто выражать свое недовольство таким эгоизмом Анфисы, разве что Милашка.

В каждом кубрике был антирадиационный бокс, своего рода изолятор, при случае – лазарет, и Анфиса по судовой роли исполняла ряд обязанностей, связанных, в том числе, с медициной: санитарка, врач, акушерка. На неё возлагался также радиационный и санитарный контроль. Её судовая роль была помечена индексом «U», что давало ей право самолично звонить по секторному телефону на шестую палубу. По судовой роли она докладывала об изменении радиационной обстановки в их секторе, о случившихся ЧП, например о таком, как нынешнее. Четверо человек с этим индексом на весь сектор и один из них был в семье Культи! Этим стоило гордиться! И Культия этим гордился.

Бровина и Сявку Анфиска закрыла в боксе. Они не возражали, поскольку следовали своему долгу. На их месте любой поступил бы так же.

Вскоре в общей столовой собрались все члены семьи. Настроение было подавленным из-за случившегося. В четко обусловленное время, в 20.30, автомат подачи пищи судорожно задергался и выплюнул на доставочный столик пайки. Дети тут же разобрали свои и их заперли в детской. Никому в

голову не пришла мысль, что видят они их в последний раз.

Рохля вопросительно посмотрел на Анфиску.

- Диверсия. - сказала она. - Очередная АТАКА. Прошло не только фекальную систему, но убило в пятом кубрике Семена.

- Падлы! - выкрикнул Зануда. - Ведь напридумывают же!

- Кто напридумает? - переспросил Культя.

- Ну, ну... - нерешительно начал было отвечать Зануда, но его оборвала Анфиска:

- Ты жри. Ишь, рассуждальщик какой!

- Действительно, - поддержал её Толлок, - на кого здесь обижаться, если природа такова? - Толлок был вторым на очереди спать со СТАРШОЙ после Бровина и потому при удобном случае вставал на её сторону. - Вот и по радио говорят, - продолжал Толлок, - что мы боремся не с чем-то таким, человеческим, что ли, а с природой, которая по отношению к человеку извечно злонамеренна!

Милашка - девка семнадцати лет, мать двоих пацанов, вклинилась в общий разговор:

- А почему, ты, Анфиска, всем рот затыкаешь? Я вот тоже думаю, что это все напридумывают. Когда я девчонкой была и жила в другом отсеке, так у нас тоже «прошивало». Помню «прошло» весь сектор и ушло в другой, но после этого не было никакой радиации, а сейчас, который уже год, как «прошьет», так и начинается радиация? Может, это отсек такой, проклятой?

Двое пацанов Милашки уравнивали её с бездетной Анфисой, что вызывало вспышки взаимной неприязни, к тому же Милашка пришла в их семью из «чужого» сектора и часто вспоминала, «что у них не так».

- Дура ты, Милашка, и ничего ты не смыслишь, кроме как ноги выше головы задирать, - гневно сказала Анфиска. - Кстати сказать, не ори так, когда сексом занимаешься, ведь ты не одна в кубрике, тут ведь еще дети спят.

- А я не могу не орать. И чего это мне не орать, ежели от души идёт? А дети в детской спят и не слышат.

- Тебя слышно в соседнем кубрике, - буркнул Культя.

- Нет, вы мне все-таки скажите, отчего это нынче «прошивает» и с радиацией? - спросил ободренный поддержкой Милашки Зануда.

- Скажу, если у тебя мозгов хватит понять... Ты слышал что-нибудь об эволюции?

- Ну, - мрачно ответил Зануда, напрягая все свои мозговые извилины, чтобы вспомнить. Это-то он мог вспомнить, потому что судовое радио объясняло, и неоднократно, причину радиационных АТАК «эволюцией природы».

- Это изменение какое-то, - сконфужено отозвался Зануда, боясь попасть впросак и вызвать насмешку своей неосведомленностью в таком важном деле.

- Не какое-то, а ЗЛОНАМЕРЕННОЕ! Природа, чтобы уничтожить человека, постоянно меняет формы АТАКИ на него. Так что не «падлы напридумывают», а одна единственная «падла» - природа! Вот она и наделила «снаряд», ранее не оставлявший при соприкосновении с металлом палубы радиации, способностью её оставлять. Кстати сказать, Бровин получил этак, навскидку, рентген четыреста, а Сявка рентген двести.

- Это ни хрена себе, - сказала Милашка.

Марта пискнула:

- Женилка у Сявки и так стоит на полшестого, теперь и вовсе отвалится.

- Выжил бы, а я ему пластмассовую выстругаю, - сказал Культя. - Ногу мне пластмассовую выстругали, следовательно, женилку можно из пластмассы смастерить.

- Вот ты эту «женилку» себе в зад и засунь, дед, - посоветовала Катерина.

Но смеха не было, хотя шутка была удачной. Культя не

без умысла сказал так, подставляя себя под неизбежную насмешку. «Молодые, глупые», - думал Культя и жалел их. Разговор не складывался. Из-за АТАКИ срывалась ночная смена, а это было непривычно и те, кто должен был заступать на вахту, не знали, куда себя девать. Так продолжалось минут десять, пока не допили горячий бульон, присланный в общем пакете на всю семью. Потом Анфиска унесла обед в бокс Бровину и Сявке. Пора было ложиться спать.

Красотка, встав из-за стола, чувственно потянулась и сказала:

- Спать надо, а спать не с кем. Бровин хоть и груб да мужик. Пойдем что ли, Толок! Одна радость в жизни есть и на ту напасть.

Детей по случаю радиационной опасности заперли в детском отделении кубрика сразу же, как только они покушали.

Культя остался с ними и на несколько минут включил в отделении кварцевую лампу, приказав всем лечь лицом к полу и снять рубашки. Можно было и не говорить об этом, процедура была известной, но Культя полагал, что с детьми нужно разговаривать, даже повторяя очевидное. Пять девочек и три мальчика разных возрастов, улеглись на синтетическом ковре.

Они любили эту процедуру. Детям полагалась двойная порция ультрафиолета и автоматика сама отключала кварцевую лампу, когда истекало положенное время. Культя присел в уголке и задремал.

- Теперь долго диверсий в нашем секторе не будет, - сказал Толок, примаживаясь к Красотке в её шконке, отделенной от остальных фанерной задвижкой. «Шконки», или спальные места - род «пенала», были одинаковые, полтора метра на два и отделялись от общего помещения фанерной задвижкой.

- Почему не будет? - спросила Красотка, терпеливо дожидаясь, когда же Толок настроится. Толок и раньше-то не от-

личался мужскими достоинствами, а тут после АТАКИ у него и вовсе ничего не получалось.

- Да потому и не будет, что уже было, - сказал Толок, и не думая что-то делать с Красоткой.

- Нам и этого за год не расчухать, - ответила Красотка и раздраженно прошипела, - Ну ты, чего там?!

- Да ничего! Сама пробуй! - он выразительно глянул себе промеж ног.

- Тогда сама на тебя и залезу!

Красотке не впервой было забираться на мужика. Не только природная тяга к сексу была причиной настойчивости Красотки, помимо всего прочего, беременность женщины являлось её патриотическим долгом и поощрялась усиленным пайком, а также различными послаблениями по исполнению судовой роли.

У Красотки два месяца тому назад случился выкидыш и она очень переживала эту неудачную беременность и вела себя агрессивно по отношению к мужчинам, понуждая их не уклоняться от ДОЛГА.

Мужская половина семьи ничего с деторождения не имела и потому эта сторона семейной жизни имела определенную сложность, которую не принимали в расчет «высшие силы», регламентирующие всю жизнь на седьмой палубе.

Но это обычное препирательство прервал вой сирены. Что-то щелкнуло над Красоткой и Толоком, появилась дыра величиной с кулак. В эту дыру попер желтый дым. Толок спрыгнул со шконки, но тут же упал, хватанув полные легкие дыма.

Через секунду на него свалилась Красотка с перекосившимся в предсмертной агонии лицом.

Это была самая страшная из всех АТАК - газовая. Снаряд шел с шестой палубы наискось вглубь судна. Сирена продолжала выть. Культия слышал топот ног, мат, потом все стихло.

Через полчаса, когда дым стал пробиваться в детское отделе-

ние, включилась нагнетательная вентиляция и вытяжная. «Высшие силы» спохватились и приняли единственно верное, но запоздалое решение. Детишки сбились в кучу в дальнем углу, облепив Культию. Когда вентиляция включилась, Культия перекрестилась широким крестом: - Ну, дети, мы еще поживем.

* * *

Всю вахту Культия занимался тем, что вместе с Бровиным и Сявкой, которых он выпустил из бокса, упаковывали трупы членов своей семьи в пластиковые пакеты. Им помогали свободные от вахты из других кубриков. Бровин сильно потел и быстро слабел.

- Зря ты его выпустил, Культия, - сказал старший по отсеку Иосиф. - Он же «светится».

- Они ему не чужие, - буркнул Культия.

Дети так и оставались взаперти в своем отделении кубрика - этого требовала инструкция. Правда, старшая девочка Роза стучалась в дверь и просила, чтобы ей разрешили проситься с мамой Мартой. Не разрешили.

Бровина пришлось вернуть в бокс и уложить. Он слабо сопротивлялся. Пакеты с трупами, как положено, отправили в мусоропровод. Пришла санитарка из другого кубрика и обработала помещение моющим средством. Потом притащили переносный пылесос и фен. Стали просушивать обивку диванов и напольных ковров. Синтетика не держала в себе воду и потому она быстро всасывалась пылесосом, а оставшаяся влага, была унесена вытяжной вентиляцией, которая все еще работала на полную мощность. Только после этого Культия выпустил детей. Теперь оставалось ждать распоряжений об изменении судовых ролей, оставшимся в живых, членам ЕГО семьи. Собственно говоря, если не считать шестерых детей, то остались только Бровин, Сявка, да Культия.

«Детей разберут по другим семьям», - размышлял Культя, поглаживая присмиривших ребят по головам. Так было всегда, а на его памяти - трижды. Трижды Культя менял семьи. Эта семья была везучей, почти пять лет никого из взрослых не теряла. - Вот и опять смерть обошла меня стороной. Зачем? Почему? - думал Культя. - Несправедливо это!»

Давно, лет двенадцать тому назад, когда Культя пришел в эту семью вместе с Бровиным, он частенько оставался в шконке Марты. Тогда Марте шел шестнадцатый год и она из жалости к одноному или по какой-то иной причине выделяла его из всех своих мужей. Бровин да Марта - вот и все, кто остался в живых от той семьи до этой АТАКИ.

Трёх детей родила Марта, двое умерли в малолетстве, осталась одна Роза. Его ли она была дочь или нет, о том точно никто не знал, дети были «семейные» и такое разбирательство считалось делом постыдным и недостойным. Культя любил всех.

Марта, когда родила Розу, шепнула Культе, что это его ребенок. Культя цыкнул на её свирепу, пресекая любую попытку установления отцовства, но сейчас...

«Вот и я пережил Марту, а ведь по всем божеским законам, должен бы умереть раньше её, - подумал Культя и поглядел на дочь Марты. Это она барабанила в дверь и просила, чтобы её пустили проститься с мамой Мартой. Роза уже вступала в брачный возраст. - Она всё равно бы ушла в соседний сектор, а может быть и дальше, - думал Культя, - хотя кто знает, куда на самом деле уходят повзрослевшие дети? Бровина, Сявку и меня переведут в другую семью, может быть, в соседнюю. Может быть, в ту, где погиб Семён. Вот только выживет ли Бровин? Сволочь он, конечно, хорошая, а ведь свой и жалко», - мысли текли сами собой, простые и незатейливые.

Хотелось есть, а до завтрака было еще более часа. «Хорошо бы, - думал Культя, - если бы выдали пайки на всю се-

мью», - стал вспоминать случаи из своей жизни, когда такое случалось.

- Бывало... - проговорил он вслух и ребятишки, которые облепили его, тут же переспросили:

- Что, дедушка, бывало?

- Да всякое бывало, - спохватился Культя. - Так что нос вешать не следует. Борьба и еще раз борьба, до полной окончательной Победы, а за ценой мы стоять не будем! Верно?

- Страшно, - сказал один малыш. - Мамы Каги не будет.

- Ну, ну, - Культя погладил его по голове, - другие будут. Без мам вас не оставят.

- Я не хочу других, - выкрикнул малыш и заплакал. Следом захныкала девочка его возраста и у других на глазах появились слезы.

- Чему нас учит инструкция? А ну, кто скажет мне? - бодрым голосом произнес Культя, хотя самому хотелось заплакать. «Стар стал, - подумал Культя, - нервы сдают, жалость какая-то дурацкая появилась».

Обычно дети любили эту игру в вопросы и ответы, но сегодня они только хныкали, а старшие кривили губы, сдерживая свои чувства.

- Инструкция учит нас, - бодрым тоном продолжал Культя, давая в себе непрошенные слезы, - учит нас мужеству и самопожертвованию. Все ваши папы и мамы исполнили свой долг с честью. Исполнить свой долг с честью и есть смысл нашей жизни. Для этого мы родились. Когда-нибудь, лет через сто-двести мы одолеем эту злонамеренную природу и тогда все у нас будет тип-топ! Я же вам рассказывал, что на верхних палубах, где также живут люди, но не такие как мы, а особенные, могущественные, красивые и очень добрые. Они обладают, в отличие от нас, рядом ценнейших качеств. Они о нас постоянно думают, заботятся, они...

Но Культю, прервала Роза:

- Каких качеств, дедушка?

- Каких? - Культя задумался. Вопрос застал его врасплох, хотя раньше, у него, что называется, от зубов отскакивало СКАЗАНИЕ О ЛЮДЯХ-БОГАХ, ЧТО ОБИТАЮТ НА ВЕРХНИХ ПАЛУБАХ. Но сейчас, глядя в глаза этой девочки, он растерялся.

Во время ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА к ним, на седьмую палубу, спускался человек с шестой палубы и тогда Культя не увидел в нем особых отличий от себя. Правда, этот человек очень грамотно распоряжался работами. Он слышал, что ТОТ человек сказал, что вырвало более шести квадратных метров борта ниже ватерлинии. Об этом случайно услышал Культя, когда ТОТ говорил с кем-то по телефону, но что такое «ватерлиния», что такое «борт» - этого Культя не знал.

Рвало переборки водой и вода затопляла отсеки, взрывалась от соприкосновения с расплавленным металлом технологических установок. С водой они и боролись, восстанавливая герметичность ПЕРЕБОРОК. То же самое, было и в других секторах, подвергнувшихся АТАКЕ. Тогда Культю включили в бригаду смертников и бросили в четвертый отсек. Выжил он один из двадцати.

Нет, тогда он не заметил особой разницы между собой и ЧЕЛОВЕКОМ С ШЕСТОЙ ПАЛУБЫ, возглавившем эту бригаду. Он тоже погиб. Но ведь это был человек только с шестой палубы!

Культя знал один случай, когда девушку - это точно! - взяли на шестую палубу! Все это, конечно, выходило за пределы всяческого разумения, но было же! Он точно видел, как её подвели к лифту, она вошла и её подняли на шестую палубу.

Это Культя определил по времени работы лифта, ведь он в молодости как раз обслуживал все технологические лифты

и этот, единственный в их секторе пассажирский. Она ВОЗ-НЕСЛАСЬ! А ему говорят - это сказки про «ВОЗНЕСЕНИЕ», что такого не бывает, что людей только ОПУСКАЮТ.

За всю свою жизнь он дважды видел в работе пассажирский лифт в их отсеке. Во время ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА, когда он спустил к ним ЧЕЛОВЕКА С ШЕСТОЙ ПАЛУБЫ и до этого, когда лифт пришел за девушкой.

Однако то, что на верхних палубах обитают люди особенные, не похожие на тех, кто живет здесь, - Культия был уверен. Впрочем, к ним вовсе неприменимо слово люди, ведь их даже в инструкциях называют - ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА...

Он силен вспомнить что-то слышанное им про «Табель о рангах». Говорят, была такая брошюра. Брошюрка, по всему видно, мерзопакостная, подрывная, коли её уничтожили, невесть как попавшая на их палубу. Предполагалось, что это была какая-то изощренная форма диверсии. Разумеется, её он не читал, а ныне даже сомневается, что такая брошюрка была, скорее всего, старик Гвоздь её выдумал, как он выдумывает сказки для детей, но вдруг?

Вот запомнилось же ему слово - КАПИТАН, который ведет в океане их судно. Конечно, по здравому разумению, нет никакого судна, а есть палубы, Да и что такое Океан? Всё это сказки, легенды, мифы. Есть судно, твердь, погруженная в воду, и есть - природа, злейший враг человека, вот и всё! Всё!

Из трудного положения, в которое его поставил вопрос девочки, спас автомат подачи пищи. Он опять захрюкал и выплюнул на приемный стол все восемнадцать пайков! В том числе два, помеченных радиационным знаком, то есть для лежащих в боксе Сявки и Бровина.

«Как минимум до завтрашнего обеда никаких распоряжений не будет», - подумал Культия, поскольку шла вторая вахта, а

во вторую вахту никогда распоряжений о перемене судовых ролей не бывает.

Пайки погибших Культя поделил быстро. Шесть пайков оставил про запас. Это был настоящий пир и вскоре осоловелые от обильной пищи дети уснули. Культя отнес кушать Бровину и Сявке и даже перекинулся с последним двумя-тремя словами:

- Ты, того, - сказал Культя Сявке, - Бровина покорми, а ежели мало, то постучи в дверь, там еще осталось. Да лекарства пей сам и Бровину давай. Бывали случаи, выживали...

- А я, Культя, выживать не хочу, - сказал Сявка. - Я устал жить. Не пойму, как ты еще не устал.

- Язык бы тебе оторвать за такие непатриотичные слова! - прикрикнул на Сявку Культя. - У тебя семья! О семье хотя бы должен думать?!

- Ты на меня, дед, не кричи, - тихо, умиротворенно сказал Сявка. - Лекарства я пить буду и Бровина не оставлю без внимания, но ведь семьи-то моей нет, зачем мне жить?

- Дурак ты, Сявка! Как был дураком, так и остался им! - крикнул Культя, переступая порог бокса и закрывая за собой дверь.

Он знал, что таких случаев, чтобы выжили, на самом деле не было. Седьмая палуба, их сектор, столкнулись с радиацией года три как. В их секторе за эти годы были пять АТАК с радиацией и все облучённые померли. Говорил Сявке, что положено говорить в таких случаях, а оттого, что знал - не выживут, обреченность в голосе Сявки его бесила.

Культю клонило в сон от переживаний и от обильной еды. Он и уснул рядом с детишками, свернувшись «калачиком» на диване.

Перед началом первой вахты, как обычно, по радио прозвучал гимн, а потом блок судовых новостей. Культя и дети

притихли и заворуженною слушали, как не слушали никогда.

- В третьем отсеке седьмой палубы произошла АТАКА, в результате чего имеются многочисленные жертвы, - диктор прокашлялся и продолжал. - Природа не желает сдавать своих позиций и мстит человеку. При отражении очередной АТАКИ героически погибли: Моня, индекс 5 «I» 346, Ваня, он же Зануда, индекс 5 «I» 349, Михаил, он же Толок, индекс 5 «I» 241, Маня, она же Милашка, индекс 5 «R» 149, Таня, она же Красотка, индекс 4 «R» 201, Николай, он же Рохля, индекс 6 «I», Катерина, индекс 4 «R» 205, Анфиса, индекс 9 «U» 302, Степан, индекс 6 «I», Марта, индекс 4 «R» 165. В борьбе со стихией облучились: Матвей, он же Бровин, индекс 5 «I» 341, Семен, он же Сявка, индекс 3 «I» 329. Вечная память погибшим, но до конца оставшимся верными своему долгу. Мы не забудем вас. Ваш подвиг послужит примером подрастающему поколению. Смерть природе! Мы не дрогнем и не отступим! - голос диктора приобрел жёсткость и в нем зазвучали металлические нотки. После краткого марша он продолжил:

- А теперь прослушайте распоряжение. Осиротевшие дети поступают в семьи в том же секторе Z/T-2а: Таня, индекс 0/T-12п в семью N8, Вера, индекс 0/T-3z, в семью N9, Нина, индекс 0/T2н, в семью N3, Сергей, индекс 0/M-3q, в семью N4, Алексей, индекс 0/M-8v, в семью N6, Степан, индекс 0/M-7д, в семью N7.

Культе хотелось закричать: «Вы меня и Розу забыли!» Но радио захрипело, словно кто-то прочищал себе горло. Похрипев, продолжило:

- По остальным членам семьи N1 сектора Z/T-2а слушайте сообщение в половине первой вахты.

Через пять минут в кубрик Культы стали приходиться женщины из других семей и забирать детишек. Они жались к Культе и не хотели уходить. Культя что-то бормотал им, едва

сдерживая подкатившийся к горлу ком. Он ругал себя последними словами, проклиная себя за мягкосердечность, за такую постыдную для взрослого слезливость и позорную привязанность к СВОИМ детям. Через час он остался в кубрике с самой старшей девочкой из их семьи - Розой.

- Дедушка, а почему меня никто не взял? - спросила она Кутью и посмотрела ему в глаза каким-то недетским, всё понимающим взглядом, в котором едва скрывалась мечущееся пламя отчаяния и страха. - Дедушка, а в других секторах живут такие же люди, как в нашем?

Кутья гладил её белокурую голову и приговаривал:

- О да! Может, даже лучше. Я был там, знаю. Ты уже взрослая и тебе нечего бояться. Через год получишь свою судовую роль, выучишь инструкцию и вперед! Ты же знаешь, что все взрослые девочки уходят в другие сектора, этого и инструкция требует.

Она недовольно дернула головой. Кутья сказал:

- Ты чего такая смешная а? Раз инструкция требует - значит правильно!

- Я понимаю, что правильно, но мне жалко всех наших. Эта проклятущая природа! У! Если бы она мне попала то я бы, я бы! - она даже затряслась от гнева.

- Вот и хорошо, что в тебе столько ненависти к этому извечному злу. С ненавистью к нему и жить легче, и умирать не страшно, - наставительно произнес Кутья обычную фразу, в которую сам всю жизнь верил, но сейчас она показалось ему неуместной, нарочито патриотичной.

- Я ведь тебя больше, дедушка, никогда, никогда не увижу, да? - дрогнувшим голосом спросила Роза, не обратив внимание на его слова.

Кутья промолчал. Роза о чем-то усиленно думала. Это он заметил по морщинкам на лбу. Она всегда морщила лоб, ког-

да о чем-то крепко задумывалась.

- Деда, ты для меня будешь, как будто умер, да? - она заглянула ему в глаза. - Как будто ты умер вместе с мамой Мартой? - Культя и так-то едва владел собой, а тут еще этот, пронизывающий душу взгляд.

- Деда, - каким-то, не по годам серьезным тоном сказала Роза, - а ты поплачь. Моя мама мне всегда говорила: «По-плачь и тебе легче будет». Давай, деда, мы вместе поплачем и нам вместе легче будет, а?

Культя только сильнее прижал к себе её хрупкое тело и еще чаще стал водить ладонью по голове. Он и так плакал, плакал молча, а чтобы Роза не увидела его слез, он прижал её голову к своей груди. Так они просидели вдвоем на диванчике до половины первой вахты. Время летело стремительно, словно камень с обрыва.

Автомат подачи на этот раз выплюнул четыре порции, две с радиационным знаком на упаковке, Бровину и Сявке, одну с индексом «Д» для Розы и ему с инвалидным индексом «И». На этот раз Культе, вечно голодному, совершенно не хотелось есть.

- Роза, мне что-то не хочется есть, возьми мою пайку.

- Что ты, деда! Мама всегда говорила: «Ешь, а то обесси-леешь!» - и подражая Культе серьезным тоном, сказала. - Это наш долг.

- Правильно говорила твоя мама, кушать - это обязан-ность, долг, но я сегодня сыт, Роза, - он решил схитрить. - К тому же таким старикам, как я, есть много вредно.

Она поглядела на Культю все тем же, враз повзрослевшим и всё понимающим взглядом, тот крикнул и нехотя принялся жевать пайку. Радио заиграла гимн.

- Ну вот, - сказал Культя, - сейчас и про нас, и про Брови-на с Сявкой что-нибудь скажут. Определят.

Культя встал с дивана и подошел поближе к динамику,

чтобы ненароком ничего не пропустить.

И действительно, сообщив, что «ЧП» на седьмой палубе в эту вахту не было, а последствия прежнего устранены, диктор начал зачитывать распоряжение: «Бровина и Сявку перевести в изолятор НЗ... - поперхнулся и неожиданно торжественным голосом сказал. - Кавалеру железной медали, герою ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА, Щипцу Ивану Емельяновичу надлежит... подлежит... да, надлежит через полчаса явиться к пассажирскому лифту для ВОЗНЕСЕНИЯ. Старшему по сектору выдать означенному гражданину парадную форму. Гм...» - на этом радио замолкло.

Культя вначале не понял, о ком идет речь. Его даже в праздник ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА никто не называл так, по фамилии и имени-отчеству. Он недоуменно поглядел на Розу. В это время радио снова включилось и диктор скороговоркой зачитал: «Розе, индекс 1/Д-1а, через полчаса подойти к люку А/5. Старшему по сектору проследить исполнение распоряжения».

И только тогда, когда Роза его дернула за рукав, Культя понял, что это ему велено прийти к пассажирскому лифту и это он и никто иной Щипец Иван Емельянович. Он был потрясен этим сообщением настолько, что перестал соображать.

Культя смотрел на Розу, видел её шевелящиеся губы, но не слышал её слов. Она что-то пыталась сказать, сделать и все время подтягивалась на руках, уцепившись ими за плечи Культи, вставая на цыпочки.

Он стал соображать только тогда, когда в кубрик открылась дверь и в дверях появился старший по сектору Иосиф. В руках он нес стопку отглаженной и отутюженной матроской формы. Все как полагается: черные брюки-клевш, черные ботинки, зюйдвестка, тельник и бескозырка. Иосиф распоряжением был потрясен не меньше, чем Культя.

- Во, того... - он положил на табурет форму и хотел было

взять за руку Розу, чтобы тут же и увести её, но она словно прилипла к Культе. Иосиф дернул её несколько раз за руку, сначала легонько, потом сильнее, чтобы оторвать от Культы, но та цепко держалась за него. Раньше бы он просто рывкнул на Розу или поддал ногой под зад Культе, чтобы тот не мешался, но после такого распоряжения, которого он не припомнит за все годы своей службы, не посмел. Он только обиженно спросил девочку: «Ты чего?» - и покосился на Культю.

Культя вначале испугался Иосифа, но увидел, что тот настроен миролюбиво, промямлил: «Это, того, я сам. Я сам, господин СТАРШОЙ».

Он еще не осознал, что его «ВОЗНОСЯТ».

И непонятно было, что «я сам»; то ли я сам переоденусь, то ли «я сам» отведу Розу, но Иосиф понял именно так, что сам ответит. Он хотел было сказать, что «не положено», но передумал, а вдруг теперь Культе «положено»? Мир палубы, его устои рушились на глазах и Иосифу было больно видеть это разрушение. Он что-то буркнул и вышел из кубрика.

Может быть, оттого, что у Культы ослабла здоровая нога и его перекосило на одну сторону, Роза дотянулась до его лица и стала целовать Культю в щеки, в лоб, в глаза. С такой отчаянной страстью и с такой безвинной чистотой его никто, никогда не целовал. Она всхлипывала и приговаривала: «Милый-премилый мой дедушка, как же я буду теперь без тебя? С кем теперь я буду? Я не хочу! Не хочу, чтобы ты умер для меня!»

Культя плакал, теперь уже не скрывая от Розы своих слез. Он срывал с себя старое, ветхое рубище и одевал новое с какой-то остервенелой злостью, без понятия на кого или на что злиться. Он привык беспрекословно исполнять распоряжения и исполнял.

Время поджимало. Через десять минут Культя был в новой форме. И тут он вспомнил, что не занес обед в радиацион-

ный бокс. Может быть, обед был только поводом увидеться и проститься с оставшимися в живых Бровиным и Сявкой? Он зашел в бокс. Сявка взглянул на него и не узнал. Попытался, было встать, чтобы отдать честь и только тогда, когда Культя произнес: «Вот видишь, значит, дело такое, ВОЗНОСЯТ меня», - Сявка изумленно вытаращился на него.

Культя, словно был перед ним в чем-то виноватый, сказал: «И сам не знаю за что? Вот так. Вы тут поправляйтесь, а Бровину скажи, что я на него зла не имею».

Сявка смотрел на него с раскрытым ртом. Он всегда считал досужей выдумкой разговоры о «ВОЗНЕСЕНИИ» и тогда, когда Культя говорил, что сам был свидетелем того, как «вознесена» была одна девушка на шестую палубу, Сявка считал, да и все считали это, стариковским трепом.

За десять минут до назначенного времени Культя вышел на палубу вдвоем с Розой. Культя повел её к люку А/5. Этот люк был в десяти метрах от пассажирского лифта. Все население сектора, свободное от вахты, вышло провожать их. Взгляд Культи то и дело натывался на их лица и почти на всех читалась растерянность и потрясение, словно это не Культя шел, а кто-то СПУСТИВШЕЙСЯ С ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ.

Они подошли к люку и Роза обняла Культю: «Дедушка, помни обо мне, - прошептала она, целуя Культю где-то за ухом. - А я тебя никогда, никогда не забуду!»

- Я тебя никогда не забуду, моя доченька, - так же шепотом ответил ей Культя, прижимая Розу к себе. - Ты меня жди, я приду за тобой, - прошептал Культя и сам поразился сказанной им глупости.

- Я знала, я знала! - закричала девчушка, повиснув на Культе. - Моя мама говорила мне - ты мой отец!

Громко, пронзительно выкрикнула девочка и было дико, странно услышать из уст её такое неприличное слово - отец!

Лицо Иосифа покрылась багровыми пятнами и рука инстинктивно потянулась к ременной плетке, чтобы согреть по спине похабницу. Мир седьмой палубы и на самом деле рушился, если в нем появились такие дети, которые знают своих отцов, а матери им об этом говорят! Он оглянулся на тех, кто был свидетелем этой постыдной сцены, и свирепо погрозил им плеткой. В это время открылся люк и Иосиф увидел склонившееся в проем лицо женщины. На ней была форма старшей сектора.

- Эта Роза? - грубо спросила она.

Иосиф сделал попытку отгеснить Культю от девочки:

- Да, да, она самая, - скороговоркой пробормотал Иосиф.

Женщина из ЧУЖОГО сектора недоуменно поглядела на него, не понимая причины такого суетливого, растерянного поведения. Но тут, что-то взорвало Культю. Откуда у него хватило столько смелости и наглости, чтобы так обращаться к СТАРШОЙ? Но он вдруг рявкнул начальственным голосом: «Молчать!»

И все, кто услышал его голос, содрогнулись. Если бы палубная крыса вместо писка проревела бы, как сирена тревоги, это бы не так поразило всех, как неожиданный окрик Культи. Словно огненный бич полоснул по лицу всех, слышавших это.

- Это моя дочь, ты слышишь, палубная швабра!?! - он ткнул в люк кулак и чуть было не попал в лицо и не кому-нибудь, а СТАРШОЙ! - Сейчас я ВОЗНОШУСЬ, - говорил Культя таким тоном и так твердо и угрожающее, что у всех волосы дыбом вставали на голове от неслыханной дерзости. - Горе тому, кто посмеет её обидеть!

Он подтолкнул Розу к люку и та покорно перешагнула через железо люка и вошла в чужой сектор. В этот момент заработал пассажирский лифт. Культя поковылял к нему. Створки лифта раскрылись и те, кто мог увидеть, увидел божественную красоту его внутреннего убранства, но самое главное, по-

середине лифта стоял, стоял... ОФИЦЕР! В белом мундире с золотыми пуговицами и с кортиком на поясе. Белая, с голубым околышем фуражка украшалась кокардой.

Культя стоял напротив дверей и потому весь блеск ОФИЦЕРА, вся его СЛАВА ударили ему в глаза и он потерял сознание. Ходили легенды на седьмой палубе, будто ОФИЦЕР поднял его и внес в лифт. На самом же деле, ОФИЦЕР, увидев, что Культя потерял сознание, процедил сквозь зубы: «Падла, на ногах не стоит», - и вволок его в лифт.

Культя очнулся уже в кубрике и первое, что он услышал, был какой-то незнакомый прежде, размеренный шум. И воздух был легкий и свежий.

«Наверное, я умер, - подумал Культя, - да и то, хватит, пожил, пора и честь знать».

Однако его рассуждения прервал чей-то сочный и бодрый голос:

- Очнулся, герой?

Он открыл глаза, над ним склонилась женщина, вся в белом, невиданной красоты: брови черные, широкие, лицо румяное и губы ярко-красные и вся такая воздушная, стройная.

Культя вспомнил, что рядом с ОФИЦЕРАМИ всегда бывают СТЮАРДЫ, по крайней мере, так гласили легенды, и эта женщина наверняка - СТЮАРД.

Так в этом кубрике, общаясь только с этой женщиной, которая оказалась вовсе не СТЮАРДОМ, вот и верь после этого легендам, а ДОКТОРОМ, Культя провел целый месяц. Каждое утро ему давали банку компота и, уж конечно, кушанье здесь было такое, какое не снилось даже СТАРШОМУ по сектору! Ему заново приходилось привыкать к обращению Иван Емельянович и к новому протезу.

Все здесь поражало его: новые запахи, звуки, странное отношение этой воздушной женщины к нему. Из коротких раз-

говоров, реплик Культя понял, что находится он на второй палубе. И самое главное, причина, по которой его ВОЗНЕСЛИ, заключаясь в том, что он единственный из оставшихся в живых, участник ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА. И, что теперь он является ценным музейным экспонатом.

Через месяц он увидел все то, о чем не раз говорил детям, рассказывая им сказки. Увидел океан, небо и солнце. Потрясение было настолько сильным, что он заболел и слёг. Сквозь болезненное забытые он слышал, как кто-то выговаривал ДОКТОРУ.

- Анастасия Ивановна, голубушка, разве ж так можно выпускать на палубу без подготовки? Они рождаются и умирают, не видя неба и солнца, а вы? Смотрите, не дай бог умрет.

- Простите меня, Галактион Яковлевич, не моё это дело, но зачем вытащили на божий свет это ископаемое?

- Вы забыли голубушка, что более трех тысяч этих «ископаемых», как вы изволили выразиться, заплатили жизнью за плавучесть нашей ДЕРЖАВЫ. Вы не представляете себе, что значит получить в подводной части одновременно шестнадцать пробоин! Нападение было внезапным и коварным. Я это хорошо помню, хотя прошло уже двадцать лет. Он единственный из оставшихся в живых участников той БИТВЫ ЗА ПЛАВУЧЕСТЬ.

- Ничего ему не сделается, он еще молод, ему ведь только тридцать семь лет. Анализы, кардиограмма у него неплохие, а этот шок пройдет.

- Вы, голубушка, в этом лучше моего понимаете, вам и карты в руки.

Культя долго осмысливал этот разговор. «Вот она сказала «ископаемый», это хорошо или плохо? Наверное, хорошо, потому что тот, кого она назвала Галактионом Яковлевичем, очень уважительно говорил об «ископаемых». А что такое «держава»? Непонятно. Непонятно потому, что этот Галакти-

он Яковлевич говорил, будто бы я сражался за «плаучесть державы», но ведь я сражался вовсе не за державу какую-то, а вел БОРЬБУ ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Чудно. Молод, говорит? Ничего себе, под сорок лет и молод? Чудно».

Прошли месяцы, Культя узнал много новых слов, таких, как «ПРОТИВНИК» и ему показали на горизонте НЕЧТО, ОТКУДА ЛЕТЯТ СНАРЯДЫ. Оказывается, КОРАБЛЬ - реальность, как ОКЕАН и КАПИТАН. Все это вначале не умещалось в его сознании.

Культя никак не мог свыкнуться с огромными размерами корабля, похожего на огромный остров. Потрясало обилие разных людей, свободно перемещающихся по палубе, но еще больше поражало его звездное небо, солнце и бесконечный простор океана. Он еще вздрагивал оттого, что примерно раз десять или двенадцать в сутки раздавалось гулкое «бом» и в сторону этого зловещего ПРОТИВНИКА летел снаряд.

Он всё еще не мог привыкнуть к свету солнца: глаза слезились и шелушилась кожа на руках и лице. Культе дали новую судовую роль и новую инструкцию. Теперь он ежедневно приходил в музей СЛАВЫ и дважды, в первую и вторую вахты, рассказывал. Рассказывать было приятно. В инструкции говорилось о совершенных им подвигах, о героической гибели сотен людей, о проклятиях, которые раздавались в адрес ВРАГА. И ему стало казаться, что все так и было на самом деле, а вовсе не так, как ему когда-то приснилось на седьмой палубе.

Ему становилось стыдно, когда он вспоминал свои первые дни на этой палубе и особенно тогда, когда он спросил ДОКТОРА: «Достопочтенная госпожа, припадаю к вашим ногам и целую ваши священные ручки, скажите мне, вы - боги?»

А перед этим он долго вспоминал, как обращались к богиням в его сказках. Эту фразу он составлял не один день и велико же было его удивление, когда ДОКТОР вдруг схвати-

лась за бока, упала на кушетку и истерически захохотала:

- Ой, не могу! Ой, спасите меня! - фразы прорывались сквозь захлебывающей смех.

Культя застыл и онемел от священного ужаса. Затем ДОКТОРА одолела икота и она выпила почти целый графин воды. Всё это время Культя стоял окаменевшим, как соляной столб. Ему казалось, сейчас полыхнет разряд и его испепелит в прах, но ничего такого не произошло. Успокоившись, ДОКТОР сказала:

- Сколько же чепухи у тебя в голове, парень! Бог там, на небе, и, похоже, ему нет до нас никакого дела. Судовой священник говорит, что после смерти наши души попадут в рай, а ты - боги!

За полгода Культя прибавил в весе, округлился и почувствовал в себе давно забытую тягу к женщине. Женщин на палубе он встречал много и особенно приглянулась ему смотрительница музея Дашенька, но Культя стеснялся своей инвалидности.

Однажды он осмелел и заговорил с Дашей. Тему разговора он выбирал долго и решил спросить её про ПРОТИВНИКА. Для него, как и прежде, оставалось загадкой, что это такое ПРОТИВНИК, ВРАГ и откуда он взялся. Может это и есть та самая ПРИРОДА, которая стремится уничтожить человека?

После закрытия музея Культя не ушел, как обычно, побродить перед сном, а сел на диван и смотрел, как Даша влажной тряпкой протирает экспонаты.

- Ты чего это, Иван Емельянович, припозднился? – спросила Даша.

Перебарывая в себе робость, Культя сказал:

- Дарья Павловна, меня давно мучает один вопрос, что такое ПРОТИВНИК

- Как? Разве Вы не знаете, что это наш ПРОТИВНИК,

наш ВРАГ? - Даша от удивления перестала протирать гидроцилиндр, который использовали для наложения пластыря на пробоину. Она присела напротив Культы.

- Значит, вот она какая, природа, - мрачно произнес Культя.

- Что? Что? - переспросила его Даша.

- Да я говорю, что вот она какая, природа.

- А причем здесь природа? Вы что-то путаете, Иван Емельянович. Природа это океан, солнце, воздух, чайки, рыба в океане, а там ВРАГ, ПРОТИВНИК и ЕГО НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ. Все ведь так элементарно просто! Или мы его уничтожим, или он нас.

У Культы отвисла челюсть от удивления и тысячи вопросов разом хлынули в голову. Все перепуталось и смешалось.

- Вам плохо? - участливо спросила Даша. Культя сначала утвердительно мотнул головой, но, увидев, что Даша рванулась к аптечке, отрицательно замотал головой, так, что чуть не свернул себе шею. Даша засмеялась.

- Иван Емельянович, дорогой ты мой, да что с вами? Язык, что ли, откусили?

- Не-а, - сказал Культя и ему расхотелось говорить на тему ВРАГА и ПРОТИВНИКА. Заливаясь краской смущения, он выбежал из музея и до полуночи бродил по палубе, обдумывая услышанное. В его голове все сильнее и сильнее крепла мысль о грандиозном обмане и грандиозной несправедливости этого мира. В эту ночь он так явственно и так живо вспомнил прижавшуюся к нему девушку Розу, её шепот и просьбу, чтобы он её не забывал. Культя от этого воспоминания даже застонал.

Утром он явился в музей мрачный и читал свою инструкцию таким бесцветным голосом, что Даша спросила у него:

- Вы не заболели, Иван Емельянович?

Тот сел на диванчик и глядя в глаза Даше сказал:

- Заболел, Даша, душой и совестью заболел. Мерзкий я

человек, Даша. Поганный и подлый! Я ничего не знаю о том, как здесь живут, что здесь правда, а что ложь, а вы не знаете, как я жил и что у нас правда, а что ложь. И вот что пришло мне в голову - что вся жизнь, и наша, и ваша, сплошная ложь, потому что не может же быть так, чтобы по одному и тому же поводу было две правды! Так не бывает, не бывает! - и Культя несколько раз ударил кулаком по протезу.

Даша смотрела на него с удивлением, таким она видела его в первый раз. А Культя, уставясь взглядом в палубу, продолжал:

- Там, на седьмой палубе, люди верят в то, что здесь обитают боги и боги думают за них и охраняют. Боги дают им пайку, одежду. Конечно, не напрямую, а через других богов, рангом помельче, которые живут на других палубах. Там, все мы считаем и в этом нас убеждает судовое радио, что все АТАКИ совершает природа, пытаясь уничтожить человека, что нет никаких ВРАГОВ и ПРОТИВНИКОВ, кроме неё, а природа везде, где нет машин. И что же? Оказывается, что природа вовсе не враждебна к человеку, что природа - это красота. Оказывается, там, ОТКУДА ЛЕТЯТ СНАРЯДЫ - люди и люди на самом деле людям же - ВРАГИ! Это никак не укладывается в голове!

- Здесь живут семьями, парами, а там мы живем общаком, в котором общие мужчины и женщины. Нам говорят, что так устроен мир, а здесь он устроен иначе. Меня там звали дедом, да я и был им! А здесь, оказывается, люди живут в два раза дольше. Люди, а вовсе не боги!

Это была, пожалуй, самая длинная речь Культы за всю свою жизнь, не считая сказок и далась она ему невероятно трудно.

- Бедный, миленький Иван Емельянович, - сказала Даша и дотронулась до его седых и колючих волос, - сколько же вы пережили за свои неполные сорок лет. Мир несправедлив - это точно и несправедливым его делает ВОЙНА.

- Какая война? - спросил Культя.

- Война, которая длится вот уже третье столетие, - ответила Даша, жалостливо глядя на Культю.

Она замолчала. Молчал и Культя, осмысливая сказанное. Так они сидели минут десять, и Даша не убирала своей руки с его головы, всё ближе и ближе пригибая голову к своей груди, а потом коснулась губами его лба и поцеловала сначала в лоб, потом в щеку. Культя повернул к ней лицо и жадно впился губами в её пахнущие мятой губы.

В День Победы ему вручили голубую ленту со звездой из полированной стали. Теперь он, в парадной форме, выглядел не хуже ОФИЦЕРА. Оторопь, которая охватывала его в первые месяцы при встрече с ними, прошла, он ловко брал под козырек, когда встречал их где-нибудь на палубе.

На следующий день после награждения он рассказал ей о Розе. Даша посоветовала написать рапорт. «Тебе, как герою-ветерану, может быть, и не откажут. Такие случаи бывали, хотя и чрезвычайно редко и, разумеется, не с седьмой палубы.»

Эта фраза Даши вдохнула новый жизненный импульс в Культю и мысль выволить Розу из душного плена отсека целиком завладела им.

- У вас же там всем присвоены индексы, а в компьютерной базе ДЕРЖАВЫ все перемещения, все смерти фиксируются, так что найти девочку можно.

И тут Культя пришел в неопишуемый ужас оттого, что не мог вспомнить индекс Розы, а без этого писать рапорт было бессмысленно.

Три дня он ходил сам не свой, проклиная свою забывчивость. Всё помнил, даже то, что девчушка ему сказала: «Деда, ты для меня будешь как будто умер, да?»

И так явственно слышал её голос, увидел её испуганное лицо, что не смог сдержать слез и ненависти к себе.

- Забыл, гнида! Предал, тварь! Тварь! Тварь! У...у...у...у!
Убить себя, что ли? Как жить? Как жить!?

Выход из положения подсказала Даша: «У меня есть знакомая, она работает в информационном центре. Я попросила сделать распечатку по седьмой палубе. В ней будут все Розы, какие только есть, тогда тебе будет легче вспомнить её индекс».

И правда, на следующий день к вечеру в музей пришла молоденькая девушка и принесла свернутую в рулон распечатку, всего там было около пятидесяти Роз.

Культя пробежал взглядом сверху вниз один, другой раз и похолодел оттого, что не вспоминалось. Даша дотронулась до его руки: «Успокойся, Иван. Вот сядь и спокойно, не спеша вычеркивай заведомо не те индексы.. Это же просто, начнем по возрасту...

И вдруг, словно что-то пробило в его памяти. Словно огненная молния сверкнула и осветила все закутки её. Культя заорал: «Вспомнил! Вспомнил! I/Д-1а!».

На следующий день, к вечеру, текст рапорта был готов, а утром следующего дня Культя направил его по инстанциям. Оставалось только терпеливо ждать. Он и ждал, рассказывая по ночам Даше о том, как он прощался с дочерью. Он был уверен, что это и на самом деле его дочь. Он представлял в своем воображении встречу с ней и рассказывал Даше, как обрадуется Роза: «А она говорила мне, что я для неё умер?»

Он планировал её будущее под солнцем. Однако в этот месяц взаимные обстрелы стали интенсивнее и потому «движение» его рапорта замедлилось. Он почти ежедневно подходил к вахтенному офицеру, но тот, узнавая Культю, отрицательно качал головой и недвусмысленно кивал в сторону ВРАГА. Теперь Культя знал, что зловещей ВРАГ точно такой же плавучий, набитый железом и механизмами остров, как и его ДЕРЖАВА.

Пожилой ОФИЦЕР, инвалид, как и он, с которым подру-

жился Культия, объяснял ему: «Сейчас стало жить легче. После ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА, который чуть было не пустил нашу ДЕРЖАВУ на дно, мы подписали с ВРАГОМ конвенцию о цивилизованном ведении войны. Следует признать, что отец нынешнего КАПИТАНА был человеком дальновидным, отличным дипломатом и все что мог «выжал» из итогов ВЕЛИКОГО ПРОРЫВА. Теперь разрешены удары только «ниже пояса» с пятого и ниже палуб. Раньше, бывало, и по верхним палубам вёлся огонь. По два раза в сутки выли сирены, объявляя тревогу. Дети плакали, да что там плакали! Гибли! У меня братишка погиб от налета. Разовая мощность боезарядов снижена почти в тысячу раз! И надо сказать, за двадцать лет ни одна из сторон не нарушила её. Баланс страха. Гарантированное уничтожение. Подрастающее поколение даже не знает, что такое настоящая война, разве что по музейным экспонатам, да вот вы...».

Культию так и порывало сказать: «Там дети знают, что такое война, но называют это другим словом». Но не сказал, потому что понимал - не поймут.

Через месяц его вызвали в штаб. В штабе старший офицер сказал, поглядывая с интересом на его, что рапорт ветерана на удовлетворен и через две вахты, в начале первой, он должен быть у пассажирского лифта А/5. Сердце у Культии вздрогнуло, подскочило и забились около горла, он едва смог выговорить положенные в таких случаях слова.

Вечером он зашел к своей старой знакомой докторше, Анастасии Ивановне Тромб и попросил её присутствовать при ВОЗНЕСЕНИИ дочери. Он хорошо помнил шок, который перенес сам.

- Ничего, голубчик, - сказала Анастасия Ивановна, - я таких транквилизаторов с собой прихватчу, что её самому Господу Богу можно представить и ничего! - она время от времени поддевала

Культю, напоминала ему, как он принял её за богиню.

И вот наступил долгожданный для Культи миг. Перед этим он тщательно побрился, подстригся и надел свою парадную форму со всеми наградами. Культя встал перед самой дверью лифта, остальные, Даша и Анастасия, стояли позади его в трех шагах.

Как ни готовился к этому Культя, а случилось всё неожиданно и вовсе не так, как он себе представлял. Створки лифта открылись, и в глубине он увидел прижавшуюся в угол Розу. Он сразу узнал её и в первый миг не обратил внимание на то, что она прижимает к груди белый сверток.

- Роза, доченька... - осевшим голосом сказал Культя и шагнул к ней с намерением заключить её в объятия. Неожиданно девушка взвыла тонким голосом и выкрикнула визгливо, противно:

- У..й..д..ии!

Этот визг ударил Культю, словно хлыстом по лицу. Он отшатнулся и все тем же осевшим голосом сказал:

- Роза, ты что, меня не узнала? Это я, Культя, дед.

Но девушка завизжала еще сильнее и чьи-то сильные руки отодвинули Культю в сторону. Больше он ничего не помнил. Очнулся в постели, над ним склонилась знакомое и любимое лицо Даши. Культя вопросительно посмотрел на неё.

- Она в лазарете у Анастасии Ивановны. Ты поспи, всё будет хорошо.

- Она меня не узнала, - шёпотом сказал Культя. - Она меня не узнала, - ещё раз с надрывом повторил он. - Она мне сказала - уйди! Понимаешь, она сказала - уйди!

Даша кивнула головой:

- Понимаю. Успокойся. Не узнала. Она твердит, что её отец умер год тому назад и требует, чтобы её вернули к какому-то Сеньке. Ты не знаешь, кто такой Сенька?

Культя отрицательно покачал головой и уткнулся лицом в подушку.

- У ней ребенок трехмесячный, чудо-мальчик. - Даша потрепала Культю за плечо. - Ты меня слушаешь, Ваня?

Культя кивнул головой и шепотом сказал:

- Да.

Через три дня он оправился от потрясения и пошел в лазарет, к Розе. В приемной его встретила Анастасия Ивановна.

- Трудный случай. У неё, как я поняла, там муж и она по нему тоскует.

Анастасия Ивановна помолчала, а потом, ухмыльнувшись, продолжила:

- Вот уж не подумала бы, что там люди могут испытывать такие сильные чувства, любить и страдать так.

Эта ирония задела Культю, но он сдержался.

- Ну, ладно, пойдёмте я покажу вам ваше сокровище под-земельное.

И доктор провела Культю в тот самый кубрик, в котором был он сам чуть больше года тому назад. Роза сидела на диванчике и кормила грудью малыша.

Культя встал посреди кубрика, напротив неё и тихим голосом сказал: «Роза - это я, Культя, дед? Хочешь, я расскажу тебе сказку про «Красную шапочку»? - и он начал рассказывать. - Жила-была девочка, она носила на голове красную шапочку и потому её называли - «Красная шапочка», - Культя рассказывал и слезы стекали по его щекам. - ...Тогда пришли охотники и сказали волку: «Отдай нам бабушку и девочку, а то мы тебе все краны перекроем».

Роза смотрела на Культю и все сильнее и сильнее раскачивалась из стороны в сторону, словно от зубной боли. Когда Культя произнес:

- И вот волк не выдержал щекотки и отдал бабушку и де-

вочку, - она разрыдалась.

Культя сел рядом с ней, обнял за плечи и прошептал на ухо: «Деда, а ты поплачь. Моя мама мне всегда говорила: «По-плачь и тебе легче будет». Давай деда, мы вместе поплачем и нам вместе легче будет, а? Я не умер девочка, я воскрес, воскреснешь и ты, только верь в это крепко-крепко и воскреснешь.

Она повернулась к нему, вцепилась, как раньше, в плечи и уткнулась лицом в грудь. Сквозь её рыдания Культя едва разобрал слова: «Зачем? Зачем? Я тебя, отец, схоронила и оплакала. А как же Семен?»

Культя молчал и только дрожащей рукой гладил по голове, как когда-то в той, другой жизни. Он уже не пытался вытирать слезы, и они скапливались на подбородке и падали на плечо Розы.

Они молчали, потому что говорили их сердца, а когда говорят сердца, то слова исчезают, улечучиваются, слишком ничтожны и грубы слова, чтобы вступать в этот разговор.

Анастасия Ивановна несколько раз заглядывала в кубрик и молча уходила, недоуменно покачивая головой. Она не понимала такую привязанность и это непонимание оставляла в душе докторши горький осадок. Анастасия Ивановна не имела детей.

Вечером Культя увел Розу к себе, вернее, в кубрик, где он жил с Дашей. Измученная и зареванная Роза уснула, едва накормив малыша. Даша откуда-то принесла детскую кроватку, в которую положили мальчика. Культя еще час сидел над спящей дочерью, и Даша не решалась вымолвить ни слова. Она ходила бесшумно и только изредка появлялась, как тень, как ангел-хранитель. Безмерное, ранее не испытанное умиротворение наполняло Дашу и она понимала, что вот это и есть то, что называют счастьем.

Утром взревели сирены, да так громко, как не было никог-

да. Культя пулей вылетел из кровати и как был в трусах, бросился к переборке, за которой спала Роза. В этот момент его накрыла волна нестерпимого жара, от которого потек металл, а человеческая плоть превратилась в легкое облачко пара.

1999 -2003 годы.

КАК БУДТО БЫ...

Петр Алексеевич Данкин всю жизнь проработал в автоба-зе слесарем по ремонту и настройке топливной аппаратуры и имел, по обыкновению этих мест, среднее общее образова-ние. И еще жил он в квартире напротив меня на одной лест-ничной площадке и потому мы часто с ним встречались. Бывало, даже выпивали по маленькой.

После смерти жены и выхода на пенсию, Петр Алексее-вич повел жизнь замкнутую и ко мне стал заходить очень ред-ко. Встречаясь во дворе, на лестничной площадке нашего дву-хэтажного, ветхого жилища, обычно ограничивался «здрав-ствуйте», или еще короче – «привет» и ускользал в свою, как он выражался, – «конуру».

Так минул год, второй, пошел третий год его пенсионной жизни и однажды, Петр Алексеевич чрезвычайно удивил меня. Вот это удивление, вернее, непроходящее чувство удивления заставило меня описать тот разговор с ним, ставшим по воле судьбы, в определенном смысле, первым и последним. И не только, но об этом чуть позже.

Данкин зашел вечером и, оглядев единственное мое уте-шение и «богатство» - библиотеку, вытащил наугад томик фран-цузского просветителя и философа Мишеля Монтеня, повер-тел, повертел в руках и поставил на прежнее место.

Нужно сказать, что я не упомяну такого, чтобы Петр Алек-сеевич брал у меня книги. Мне кажется, что если он что-то читал, так только городскую газету «Шахтерская правда», в

которой я работал.

- Возьми, почитай. - Предложил ему, полагая, что человек скучает на пенсии и чтение хоть немного скрасит его жизнь.

- Мне твои «монтени» и «сократы» ни к чему. - Отмахнулся Петр Алексеевич от предложения. - Я свою философию из себя вывел. С шестнадцати лет до шестидесяти от звонка до звонка отмунтолил, так что повидал людей всяких и разных. Чего твой, к примеру, Сократ, или Монтень такого сказал, чего бы я ни постиг?

Сказать по правде я растерялся. Такого Петра Алексеевича я не знал. Говорил он раздражено, и мне показалось, что говорил с апломбом, самоуверенно, чего раньше за ним так же не водилось.

- Он много что говорил. - Я лихорадочно вспоминал что-нибудь из платоновских диалогов. Наконец вспомнил и процитировал известное место, кажется из «Критона».

- К примеру, говорил: «Им не хочется быть избличенными в том, что они представляются, будто что-то знают, а на самом деле ничего не знают».

- Во, как! - Воскликнул Данкин и поглядел на меня, словно я заболел головой. - А сам-то, он, выходит, знает?

Петр Алексеевич продолжал стоять возле стеллажа, игнорируя мое предложение сесть на диван.

- Нет, он говорил, что доподлинно знает только одно, что ничего не знает. - Ответил ему машинально, по инерции. Я находился в растерянности, да и этот взгляд Петра Алексеевича, не то сочувственный, не то иронический действовал на меня не самым лучшим образом.

- Хреновенькая-то, а не философия. - Выдал свое заключение Данкин и опять посмотрел на меня как на больного, хмыкнул что-то и продолжил непререкаемым тоном: - Не может человек ничего не знать, что-то, да знает.

На этот раз он сознательно вытащил с книжного стеллажа томик Платона и пробежал беглым взглядом по случайно открывшейся странице.

- И чего изобличать, когда сам же признается, что ничего не знает. - Он почесал себе затылок, поставил томик на место и решительно заявил: - Хреновень.

- Хреновень говоришь, а люди Сократа две с половиной тысячи лет считают одним из величайших мудрецов. Значит, не такая уж «хреновень» в его словах.

Петра Алексеевича ни мои слова, ни многозначительное молчание не смутили:

- Люди по звездам и на картах гадают поболее двух-то тысячелетий, точно, как бы не все пять, однако дурь очевидная. - Сказал так, как будто и на самом деле в этом разобрался доподлинно. - Я так скажу, - продолжал Данкин, - чем дурнее мысль, тем она прочнее в голову западает. Вот, скажем, примета, что возвращаться с полдороги, не следует. Так эта, «дурная примета» и в моей башке сидит. Бессознательно, а сидит.

Я, было, открыл рот, чтобы вставить слово, но Данкин жестом вогнал в меня все слова.

- Хочешь старинный анекдот на эту тему расскажу? Вот слушай. Поехал мужик за сеном, а перед тем крынку кислого молока выдул. Нагрузил на телегу сено, а тут приключись гроза. Раз вдарило, ничего. Второй раз грохнуло - ничего. В третий раз раскатал Илья по небу, от восхода до заката свою повозку и мужика прямо в штаны прорвало. «Господи, - молится мужик, - за что?! Сроду не бывало, чтобы от грозы обосрался!» - Вот так, а того и забыл, что с кислого молока его всегда слабило. Всего-то, две каких-то ступеньки между причиной и следствием, а человек и этих ступенек преодолеть не в состоянии. Вот так и живем, не ведая, что после чего происходит, то ли дрысьня после грозы, то ли после кис-

лого молока, а уж, зачем на дорогу выпил, что побудило выпить кислое молоко, когда знал, что оно слабит, то до этого и вовсе невозможно додуматься».

- А ты мне, Сократ... Если хочешь знать, - говорил Петр, буравя меня своим взглядом точно он следователь из НКВД, а я государственный преступник. – Так вот, если ты хочешь знать, так самое важное в жизни - знать, что, после чего происходит. А мы этого не знаем и даже путаем тайну с загадкой. А между прочим очевидно, что тайна потому тайной называется что и через тысячу лет тайной останется, а загадка рано или поздно будет разгадана.

Он опять посмотрел этим, раздражающим меня высокомерным взглядом.

- Да, да! Или у нас народ тупорылый оттого, что трамваи тупорылые по городу ходят, или напротив – трамваи у нас такие потому, что народ тупорыл!? Вот этого наиглавнейшего мы не знаем.

Сказал и завис на высокой, почти истерической ноте. Затем перевел дыхание и уже примирительным, а не обличающим меня в скудоумии тоном, продолжил:

- Сдается мне что так и не узнаем ответа на вопрос о связи нашей тупорылости и формы трамвайной морды.

Как было не расхохотаться, слушая такие «философские сентенции»?

- А зря ты жеребцом ржешь.

Голос Данкина снова отвердел, а потом перешел на свистящий шепот.

- Потому что связь эта есть тайна! Тайна моих предков. Возьми шире - народа русского, больше живущего сердцем, чем разумом! Сердечники мы все, вот что! А людей сердца всегда бессердечные обдирают, как зайцы липку! И живем мы не для себя, а для мирового человечества и в том нас убежда-

ют беспрестанно и даже грозят, когда мы только заикнемся, что неплохо бы и о себе подумать.

От этого змеино-го шипа Данкина у меня мурашки по коже прошли, и нехорошо засосало под ложечкой.

– Вот ты ржешь, а я только об этом и думаю! Что после чего следует! Тоска меня смертная берет, а ну, как и на самом деле вся моя жизнь прошла в тупорылости? Всю жизнь, как свинья, глаз к звездам не поднимал? С другой стороны, в чем же моя вина, если уродился таким?

- Вот, был я как-то в доме отдыха, и такую там красоту развели, что бросил я окурок мимо урны, шагов десять прошел, и какая-то сила развернула меня, поднял свой окурок и в урну. Очень я себе тогда удивился. Очень! – И опять замолчал, ушел в себя.

Принялся я ему что-то говорить о культуре, да понял, что он меня, если и слушает, то вполуха. И опять Данкин поглядел на меня, как глядит сестра-сиделка на тяжело больного человека, покачал головой и опять вразяжку говорит:

- Ничего ты не понял! Решительно ничего... У меня что, культура враз, как молочные зубы у ребенка, прорезалась? Так ведь и зубы враз не прорезаются, а «режутся» с болью. Не было, не было культуры и на тебе?! Объявилась, не запылилась? Нет, тут не в культуре дело, а в красоте! Красота, она... Э, да тебе это не понять. У тебя в институте всё понимание выбили.

И опять он замолчал, а потом словно спохватился, словно его припекало изнутри, продолжил с горячностью. – Вот и Достоевский пишет, что красота спасет мир. Красота, а не культура! А без красоты этому миру непременно гибель! Заплюем всё, окурками закидаем! Я так понимаю, что в начале всего красота, а потом культура. Какое у нас представление о красоте, такая у нас и культура. Если мы тупорылы и этим горды, то и культура наша такая же тупорылая... В лучшем случае ис-

полнительская, канареечная...

Ну, тут я и взвился!

– Если хочешь знать, то русская культура по всему миру в цене!

А Данкин так иронически поглядел на меня, да и спрашивает:

- Ты на самом деле считаешь, что у нас есть какая-то русская культура?

Надо сказать, что тут я совсем опешил, растерялся, а Данкин, этот черт, продолжал:

- Ты остынь и трезво погляди, что в русской культуре русского? Я согласен, что имитаторы мы талантливые, но своего «пороха не выдумали», а если и придумывали что-то своё, то одна тупорылость из этого выглядывала, да язык нам свой казался, гляди, мол, какая я есть самая народная культура! Стены московского кремля и то иностранец построил. Символическое дело! Воинская крепость в нас и то не русская, а заемная!

- А собор Василия Блаженного? А ... - Но Данкин оборвал меня.

- А собор построен по греческому канону, точнее по византийскому, а вся живопись из Италии, а вся драматургия из Франции и Англии, как и опера, балет, и литература! А ты мне: Сократ! Тут в себе бы разобраться, себя бы понять!

Вот и возьми этого слесаря-пенсионера! Стоит посреди комнаты и говорит такое, чего раньше в жизнь бы от него не услышал. Да, как он растянул это - «Со-кра-ат!» словно само, по меньшей мере Аристотель! Выходит, молчун-то молчун, а себе на уме. Вишь, какой виток от Сократа к Сократу сделал, прямо «петля Нестерова»!

- Может, об этом и говорил Сократ, что мы ничего не знаем, а только воображаем, что знаем? - Я попытался защитить Сократа, хотя не представлял себе, как его защищать от

Данкина, да и нужно ли? Сократ один, а «данкиных» - полно! Да и что они, «данкины», Сократу? Он Афинскому суду нос утер, а уж Данкину-то и подавно утрет. Так я думал, но Петр историю Сократа не читал и потому соглашаться со мной не стал и еще один вираж заложил, теперь уже к тому мужику, который кислого молока перед дальней дорогой откушал.

- Ну, положим, тот мужик отлично знал, как сено на телегу положить, чтобы в цельности довести до дома, как лошадь запрячь. Нет, он много чего знал, без чего бы и не жить ему! - Ответил он и тут я, впервые, почувствовал в голосе Данкина не апломб и категоричность, а какую-то, глубоко запрятанную тоску, что ли.

- А вот этого, что после чего - не знал? - В этот вопрос я вложил все свое ехидство, весь свой сарказм, да не тут-то было!

- Этого не знал. - Удивительно спокойным тоном сказал Данкин. - Этого мало кто знает, разве что в вещах простых, примитивных, практических.

И опять в голосе его проскользнула - точно - тоска. Но почему, отчего эта тоска? Не понять.

Данкин принялся мне растолковывать:

- Этот анекдот о кислом молоке, только к примеру, к простенькому примеру, а жизнь сплошное путешествие неизвестно куда, и неизвестно зачем. А что ты хочешь? Кто нас спрашивал, когда рожал, да и был ли я тем самым Я, что сейчас, когда родился? И помирать будем, нас никто не спросит: «Хочешь еще пожить, или уже устал, хватит?»

- Куда, положим, известно. - Я решил-таки поставить его на место. - Все, мы, путешествуем из небытия в небытие. Из утробы матери в утробу земли-матушки.

- Я этого не понимаю: бытие, не бытие. Это что? Из ничего что ли? Так из ничего и нет ничего! Ну, ладно, по видимос-

ти, оно так и есть. – Наконец согласился Данкин и тут же огорошил меня: - Но все ли мы видим? Вот читал, что есть прибор ночного видения. Изобрели, то есть человек видит то, что ему видеть не полагается. Видит, как тот комар - тепло. Рассказывают, что перед человеком раскрывается мир совершенно не такой, к какому он привык...

И опять этот вопросительный взгляд, словно он меня подзуживал, подначивал продолжить его мысль.

- Ну и что? - Спросил я Данкина совершенно не понимая, к чему он клонит.

- А то, - откликнулся на мой вопрос Данкин, - что на языке того, теплового мира еще никто не написал рассказов, не сложил песен, стихов не сочинял, потому что тот, тепловой мир для человека - чужой.

Он замолчал, а мне почему-то в этой краткой паузе слышалось гудение комара, да так явственно, словно причудлившейся мне комар вот - вот начнет кровопийцествовать у меня за ухом. Данкин поглядел на меня все тем же, снисходительно-вопросительным взглядом и продолжил:

- И опять-таки, сказывают, что тепловые картинки, чтобы понятнее было, электроника переводит в обычные. А теперь посуди, каков мир есть на самом деле, таков ли, каким мы его своим зрением видим, или таков, как он есть в тепловых лучах?

- Главное, чтобы ни тот, ни этот мир не вступал друг с другом в противоречие. - Это я недавно в журнале вычитал, там была статья об адекватности восприятия мира и потому «шпарил по писанному». - Реальность картинки тепловизора, - говорю ему, - не должна опровергаться реальностью нашего зрения.

Очень правильно сказал, даже самому понравилось, как сказал, и опять Петр Алексеевич меня озадачил.

- Вот ты как рассудил. Может, так оно и есть на самом деле, что не вступает в противоречие, а может и вступает.

Сквозь узенькую щелочку мир разглядываем, а судим о нем так, словно видим сквозь панорамное окно!

- Человек, Петр, на Земле не один десяток тысяч лет живет... И практика жизни говорит о том, что и этой щелочки ему достаточно, чтобы жить!

- И ни хрена не видеть! - Перебил он меня. - Кабы имелись люди, человек этак с тысячу - две, которые бы видели мир только в тепловых лучах, да прожили бы сотню другую лет в таком состоянии, да описали бы тот мир так, как описан этот человеком с нормальным зрением, вот тогда бы можно говорить, опровергается, или не опровергается. А так - все это слово против слова. Ты мне - «стрижено», я тебе - «брито», а фактически и не «стрижено» и не «брито», а «выщипано», «прополото», или даже - «лысо»! Тот-то пример с тепловизором всего лишь пример, а мир можно увидеть не только в тепловых, но и в рентгеновских лучах и даже в радиоволнах. Так что не суетись и слушай, что со мной однажды случилось, да вникай, а не верхоглядствуй.

Совсем обнаглел! Если бы не тоска в его голосе, то ей богу, выгнал бы Данкина из квартиры, но вот эта тоска... Словом было в нем что-то такое, что заманивало меня. Загадка какая-то. Так что смирил себя и стал слушать Данкина.

- Пошел я за грибами в тайгу, - начал Данкин, - возвращаюсь к тракту под вечер, солнце еще высоконько стояло, все-таки август. Иду, уткнувшись глазами в землю, и вдруг меня странный озноб прошел. Словно кто-то смотрит мне в затылок. И взгляд чувствую, как давление какое-то, что ли. Словом обернулся и вижу; стоит человек в два этажа ростом, весь словно в алюминиевую фольгу одет. Я, где стоял, там и сел. Сижу и как кролик в глаза удава смотрю...

Тут я перебиваю Данкина, потому что заврался мужик:
- Прямо в глаза ему смотришь? - Спрашиваю Петра. - Ну и

какие у него глаза? Голубые? Черные?

Споткнулся Данкин, как лошадь на крутом спуске, сел, что называется на задницу, на круп. Растерялся.

- Глаза, говоришь?.. Глаза, значит... - Он лихорадочно думал, это было видно по тому, как Петр беспомощно вертел головой по сторонам, но вдруг лицо его просияло: - Ты в колодец днем заглядывал? - Спрашивает меня.

- Бывало. - Отвечаю ему.

- Вот и глаза того видения были, как вода в колодце. Всасывали они в себя. - Данкин замолк, словно раздумывал продолжать рассказывать, или обидеться на меня и уйти.

- Ну и что дальше-то было? - Подбодрил я Данкина вопросом, потому что и самому стало интересно.

- Дальше-то? Дальше в голове полнейшая пустота, а в теле окаменение... Помню, - Петр Алексеевич сделал большую паузу, - когда меня в шахте придавило...

Я перебил Данкина:

- Ты никогда не говорил, что в шахте работал?

- Так я и не работал там. Чего ты меня все время дергаешь? С мысли сбиваешь? Я хотел сказать тебе... ну, чтобы понятней было мое состояние там, в лесу... В шахте я меньше месяца работал... Так вот, в хирургическом отделении мне, прежде чем дать наркоз, укол такой сделали. Лежу в полном разуме, а бровями пошевелить не могу, мизинцем двинуть. Так вот, там, в лесу, я в таком же состоянии был. Минут десять, не меньше стоял тот человек, а потом стал, как туман, истончаться, истончаться и когда, сквозь его, я увидел ветки и стволы деревьев, то онемение в теле стало исчезать и соображать начал что к чему. - Он ударил ладонями себе по коленкам: - Вот так! Рассудил я тогда, что это был, и на самом деле, какой-то туман, принявший форму человека.

- Скорее всего, так оно и было. - Вставил я свое слово, пото-

му что не верил я во всех этих «пришельцев-ушельцев» и не верил я только по одной причине, что слишком по-человечески они мыслят и говорят. Читывал я такие «отчеты» очевидцев! Интеллектуально они на уровне того, кто «отчитывается».

- Так и рассказывал всегда о том случае, что случилось у меня умопомрачение, – согласился со мной Данкин, а потом хмыкнул, головой тряхнул, как лошадь, отгоняя назойливых мух. - Рассказывать-то рассказывал, а сам в тот рассказ, наполовину верил. Да ... Вот и рассуди, как это моё видение подтвердить, или опровергнуть? Туман-то не мог меня на полчасика обездвижить. Не мог!

- Никак не докажешь. – Согласился я потому, что и на самом деле, разве можно страхи и бред человеческий как - либо доказать, или же опровергнуть? Меня так учили, что все, что случается с человеком, выпадает из власти строгой научной методики. Человеческое лежит в области вероятностей и статистических закономерностей. Все это я изложил тогда Данкину.

- Вот я и думаю, а что бы увидели люди, которые видят мир в тепловых лучах, в этом конкретном, случае? Чего бы они такого о своих реальностях наговорили? - Данкин продолжал «гнуть» свою линию. - И самое главное, как бы мы, своим зрением, те реальности опровергли, или подтвердили?

Что тут на это скажешь? К такому разговору с Данкиным я не готов был, да и как к нему подготовишься? Сказал, что пришло в голову:

- Это старый вопрос о том, насколько реально то, что мы считаем реальностью. Споры - спорами, а практика убедительно показывает, что человек в общем и целом правильно представляет и верно ориентируется в том, что считает реальностью.

И подумал я тогда: «Вот ведь, как хорошо, как к месту прилась, только что прочитанная мной статья в «Литературной газете».

- Все это так, - откликнулся Данкин, вперив взгляд в книжную полку. - Я и сам, когда помоложе был, верил только в то, что в руке держу, да и то пытался на зуб попробовать. Потому, наверное, и зубов-то уже нет, все испробовал. Трудно спорить с тем, что ежедневно видишь и что в руках держишь - это свидетельства такие основательные, такие прочные, что под их напором руки вверх поднимешь, или, как моя собака, когда провинится, ляжет на спину и четыре лапы кверху задерёт, мол - всё, сдаюсь!

И опять тоска буквально выплеснулась из него в этом «сдаюсь», словно и на самом деле стоит Данкин перед белой стеной, а на него направлены автоматы расстрельной команды. Вот что привиделось мне тогда, а Петр продолжал развивать свою мысль:

- Вот и люди так же, под напором таких сокрушительных аргументов на спину легли, руки-ноги задрали, сдались и покорились.

Вздыхнул Данкин судорожно, в два коротких приема, словно горло ему перехватило и опять себя ладонями по коленам, словно гвозди всаживал:

- Да и хрен бы с ним, что покорились! Покорность у нас издревле почитается за добродетель, к тому же, если бы не покорились, то человеку с такими глазами, с такими ушами, с таким животом и прочим, что в нем есть, не жить бы на земле. В этом я с тобой согласен. Только это мало о чем говорит.

Он, в который уже раз, вопрошающе посмотрел на меня и, не дождавшись реакции на свои слова, с грустью закончил:

- Тут не в том дело, что человеку следует покоряться реальности. Ты смотри глубже, коли начитался монтеней, весь ли человек в этой реальности, или же не весь?

- Ты ведешь речь о наличии в человеке души? - Спросил его, подозревая, что влип человек в какую-то секту коих, с бла-

гословения городской администрации, развелось в городе, как мух на помойке.

Спросил, как видно, глупость, потому что Данкин всердцах сказал:

- Души не души, хоть задуши! Разве так важно, каким словом что называется? Мать моя, покойница, царство ей небесное, Пелагия Тихоновна, всю жизнь молоток называла – «толомок» и ничего, век прожила и всегда его по назначению использовала. Одного китайского, или корейского, уже не помню, деятеля и вовсе по-русски матерно называли, а по-ихнему наше, выходит, матерное слово понималось самым чудесным образом. Далась тебе слова.

«Ну, - подумал, - тут ты, Данкин и влип!» И такое торжество меня охватило, словно передо мной вовсе не сосед, а ненавистный мне Чубайс! Куда подевалось возникшее было сочувствие к Данкину. «Нет, - подумал я, - таких философов нужно на место ставить!»

- Ты путаешь слово, - говорю ему, профессорско-лекторским тоном, что у меня бывает, когда я точно знаю предмет. - Так вот, - говорю ему, - ты путаешь слово и его звуковое оформление, фонему. За словом стоит понятие.... - И тут я спохватился, кто сидит рядом и чего я этому слесарю втолковываю... Нелепость очевидная, как ребенку рассказывать о теории относительности, но меня понесла инерция. - И вообще, - тут я скомкал все, - философия слова не такая простая штука... - Я, было, потянулся к книжному шкафу, чтобы достать Лосева «Философия имени» и тем самым подкрепить свои слова, но Данкин опередил меня:

- А у меня своя философия, хоть горшком назови, но в печку не ставь!

Вот и поговори с ним?! Сам забрел в дебри смыслов, меня в них затащил и оба дураками выйдем.

- Ну, пусть, если хочешь, душа, - согласился Данкин. - Ну и что из этого, что мы сказали - душа?

- О, многое! - вырвалось у меня само собой...

- Этак и я могу сказать – «многое». Сказать можно, что вздумаешь. Я вот, так же глубокомысленно скажу – «вечность», а что за этим словом стоит? Что это такое – «вечность»? Это когда времени нет, что ли? Но когда времени нет, то и нет ничего! Решительно ничего, а в особенности человека! Как же он в «вечности» может сказать: вчера, мол, было, или давно. Сейчас есть и будет завтра, или в будущем? Брякнут с потолка невесть что и довольны, мы, мол, все объяснили, словом назвали и будьте теперь вы довольны! Помню, в школе учителя по геометрии изводил. Он говорит: «Точка, есть то, что не имеет ширины и длины»» А я ему: «Аркадий Владимирович, я в тетрадке точку поставил, а у неё есть ма-а-ленькая «длина» и «ширина». А он мне: «Это, как будто бы она не имеет длины и ширины». Очень меня, с той поры, занимал вопрос о «как будто бы». Я тогда подумал своим детским умишком, что взрослые люди играют в игры, как мы, дети, играем: «Давай мы, как будто бы станем мамой и папой. Давай, как будто бы это машина, а я буду шофером, а ты кондуктором». Старик уже, а думаю, что в том, детском моем вопросе, глубокий смысл есть. «Давайте жить так, как будто бы нет никакой у человека души». «Давайте жить так, как будто бы вся человеческая жизнь заключена в пределах его рождения и смерти». «Давайте жить так, что видимое нами и есть единственная реальность, а все иное – плод больного воображения». И еще тысячи тысяч таких «как будто бы». Или начнем сочинять сочинилочки о том, что такое душа и где она находится, и опять, «как будто бы» мы это знаем...

- Зря ты вокруг до около крутишься, - прервал я Данкина, - ты прямо скажи, считаешь, что в человеке есть часть бес-

смертная? - Я все еще подозревал его в том, что он наслушался всяких эзотериков, словом, всякой околонуточной чепухи. А сказать по правде, он окончательно меня запутал. Так запутал, что я чувствовал, что говорю не меньшую, если не большую глупость, чем Данкин. Ему-то было проще, он пришел с уже готовыми, выстраданными, обдумантыми мыслями, а меня застал врасплох. Я о таких вещах не думал.

- И опять ты поспешил с выводами и заключениями, - Начал отчитывать меня Данкин. - Ничего такого я не считаю. Это попы так считают, да чокнутые всякого рода. Разве я говорю о том, что у человека есть бессмертная душа, что Вселенную создал Господь Бог, что есть грех и есть святость? Мне покоя не дает вот это, «как будто бы»! Я всю жизнь прожил «как будто бы» и вот смерть не за горами, а я на главный вопрос ответа не имею. У кого его взять? У твоего Монтеня? Так, ведь сам ты говорил, что ни философ, то собственное понимание мира? Выходит, сколько людей, столько и истин? Тогда, получается, сколько людей, столько и реальностей?

- Ну, это ты хватил через край! Будь так, то все бы рассыпалось, ни языков, ни государств, ни племен, ни народов...

- Вот и я говорю, что такое невозможно, а возможно только единственное: полнота реальности, в которой бы имелось место и тому, что мы держим в руках, то есть для практики жизни, и тому, что случилось со мной в тайге, и всем-всем свидетельствам всевозможных верований! Подлинная реальность должна включать в себя абсолютно всё!

- И бред сумасшедшего? - ну, думаю, тут-то я тебя и подловил. Тут-то ты и запнешься и зачихаешь! Да не тут-то было!

- Хочешь знать, это-то в первую очередь! Вот это-то неперемное условие полноты реальности! Если в этой реальности не будут иметь смысла писк комара, кваканье лягушки, бред сумасшедших, экстаз религиозных видений. то

такая реальность не полная, такую мы и сейчас имеем.

- Ты хочешь невозможного! - вскричал я, потому что где-то, в глубине моей души этот Данкин, этот слесарь-пензионер, пробил маленькую брешь и в неё потянуло таким сквознячком, что мне стало не по себе.

- А возможного, дорогой ты мой, и хотеть не следует, — удивительно спокойным голосом сказал Данкин. - Возможное берется руками человеческими. Возможное - это реальность нашего мира, потому и называется так - «возможное». Если твои монтени не имеют ответа на мой вопрос, то на кой мне глаза ими утруждать?

- Хотя бы за тем, чтобы не открывать заново Америку, - к чему сказал, сам не знаю, да и продолжил не лучшим образом, - чтобы научиться правильно рассуждать, а не скакать, как белка, по ветвям и сучьям смысла, от одного ствола темы к другому!

- Они умели правильно мыслить? - спросил Данкин и я не уловил в голосе Петра Алексеевича сарказма, а зря.

- Умели, - в этом-то я был твердо убежден! Если не они умели правильно мыслить, то уж не такие данкины, конечно!

- Ага! Умели, а ответа их правильное мышление на самые важные вопросы никакого не дало?! - в голосе Петра звучало торжество. - Вот в чем твоя главная ошибка! Ты предлагаешь мне научиться методу, который вот уже две с половиной тысячи лет на главный вопрос не нашел ответа!

- Тогда иди в монастырь! - выкрикнул я, теряя самообладание. - Постригись в монахи и заточи себя в келью - там найдешь верный ответ! - И уже более спокойно, чего ж возмущаться, ведь не профессор же, а всего лишь Данкин, посоветовал: - Говорят, отшельники находят ответы на твои вопросы.

- И об этом я думал и даже кое-что читал. Действительно,

говорят так, что находят ответы, однако же, не все и не всегда, а самое главное, никто этих ответов не слышал. Какая же эта найденная реальность, если она только для одного человека? - он снова посмотрел на меня тем же, смущающим взглядом словно знал что-то такое, особенное, до чего мне в век не додуматься. - Ты и сам говорил, - мне показалось с изрядной долей ехидцы сказал Данкин, - что такая индивидуальная реальность разрывает все человечество на отдельные атомы...

Мне стало неловко оттого, что я крикнул на Петра Алексеевича и даже ехидство его пропустил и уже примирительным тоном ответил ему:

- Не совсем так, то есть я хочу сказать, что «находят» они ответы, по крайней мере, понимаемые внутри религиозного сообщества, - ну куда уж разумнее ответил? Даже не свое сказал, а вычитал в толстом журнале и что же?

- Ну и что это меняет? Пусть не миллиард реальностей, а по числу религиозных конфессий, все равно это - не истинная реальность. Истинная реальность может быть только такая, в которой есть место всем религиям и в том числе этим, «дурдомовским» пониманиям, что скрываются под разными названиями. Повторять что ли? Подлинная реальность должна включать в себя абсолютно всё! - последнюю фразу Данкин произнес чуть ли не по слогам, с нажимом на «абсолютно всё».

Решил я тогда сказать, как отрезать, чтобы уж все ясно стало:

- Тогда, - говорю ему, - ты ничего не найдешь и все твои поиски обречены на неудачу. Загонишь себя в тупик, в тоску беспросветную...

- А разве я не понимаю, что ничего не найду? - спрашивает он меня, а глаза у него так и впились, так и жмут, словно я должен ему червонец, а не отдаю, зажалил. - Еще как понимаю! - говорит Данкин. - Понимаю, но ничего с собой поде-

лать не могу.

Замолчали мы тогда на минуту, больше. Он сидит, руками подвернувшуюся бумажку складывает и разрывает пополам, и так меня эта процедура заинтриговала, что когда Петр заговорил, словно током пронзило.

- Это род болезни... Старческой, наверное... А может быть, какой-то наследственной, ведь идет она от моего детского «как будто бы». С чего это было нужно мне спрашивать учителя о точке? Никто ведь не спрашивал, а мне этот вопрос покоя не давал. Прислушиваюсь и подглядываю за собой - ан нет! Не я это подумал, а сама по себе, как бы откуда-то пришла мысль, а уж потом эту мысль думаю, думаю, пока другая, вот так же, самочинно и неожиданно эту, первую не вытолкнет.

Ладно, решил я, будет тебе новомодная теория, может, на ней и остановишься. Что-то нужно было делать с Данкиным. И говорю ему:

- Есть представления об информационном поле Земли...

Но не успел я договорить, как Петр Алексеевич, воскликнул:

- Ах, оставь ты, всю эту наукообразную чепуху! Тошно слушать! Читал я об этом!

Он тут же встал с дивана и направился к выходу. В коридоре обернулся ко мне и сказал:

- Все это объяснения непонятного неизвестным. Этак и я могу чего-нибудь такого выдумать, да и назвать это, мной придуманное, каким-нибудь звонким словом.

Данкин стал обуваться и несколько раз совал ногу мимо ботинка, хотя у меня, в коридоре, всегда была ввернута яркая лампочка. Когда натянул свои башмаки, разогнулся и заявил мне:

- Нет, я монтеней читать не стану, не навяливай мне напрасно, я к себе прислушиваться буду, авось, что там, в себе и услышу. Вот такая у меня философия - в себя вслушиваться.

И ушел он, в тот вечер, от меня. По сути, это были после-

дни слова Данкина. Зачем приходил? Не пойму. Потянулись дни за днями, недели за неделями, и как прежде, когда нос к носу столкнемся, «здравствуй» и «привет».

Как-то сказал:

- Чего Петр Алексеевич не заходишь?

И что же получил в ответ? А получил я вот что.

- Не хочу, чтобы ты просыпался, спи, как спят все!

И исчез за своей дверью. Хорош доморощенный Лев Шестов? Это надо же, он, видишь ли, проснулся, а мы все, выходит, спим?

Умер он так, как умирают нынче одинокие люди. Мухи залетали и тленом потянуло. Я в квартиру не заходил, напротив, ушел куда подальше. Очень мне не хотелось видеть Петра Алексеевича каким-то другим, чем он запомнился мне. И вообще, не люблю я это «похоронного дела» до крайности, а особенно не люблю слов и слез. Ты при жизни его поплачь да скажи все эти слова, чего же после смерти базлать и слова разные говорить? Тут, как говорится, «проехали».

А разговор тот, так врезался в мою память, так беспокоил меня, что сон потерял. Ну, думаю, не отвяжется от меня Петр Алексеевич, царство ему небесное, до тех пор, пока я не напишу все, как оно было меж нами.

И что вы думаете? Написал и сон вернулся, и на душе появилось облегчение, словно и правда он, оттуда, требовал от меня, чтобы я написал.

Глупость, конечно, самовнушение, а, поди ж ты, помогло. Только, сказать по правде, через ту трещинку, что возникла в моей душе, нет-нет, да и потянет сквознячком леденящим и словно кто-то меня спрашивает: «А вдруг и на самом деле, все, что вокруг тебя, да и сам ты, всего лишь «как будто бы»?»

ЖИТИЕ СТРАННИКА.

Третьего дня я был в Духе. Говорил пням, кустам, деревьям и птицам. Потом лежал на топчане и силы жизни едва теплились в моем теле. Духом же своим видел видения чудные, сады Эдемские. Не вставал двое суток, и не было потребности в естественных нуждах. Так бывало всегда, после того как Дух овладевал мной.

Сегодня вышел за порог своей землянки и удивился бездонной чистоте осеннего неба. Как-то по-особенному удивился, не так как раньше. Слезами умиления омыл лицо своё и возблагодарил Господа за эти слезы.

Я давно забыл, кем был до того как ушел в тайгу, вырыл в старой медвежьей берлоге землянку и стал жить в ней. Прошлое источилось из меня за эти годы, как источается вода из дырявой посуды, капля по капле. Разумом своим я понимал, что какое-то прошлое у меня должно быть, но я давно уже не тяготился вопросами разума. До них мне не было дела. Я молился, чтобы Дух вошел в меня и этим жил и живу. Первую зиму только чудом Господним не замерз, а потом привык и тело мое не замечает студеной воды и пронзающего ветра. Я часто думаю, что у меня нет тела в том понимании, какое оно есть у людей. Я редко испытываю чувство, которое известно всем: чувство голода и жажды. О сне я и не говорю, что сон, что явь - все едино.

Когда я вернулся в свою землянку после благоговеиноного восприятия мира Божьего и обратил свои внутренне очи к себе, то в самом себе я услышал голос: «Встань и иди в мир». Голос повелительный, как голос власть имеющего, и я пошел. Куда и зачем шел - не знал, не думал об этом.

И вот я увидел людей, вернее одну одинокую женщину, мотыжившую свой огород. Вид мой был вид зверя двуногого, и она испугалась меня. Бросила свое дело и побежала в дом. Оттуда вышли двое мужчин и в руках одного из них было

ружье. Они что-то кричали мне, но я не понимал значение их крика, только почувствовал в голосе угрозу. Оказывается, я научился понимать человеческую речь.

Страх не было, а была жалость к ним, потому что видел я, как сильно они напуганы моим видом, и когда жалость моя достигла их сердец, они пали на колени и плакали. И я плакал вместе с ними, пока Господь давал нам слезы. Омыв души свои, они ввели меня в дом свой, поставили на стол хлеб и молоко, но мне не было в том нужды.

«Кто ты и откуда? - спросили они меня. - Почему ты не ешь хлеба и молока?»

И тут пришло мне понимание смысла речи человеческой. Я ответил, что пришел к людям по воле, говорившего во мне голоса. Тогда они спросили меня: «Ты - святой?»

Я ответил им, что никто не свят, кроме Господа Бога, но они не вняли моему слову и посчитали меня святым.

Женщина сказала: «Твой вид страшен, и люди будут бежать от тебя. Тебе нужно быть таким, как все».

Я сказал, что не смогу быть как все, но не воспротивился тому, чтобы волос моих коснулись руки женщины, вооруженные железом. Они натопили баню и я вспомнил, что люди умывают свое тело горячей водой, ухаживают за ним, как будто это драгоценный сосуд, а не глина, из которой Господь сотворил человека. Это было странно. Я спросил себя в сердце своем: «Верно, ли делаю?» И не было мне ответа ни «да», ни «нет».

Потом они одели меня в свои одежды, и я долго привыкал к ним. Прожил я у этих людей с месяц, привыкая к образу мира и к мыслям мира сего. И понял я в сердце своем, что этот образ есть образ боли, отчаяния, зависти и чудовищных потребностей. Что этот мир во власти тела, а не во власти духа. И был голос во мне прежний, призвавший меня идти, и сказано мне было вторично, чтобы я шел. И было велено мне идти

в образе людей мира и говорить словами людей мира. Я вышел из дома и благословил кров, давшей мне приют.

И вот я пришел в большое селение, и иду я и вижу: у большого дома, роскошно сделанного, каменного, стоит толпа людей. На высоких ступеньках здания бьется в истерике женщина, а люди вокруг исполнены гнева и страха.

И спросил я о причине их гнева и страха и получил ответ: «Мы вкладчики банка, а руководства банка не желает отдавать наши деньги с процентами. Говорят, что банк обанкротился».

- А что за женщина убивается на крыльце? - спросил я, но в ответ услышал скрытую угрозу и раздражение: «Шел бы ты по своим делам, старик!».

Они гнали меня от себя, и я пошел от них, но душа женщины открылась мне и я понял, что хотела она получить на свои деньги баснословный барыш, и потеряла деньги и свои надежды. Бог покарал её за алчность, как и тех, кто стоял и гнал меня. Не в поте лица, как было заповедано, надеялись получить хлеб и вино, а изощренной хитростью отбирая у других плоды труда их рук.

«Проклят сей мир!» - подумал я и плакал о мире в великом сокрушении. «Вразуми, Господи!» - просил я в тайной молитве своей, но не нашел отклика на слова свои.

«Что делать мне в мире?» - спросил я в душе своей, но голос, пославший меня в мир, молчал. Тогда я спросил свою плоть: «Что делать мне в мире людей?» И услышал я голос плоти моей: «Жить».

Растерян я был и не знал куда идти. И увидел я деревья ухоженные, цветы, насажденные рукой человеческой, скамейку и пошел к цветам и деревьям и сел на скамейку. Удобно было сидеть на ней и цветы радовали глаз мой. К Господу Богу обратил свой взор, к нему открыл свою душу и ждал, когда Господь укажет мне путь и цель пути.

Остаток дня сидел и вечер пришел, сидел и ночь, до следующего утра сидел, а утром подошел ко мне человек и спросил, как власть имеющий: «Ты, старик, бомж?»

Я не понял его вопроса, но взором своим видел в душе его кипение страстей и желаний. Несчастный человек стоял возле меня и я открыл уста свои, чтобы сказать ему слова Господа, но Господь затворил уста мои, ибо не понял бы сей человек слов моих. Он спросил меня: «У тебя есть документы?».

И опять я не понял его. Тогда он дерзко и сильно взял меня за руку, и сказал: «Пройдемте в отделение».

Я пошел с ним, куда он повел меня. В отделении было много людей одетых как он и из разговоров понял, что это милиция, а люди, власть имеющие над другими людьми, милиционеры. Меня провели в душное каменное помещение и закрыли за мной железную дверь. Я остался один. Молился я Господу о вразумлении себя, ибо не знал, что мне делать. Огненный светильник над моей головой смущал меня. И тогда я покинул тело свое и вышел вон из помещения милиции, переполненного горем и ненавистью, потому что тяжело было там душе моей.

В духе своем я ходил по городу, как называли свое поселение люди. Заходил в дома и места, где торговали вещами и продуктами. Я слушал и понимал, и душа моя стонала и ныла. День и ночь и утро следующего дня я бродил по поселению в поисках радости и веселья, но не находил источников их.

Видел и слышал я смех и пение, но не душа смеялась и пела, а смеялись и пели тела людей, нашедшие источник своей радости. И видел я души людей, заросшие, почерневшие, сжатые паутиной страха, поскольку знали души, знанием тайным судьбу свою.

И вскричал я тогда: «Господи, Господи, что я для людей этих?» Но голос Господа не прозвучал во мне как обычно и не

знал я, что делать мне. В этот день вернулся я к телу своему и увидел, что лежит оно в гробу и люди волокут тело мое на кладбище. Волокут тайно, ибо в страхе пребывают, что погиб я в их отделении.

Тело мое было телом мне послушным и верным, и потому я не мог согласиться с решением этих людей, называющих себя милиционерами, похоронить тело. И встал я из деревянного ящика, куда они меня положили. Встал и сказал: «Пошто волочите меня? Что я вам сделал, люди, называющие себя милиционерами?»

И оставили они повозку, на которой везли и убежали, а я пошел. И пришел я на свое старое место, где росли цветы и была скамья, и сел там. И так сидел весь остаток дня и ночь, а утром к месту моего сидения пришла толпа людей, и один из толпы вышел и сказал мне: «Кто ты, восставший из мертвых?». Я поглядел на него и понял, что он знает о том, что меня волокли на кладбище. Удивился я сказанному и сказал: «Отчего говоришь, что восстал из мертвых, когда был жив?».

- Так все говорят, - ответил он.

- Не знаете, что говорите, ибо не я был мертв, а вы мертвы.

Ясное сказал, но удивились многие сказанному и спрашивали меня, отчего я считаю их мертвыми, если они живут?

- Тела живут ваши, это верно, но человек не есть тело. Тело человеческое приходит и уходит, как дым. Дымом живете вы.

И опять они не поняли ясного. И опять спрашивали меня, что есть жизнь, а что есть смерть.

- Тело человеческое, если оно не взнуздано душой, есть смерть, - сказал им, - а жизнь человеческая в душе его.

- Тогда, - спросили они, - кто ты? - словно не видели образа своего во мне, образа и подобия Господа нашего.

- Человек я, - ответил им, но они усомнились. Говорили разные слова обо мне. Слова бессмысленные, глупые, надуманные умом горделивым, вознесшимся в своей гордыне. И было мне предложено хлеб и вино и кров в доме говорившего со мною. Но я не пошел в дом его, ибо понял, что человек этот хочет выгоду иметь оттого, что я буду в доме его. Смешные вещи говорил он, стараясь убедить меня.

- Вам нужен кров и хлеб. Всю жизнь не просидишь на этой скамейке в сквере, - и даже угрожал. - Вас снова арестуют, как бомжа.

Но поняв, что я плохо понимаю о чем он говорит, принялся мне объяснять, что лица без документов, без крова и без средств к существованию именуются бомжами.

- Откуда ты знаешь, в чем я нуждаюсь? - спросил его внятно на языке его, но он и этого не понял и принялся убеждать меня, что все люди нуждаются в тепле и хлебе. Я ответил ему, что только те, кто служит своему телу, а мне довольно и того, что дает мне Господь. Опять он ничего не понял и надоел мне, поскольку видел я, что не света он ищет, а выгоды. И сказал я ему: «Иди и не грешь». Как сказал когда-то Сын Божий, но и этого он не понял. Душно мне было от толпы, обступившей меня, и встал я и пошел прочь, и пошли за мной некоторые. И шел я так, пока не вышел за пределы поселения и несколько человек шли за мной. И сказал я им: «Зачем вы идете за мной? Что я вам?»

И был ответ от них: «Идем, чтобы ты учил нас».

- Как же я буду учить вас, если вы погребены под телами вашими? Как мне учить вас, если помыслы ваши все о телах ваших?

И увидел я, что тела их немощны и оттого жаждут тела их силы жизни и радостей. И сказал я им, что не учения моего они хотят, что нет у меня учения, кроме того, о чем проповедано было Иисусом и пророками, а идут они за мной в на-

дежде, что исцелю недуги их.

И сказали они: «Истину говоришь ты. Так мы хотим».

Просили они у меня исцеления и тогда я сказал им: «За чем вы жаждете здоровья, если Господь наложил на вас руку свою? Разве не знаете, что немощью тела уберегает Господь избранных своих от еще большего греха? Разве не известно вам, что в здоровом теле больная душа? Разве мало вам того, что сделали вы по неправде своей?».

И еще говорил, но и эти ничего не поняли из сказанного, кроме одного, что я не целитель. И отстали они от меня, и пошел я дальше. И вот обернулся и вижу - один идет за мной. И сел я на то место, где стоял, и открыл Господу душу свою и был так до утра, а человек тот оставался около меня.

Утром спросил его: «Что тебе от меня надо?»

Он ответил: «Ничего. Только не прогоняй меня».

Я сказал: «Так и будет». И пошел дальше. И видел я, как вопит и хнычет его тело и требует пищи. В растерянности был я, не зная как поступить, ибо власть тела над человеком огромна и без помощи Господа не преодолевается. И сделал так, чтобы окрепла воля его.

И когда пришли мы в одно село, я сказал ему: «Пей и ешь, так как слаб ты и по слабости своей не перенесешь того, что могу я».

Спросил он меня: «Как ты можешь не есть и не пить и нужд человеческих не справлять? Откуда у тебя сила идти?»

- И ты не понял? А идешь за человеком, не зная, откуда у него сила.

- Я думаю, - сказал он, - что сила твоя от Господа и потому иду за тобой в тайной надежде, что научишь меня служению Господу.

- Умеешь ли ты обращаться к Господу в душе своей? - спросил его, хотя знал истину, но мне нужен был ответ его.

- Я ходил в храм и молился там, - сказал он.

- И плакал ли ты там в радости очищения души своей?

- Нет, - ответил он, и была в его словах истина, и не лукавил он предо мной по природе человеческой.

В том селе он ел и пил, а я смотрел и видел, что ест он без жадности и утоляет жажду свою вполовину того, что требует тело.

И вышли мы из того села, и шли. К вечеру сказал ему: «Возьми руку мою и стань рядом со мной на колени свои».

И сделал он по слову моему.

- Смотри, - сказал я, - видишь небо и мир, сотворенный Господом? Какого еще храма ищешь?

- Научи меня молитве своей, - сказал он. - И я помолюсь с тобой Господу Богу.

- Нет у меня молитвы для тебя, - сказал ему. - Ищи слова в душе своей и мысленно обращай их к Господу. Будет его благоволение и даст Он тебе слова молитвы твоей. И вознес я душу свою Господу, и взяла душа моя его душу, но каменная была душа человека сего многогрешного, и не смогла сила души моей оторвать душу его от земли. И спросил я в душе своей Господа: «Что мне этот человек?». И получил ответ: «То брат твой в грехе пребывающий, не оставляй его».

И стояли мы так с человеком тем до захода солнца и были слезы обильные на лице того человека. И сказал он: «Как легко стало на душе моей». Промолчал я тогда, потому что не нужны были слова.

Так ходил я по стране и бывал в городах, и были со мной случаи похожие на тот, когда меня арестовали милиционеры. Останавливался я в скверах и парках, и приходили ко мне власть имущие, и арестовывали тело мое. Но тот, кто ходил, со мной говорил им, что я отец ему. И показывал начальникам страж свои документы.

Когда же вокруг нас собирались люди и вопрошали, кто

я, он говорил им, что я - учитель его. Когда спрашивали: «Чему он учит? – отвечал, что я учу любви человеков к душе своей.

- Непонятное и несуразное излагаешь ты, - говорили они и многие уходили прочь.

И привел меня Господь в храм свой роскошный, высокий и богатый. И узнали там меня по делам моим, обступили и спрашивали меня люди в одеждах священнических.

- Кто ты? - спрашивали они, потому что были как человеки слепы. - Если ты, как говоришь, веришь в единого Господа Христа, Сына Божия, Единородного, рождённого от Отца прежде начала всех веков, как Свет от Света, как Бог истинный от Бога истинного, так и он рожден. Не сотворён единосущный Отцу и им же всегда был. Если ты веришь, что ради нас, людей и ради нашего спасения с небес сошел и, воплотившись от Духа Света и Марии Девы принял образ человеческий. Если ты веришь в Распятого за нас при Понтии Пилате и принявшего крестное страдание, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям. И вознесшегося на небеса, и севшего по праву руку Отца. Если веришь в Того, кто в предстоящие времена, во славе своей, будет судить живых и мертвых, то почему обходишь храмы стороной и не принимаешь святого причастия тела, и крови Христовой?

Так они спрашивали меня.

И отвечал я им, что принимаю причастие от Духа Святого. по его воле, когда он хочет причащать меня.

Но возмутились обступившие меня и сказали: «Ложное изрекают уста твои. Богохульствуешь ты в гордыне своей!»

- Так ли? - спросил я их. - Ведь сказано еще Иоанном, что придет тот, кто будет крестить Духом Святым?

- Уж не ты ли?! - вскричали многие.

- Не я, - ответил им, - а Иисус. Почему вы сомневаетесь в

том, что Господь может причащать человека Духом своим так, как сочтет нужным? Разве не говорил Иисус своим обвинителям, что Господь есть господин субботы, а не суббота госпожа Господа? С чего вы взяли, что я отвергаю таинство даров святых? Я говорю, что не в каждом храме вино и хлеб преображаются в плоть и кровь Христову.

- Что мелет! Что мелет твой язык нечестивый! – вскричали они. - Разве не почит Дух Святой в наших храмах?

- А разве я сказал это? Известны же вам слова Стефана и пророков: «Всевышний не в рукотворных храмах живет». И ещё говорит пророк: «Небо - престол Мой, и земля - подножие ног Моих». «Какой дом созиждите Мне, - говорит Господь, - или, какое место покоя Моего?»

И сказал я им, что там дух Божий, где праведник.

И опять они бранили меня и спрашивали: «По какому праву ты говоришь дерзости?»

Но не стал я пререкаться с ними и сказал я им, носящим одежды священничества: «Пусть тот, кто считает себя верным Господу, причастит меня и исповедует. Он узнает, есть ли во мне гордыня, о которой так много говорили языки ваши».

И стояли они в смущении. Был один из среды их, убеленный сединой схимонах и знал я, что чист он перед Господом, как могут быть чисты люди. И сказал я ему: «Отче, дашь ли ты мне кусить даров святых?»

И был ответ его: «Ты знаешь».

Очень удивились ответу его, кто нападал на меня.

- Что ты говоришь!?! - спрашивали его.

- Что сказал, - ответил он. - Оставьте этого человека, ибо не нам его судить, а Господу. Не церковь устанавливает законы для человека, а Господь.

Так он сказал и вышел, и ушел, откуда пришел. И я вышел из храма сего, и пошел своей дорогой.

Вечером окружили меня, люди власть имеющие, и сказали мне, что правитель страны желает, чтобы я предстал пред очи его. И спросил я: «С телом моим желает встретиться ваш господин или с духом моим?»

Не поняли они простого вопроса и потащили, поволокли тело мое в повозку, и увезли его, а тот человек, который сопровождал меня, бежал следом. Тогда вышел я из тела своего и пошел вслед за ним. Дотронулся до плеча его и спросил: «Куда и зачем бежишь?».

Остановился он на бегу своем посреди улицы шумной и пыльной, посреди улицы полной народа и спросил меня: «Кто ты, остановивший меня?».

И сказал я ему: «Я тот, за кем ты ходил все это время. Не беги, ибо я рядом с тобой пребываю».

И сел он в тени деревьев и сидел так, а я был с ним. И сказал он мне тогда: «Что будет с телом твоим?».

- Что тебя так волнует тело мое?

И тут вижу, подходит к нам человек и говорит: «Тебя видели вместе с тем стариком, которого арестовала милиция. Ты бежал вслед».

- Истинно так, - ответил он, - но в чем его и мое преступление?

Человек тот замялся и сказал: «Человек тот умер в машине, пока мы везли его».

- Отдайте тело мне, я схороню его, - сказал он.

- Что Вы знаете о том человеке? - спросил его страж.

- То, что интересуется власть, того я не знаю о нем.

- Говоришь ты загадками, а кто ты сам?

- Вот паспорт мой, - и он протянул ему книжицу.

Человек посмотрел паспорт и сказал: «Почему же ты ходишь вслед этому человеку, о котором говорят разные разности?»

- Потому, что мне хорошо подле него.

- Если ты скажешь, кто он, то я отдам тебе его тело, - сказал человек с кривыми мыслями и черной душой.

- Я сказал, что не знаю, кто он и откуда, и как его звать. Что ты хочешь еще?

- Я арестую тебя и допрошу, - пригрозил страж.

И увидел я, что это плохо кончится для того, кто ходил вслед меня, и сказал я тогда в ухо стражу так, что он слышал меня: «Оставь его. Он не сделал он ничего дурного, как делаешь ты в каждый час жизни своей».

Испугался страж слов моих, вскрикнул и упал у ног человека, ходящего вслед меня.

- Плохо ему! - крикнул тот и на зов его подошли люди и увезли страшавшего арестом. А я вернулся к телу своему, лежащему среди других тел в обширном помещении, и услышал я, что намерены люди в помещении этом разрезать тело моё, чтобы установить причину смерти моей.

И вернулся я в тело свое, находящееся в опасности. Встал я с ложа моего, на котором хотели разрезать тело мое, и сказал я: «Что оно для вас сделало, что жаждете разрезать его на части?».

И побежали они от меня с криками, а кто остался, побледнел и онемел. И ушел я из здания сего, облачив тело свое в одежды свои. И пришел я к тому, кто ходил вслед меня, и сказал я: «Вот я в облике тела моего».

И рад был тот и обнимал меня и плакал от радости. И почувствовал я тогда жажду тела своего и пил и ел вместе с ним по мере своей. И было это на третий месяц, когда я вышел из глубины лесов. И остановились мы с человеком тем в обширном парке и жили там несколько дней, и люди обходили нас стороной, спешащие по делам своим, по нужде тел своих.

И нашли, и пришли к нам снова люди, власть имущие, и сказали: «Высшее должностное лицо государства желает ви-

деть тебя, старик, в теле и духе».

И сказал им: «Вот я. Что же мешает ему увидеть меня?».

Смутились они и стали между собой совещаться и сказали мне, что не принято у них такое, чтобы сам президент ходил, а все ходят к нему. И сказал я им: «Кто же нуждается в ком?».

И опять они говорили между собой, а потом покинули нас, и понял я, что не дадут они покоя мне в городе этом. И ушел я из города и пошел в поле. И был в поле, пока не наступила осень и не пошел снег.

Сильно страдал человек, кто ходил со мной, и жалко мне стало его и сказал я ему: «Вон, видишь на взгорке стоит монастырь. Иди туда, постригись в монахи и усмирять плоть свою, доколе не станет она в твоей власти. Пропадешь со мной, ибо Господь не дает тебе должной силы по промыслу своему».

- Пойдем и ты со мной, - сказал он.

- Что мне там? - спросил его, но он не ответил мне как должно. И сказал я: «Разве не понял ты, что этого мне не нужно?».

Но человек сей, сказал, как человек: «Я привык к тебе, и мне будет не хватать тебя».

- Разве ты меня ухватил? - спросил я его. - Возьми в горсть ветер или воду, удержишь ли их в горсти своей? Вода просачивается в те места, где есть для нее место и так же дух мой приходит туда, где в нем есть нужда, по воле Господа. Не оставляю тебя, где бы я ни был и откуда бы ты не воззвал к душе моей. Если на то будет воля Господа, приду.

- Разве не сам ты волею своей ходишь по земле? - спросил он.

- Нет, - ответил ему, - не сам. Только грешит человек по воле своей, подчиняясь требованиям необузданного тела. Остальное в воле Господа нашего Иисуса Христа.

И еще сказал ему, прежде чем ушел он: «Пойдешь, куда я

послал тебя и помни, что посылаю тебя на поношение и унижение, на работу тяжкую, на обиды горькие, на суды скорые и неправые, на болезни и тяготы тела твоего. Мера их - в руке Господа, в промысле Божьем относительно тебя. Но не отступай! Это как путь в гору, чем дальше, тем круче и опаснее. Сорвешься и упадешь ниже того, где ты есть. В бездну упадешь. Держись. Нет в царство небесное пути, кроме указанного Христом. Даже язычников посещает благодать Божия и они идут тем же крестным путем, каждый по-своему. Дерзай!».

И ушел он по слову моему и так сделал, как я ему сказал. И пошел я дорогой своей, и где шел, там вид мой смущал людей и власть. И были мне обиды многие, и притеснения разные, и чувствовал я в себе самом, как истончается во мне благодать Божия и растет раздражение на людей, меня притесняющих...

И вот иду я и вижу: сидит на берегу реки юноша и горько плачет. Убивается сердце его, уязвленное и обманутое девушкой. И горе его огромно, неподдельно. Вижу, выются возле него бесы, толкаются, как мошкара перед ненастьем. И пьют бесы захлеб горе его, как комары кровь всяческого живого существа. В слепоте своей плачет юноша, как плачет слепой о потерянной дороге, не ведая, что оканчивается дорога его пропастью.

И говорит в себе самом юноша тот: «Зачем жить? Утоплюсь!».

И ликуют бесы от мыслей тех. Немеет душа его от страха перед мыслями теми и колеблется он. И вижу я, что испытывает его Господь, ибо избран сей юноша из среды людей промыслом Божиим. И отступил я, не решаясь вмешиваться в испытание. И вижу, чудным образом, зрением своим, что этот юноша никто иной, как я сам. И вижу я, что это не я стою, а ангел хранитель, посланный Господом каждому во крещение

его. Не своими глазами вижу, а глазами ангела вижу. И только понял я это, как исчезло разом видение и не уразумел я смысла его. И воззвал я к Господу Богу: «За что ослепил меня?!».

И дерзок был крик души моей и совершил я грех перед лицом Господа, как всякий смердящий. И уныние охватило меня на месте том, и взалкал я еды и питья, и тело мое ощутило холод пространства, а ступни ног моих остуду земную. И был мой второй грех хуже прежнего, и сел я на месте том, где стоял.

И сказал я в душе своей: «Не сойду с места сего, пока не вымолю у Господа прощения грехов своих». И открыл душу свою к Господу и сказал: «Вот я».

И сидел так ночь и день, превозмогая холод и вопли тела моего ожившего к жизни своей. И было мне искушение на месте том вдвое, втрое сильнее прежних. Видел я в мире этом место своё. Видел я, что мог бы остаток дней своих провести во славе и почете, улаживая прихоти тела своего. И так сладко показалось мне видение то, что потянулся мысленно к нему. И открыл мне Дьявол пути свои и видение одно соблазнительнее другого проплывали предо мною. И мучился я ими чрезвычайно. И дрогнула во мне сила веры моей, ибо попустил этому Господь. И стал я, как человек, не познавший Господа. Как человек, я был на месте том!

И вскочил я и побежал с места этого в страхе, что служение мое Господу было делом ума моего, отягченного обидами. Делом воли моей самочинной и самозваной! И впал я в безумие, и стал упрекать Господа. И было так. Прозревает человек в молчании одиночества, глубиной молитвенного сокрушения, но очищается он окончательно только в миру. Не все долги мои прошлой жизни моей оплачены были. Остался остаток самый горький и Господь воззвал ко мне в чаще лесной отдать этот остаток.

Не к исправлению мира призвал Господь, а к последнему искусу, самому страшному из всех. К славе мира сего! Ибо много грешил я в жизни прошлой жаждой известности и славы мирской. И вот Он дал мне, в руки мои возможность вознестись к этой славе.

- Учение создашь своё, - нашептывал Дьявол в ухо мое, и растревлялось сердце мое этим. - Стези выправишь человеческие в мире сем, ибо видишь ты, как покривились и скособочились церкви Христовы.

Ушел я в безумие свое от сего искушения. Увидела душа моя, что ослабел я и спасла самоё себя и суть мою сумасшествием тела моего. И разум, смущавший меня, угас. И поймали меня и увезли в дом скорбных духом. И пытали там тело моё, и мучили его, а потом оставили свои мучения.

Господь вернул мне разум на дни короткие, остатние. И вот знаю, что пришел мой час оставить прах тела своего земле, как гусеница оставляет свое тело куколке, прежде чем превратиться в бабочку. В бабочке есть образ и подобие умершей гусеницы, но раньше она питалась плотью листа, а сейчас нектаром, раньше она несла гибель, а сейчас, опыляя цветы, несет буйноцветие красоты. Охо-хо мне! Ибо не понимаю, зачем в эту красоту откладывает она яйца будущих гусениц! Догадываюсь, ибо не быть смертному свободным даже на пике своего духовного раскрепощения! Зачем, о Господи?! Верую в премудрость твою, но не могу уразуметь твои начала и концы! Но, да будет воля твоя, а не моя!

Людям же обступившим меня, говорю: путь свой оканчиваю. И по воле Господа нашего, в поучение тем, кто ищет путей к Господу, выводит моя старческая рука эти письмена.

Ухожу я слезно, на коленях своих прошу, прежде всего, своих гонителей и мучителей, всех кто раздражен на меня, кто ненавидит меня по праву и облыжно: «Простите мне, люди

жестокосердные, одержимые злом и ненавистью, что стал причиной невольною, по глупости своей или по гордыне сердца своего причиной вашей злобы и ненависти. В слезах умоляю вас простить меня с той глубиной искренности, с какой я прощаю вам. И тех прошу, кто не знает меня: простите мне, люди, за дела жизни моей».

И у Господа прошу: «Покаяния двери открой мне, Человеколюбче!».

* * *

- Ну и что мы будем делать с этим сочинением сумасшедшего? - спросил мужчина в белом халате, затягиваясь сигаретой. Напротив него в кожаном кресле сидел невзрачного вида человек в вельветовом костюме и парусиновых туфлях.

- Вы продолжаете считать его сумасшедшим, профессор? - спросил он и отмахнулся от дыма.

- Э, батенька мой, поработали бы Вы с мое в практической психиатрии, то не такое бы увидели и не такие сочинения почитали бы, - сказал мужчина, складывая в стопки листки бумаги. - Вы господа-теоретики, а мы, так сказать, «черная кость»... Надо сказать, в чем-то Ломброзо был прав: психопатические, маниакальные состояния дают потрясающую картину гениальности, - профессор был в годах, поджар и имел взгляд острый, пронзающий. Когда-то, в молодости, ему прочили карьеру эстрадного артиста-гипнотизера, но судьба решила по-своему.

- Все, дорогой Георгий Павлович, - обратился он к сидящему напротив его мужчине тех же лет. - Все! Дело можно сдать в архив, ну, и сочинение это туда же присовокупить...

На этом он чуть запнулся, глянул на невзрачного и сказал:

- Впрочем, - это ваша идея дать ему бумагу и авторучку,

так что смотрите...

- Если вы, Василий Петрович, не возражаете, то я заберу, как вы изволили сказать, это сочинение себе.

- Как пожелаете, - профессор вытащил еще одну сигарету и отошел к окну. - Скажите, если не секрет, зачем оно вам?

- У меня есть знакомый священник, хочу показать ему. Как никак тут речь идет о делах веры.

- И что же? - с любопытством спросил тот, кого звали Василий Петрович. - Вы, простите меня, что? В церковь ходите?

И помедлив чуть, махнул рукой:

- Ладно, ладно! Не отвечайте. Это нынче модно стало в церковь ходить. Раньше правительство в Большой театр ходило, а нынче в храмы... Ну и мы, следом...

Наступила тягостная тишина в кабинете. Собеседники молчали. Василий Петрович попыхивал сигаретой, стоя у раскрытого окна.

- Н-да! - наконец сказал он и повернулся всем корпусом к собеседнику. - Разумеется, коллега, есть тайна в том, что человек, умерщвляя свое тело, приобретает над ним неслыханную власть, но, согласитесь, требования положительной жизни; человек все-таки социальное существо, а не духовное...

- Дорогой Василий Петрович, я ведь тоже учен. Как-то, знаете, неловко... - он потянулся к столу, осторожно взял со стола листки бумаги, сложил их в старомодный портфель. - Если позволите, то еще есть одна просьба. Я хочу вас просить об одном одолжении: пусть тело умершего полежит день-два в морге.

- Неужели вы верите в эти бредни о воскресении из мертвых? - удивился профессор. - Ну, знаете, не ожидал! Удивили, батенька мой! Вы, человек, так много сделавший в науке о человеке?

Но собеседник его промолчал. Василий Петрович оби-

девшись, перешел на деловой тон:

Воля ваша, если вы на этом настаиваете...

* * *

На третий день после разговора в кабинете главного врача психолечебницы в местном кафедральном соборе состоялась панихида по усопшему. Священноначалие было удивлено тем, что отслужить службу взялся известный схимонах Варсавий.

Еще памятна была всем встреча со странствующем аскетом и странная позиция старца, не осудившего, как должно, гордыню пришедшего в храм. Да и само появление усопшего в кафедральном соборе смущало души священноначалия. Кто он? Откуда? Только авторитет старца и его слезные просьбы смирили священноначалие и оно позволило ему отслужить панихиду.

- Пусть служит, - сказал настоятель храма.

К удивлению присутствующих на панихиде, схимонах Варсавий перед началом службы встал на колени перед гробом усопшего и сказал: «Помяни имя мое, како предстанешь пред Господа».

И показалось, что некий голос, как дуновение легкого ветра, прошел по собору и поколебал огни свечей. И говорят, что явственно слышали: «Имя твое по многим страданиям твоим в руке Господа. И мне отпусти грехи мои».

Погребли тело в освященной земле и память о человеке том исчезла из среды людей. Правда, слышал я, что на могилу его приходят люди и получают там исцеление, но не телесное как обычно, а духовное. Впрочем, сам я не был там и пишу эти, окончательные строки с чужих слов.

Сам же пребываю в растерянности и недоумении с той самой поры, как мне, через десятые руки, попала папка с рукописным текстом, озаглавленная «Житие некого странника».

2001-2003 годы.

ЕСЛИ В ДОМЕ ТЕРЯЮТСЯ НОЖНИЦЫ.

- Почему в этом доме теряются ножницы? Я не помню, чтобы потерялась хотя бы иголка или булавка, но ножницы!..

Муж отшвырнул в сторону стул и рванул на себя ящик комода.

- Вот, только вчера я купил в галантерее ножницы, положил сюда и где они?

Он выразительно поглядел на жену.

- Ты надо мной издеваешься что ли? Ни ногти подстричь, ни бумагу разрезать... Почему никуда не деваются ножницы, которые ты кладешь под коврик у входной двери? Они уже проржавели, и вот - не теряются! Сколько бы я не покупал ножниц, а беру их чуть ли ни с каждой полочки, они исчезают, как, как, как черте знает что! Анна, ты меня слышишь?

Его жена Анна, худая женщина с невыразительным меланхолическим лицом сидела в кресле и вязала годовалому сыну шапочку. Обращение мужа «Анна!» вернуло её из каких-то грёз в реальность. И если бы муж начал свой монолог о ножницах с обращения к ней: «Анна! Почему в этом доме...» - и так далее, то, наверное она поняла бы, о чем шла речь, но жена услышала только обращение к себе: «Анна!» - и непонимающе уставилась на мужа.

После рождения сына её словно подменили, она ушла в себя, замкнулась и даже в постели была ко всему безучастно-покорная. Не раз в сердцах он говорил: «Тебя словно из гроба подняли, как в тех книжках о культе Вуду. Ты - зомби!»

Муж опять повторил ранее сказанное:

- Я говорю тебе, что нет ножниц, которые я купил вчера и положил вот в этот комод, - он выразительно похлопал по нему. - Вот сюда я их положил не позже чем вчера вечером, а сегодня их уже нет и это, заметь, не первый уже раз. Почему в доме исчезают ножницы и только ножницы, почему не ножи,

вилки, тарелки, почему не теряются мои запонки, очки и даже канцелярские скрепки, которым сам Бог повелел теряться, так нет же! Теряются только ножницы!

Жена смотрела на мужа так, как будто он оторвал её от какого-то очень важного дела по существу пустяку. От этого осуждающего взгляда, муж еще больше взбеленился, что называется, пошел в разнос.

- Я же не папуас, в конце-концов, чтобы ногти на руках и ногах зубами изгрызать? Если в доме теряются только ножницы, то к чему бы это?

Жена положила вязание себе на колени и вздохнула глубоко-глубоко, словно тяжеленный камень с души скатила и снова посмотрела на мужа укоризненно, будто осуждала за беспричинную вспышку гнева.

- Ну чего ты молчишь и вздыхаешь, как овца, перед тем, как её зарезать? Я тебя спрашиваю, куда из дома деваются ножницы, а ты вздыхаешь, словно перед концом света.

Наконец, Анна произнесла фразу, которая еще сильнее возмутила мужа:

- Если в доме теряются ножницы, то это непременно к чему-то.

- Вот и поговори с такой чукчей! - вскричал муж. - Легче вот с этой стеной поговорить, чем с тобой. Я ножниц не накупаюсь, а она, вишь ты, спокойна, как афинская статуя.

- С чего ты взял, что я спокойна? - сказала жена и встала с кресла, но не затем чтобы помочь мужу найти ножницы, а просто ушла в детскую, где спал малыш. Муж пошел вслед за ней и хотел в детской продолжить вопросы, но жена, приложила палец к губам и сказала шепотом:

- Т-и-ш-ш-ш...

Поправила одеяльце на малыше и вышла в коридор, прикрыв за собой дверь. Потом, обернувшись к мужу, сказала

каким-то будничным и оттого прозвучавшим жутковато в этой накаленной атмосфере, голосом:

- Это были последние ножницы, которые ты потерял.

Сказала и... ткнула сухеньким кулачком ему в грудь. Толкнула больно.

- Что ты этим хочешь сказать? - спросил её муж, но Анна не ответила и прошла на кухню, где занялась мытьем посуды, стараясь не греметь ею. Обескураженный таким поведением, муж постоял, постоял в дверях кухни, да и вышел в зал, где сел в то же кресло, где до этого сидела Анна.

«Она очень изменилась в последнее время, очень! - подумал он. - Стала говорить загадками. Но в чем суть этих загадок? Взять хотя бы эту: «Это были последние ножницы, которые Ты потерял». Чёрт! Как она больно ткнула меня в грудь!».

Он даже потерял это место, толчок в грудь и на самом деле был очень болезненным.

«И вот ведь напасть! - раздражено думал муж. - В больницу не выгонишь! А ведь самое то психиатру показать или невропатологу».

Он поглядел в окно. Багровое зарево заката освещало крыши высотных зданий и между ними уже вспухала луна, лимонно-желтая и неправдоподобно большая. Ему стало зябко и это несмотря на духоту, которая царила в комнате даже с настезью открытыми окнами, июль - самый жаркий месяц.

Что-то тревожное, нехорошее подступало к нему и он чувствовал это всем своим телом и особенно затылком. Он обернулся и в этот момент в четверть оборота его головы к жене лезвие ножниц пробило подзатылочную кость, и вошло в мозг. Удар был настолько силен, что пятнадцать сантиметров легированной стали оказались в черепе несчастного мужа.

Анна, а это была Анна, тихонько хихикнула: «Если в доме теряются ножницы это непременно к чему-то». Она

открыла дверь детской комнаты, вытащила из под кровати увесистый сверток и вернулась в зал, где в кресле, с ножницами в затылке, лежал мертвый муж. Она положила сверток на пол, развернула его - там были ножницы. Она выложила их крестом у ног мужа. Управившись с этим делом, Анна взяла другое кресло, поставила его напротив тела, уселась в него и уснула. Спала она крепко, без сновидений, пока её не разбудил плач малыша. Она сносила его на горшок, дала попить, а потом позвонила в милицию. Сказала всего три слова, способных потрясти Вселенную, но на самом деле никого не потрясшие: «Приезжайте я убила мужа».

* * *

Редактор отложил в сторону рукопись и с сожалением поглядел на молодого человека, который нервно мял в руках кепку. Затем выдвинул из письменного стола ящик, достал сигарету, размял её и крепко сжал губами. Зажигалки, как всегда, не оказалось на месте. Он неторопливо залез одной рукой в карман брюк, потом другой рукой, но зажигалки не было. Редактор полуобернулся в кресле и стал искать зажигалку в накинутах на спинку кресла пиджаке, но зажигалки не было и там.

«Чертова зажигалка! - подумал редактор. - Она теряется именно тогда, когда мне особо хочется покурить, вот как сейчас, - раздражение его перенеслось на посетителя: Ходят здесь... Гении. Толстые, черт бы их побрал!»

Редактор был старой, советской закваски, когда к творческому «самотеку» относились, хоть и с раздражением, но все-таки выслушивали авторов и даже снисходили до поучений.

Эта старомодная привычка вызывала усмешку у молодых да ранних коллег, перенявших обычай колониальных империй в отношении к «людям труда».

Рассказ, если это можно было назвать рассказом, редактору не понравился, но он никак не мог, вот так, сходу найти точных и убедительных слов для автора, а редактор любил выражать свои суждения в четких и ясных фразах, но - чертова зажигалка!

Он нажал на кнопку вызова секретарши и в дверях явилось очаровательное голубоглазое создание, собственно говоря, о нем можно было бы сказать коротко - явились глаза! Правда, автор не видел этих глаз, он видел только столешницу и на ней два машинописных листка своего рассказа, впрочем, от того, что автор ничего не видел, кроме своей рукописи, вовсе не означало, что и не было ничего кроме неё. Для редактора, например, явление глаз было куда реальнее, чем даже присутствие Автора, но это и понятно, поскольку и был влюблен в эти глаза.

- Иван Ильич, вы меня вызывали?

Иван Ильич Лютиков, он же редактор, шеф и просто Ванечка для своей еще не старой, но какой-то уже подвядшей жены, на мгновение забыл, зачем вызвал секретаршу и сейчас просто любовался ее глазами, ничего другого он просто не замечал, а все остальное так же соответствовало её глазам и требовало, чтобы и остальное заметили и бюст, и бедра, и длинные точеные ножки, и даже маленький непокорный локон возле аккуратного слепого ушка.

Как было сказано, он любил её, но робость, дьявольская робость, столь нелепая в его возрасте по отношению к женщинам и особенно сковывающая его при появлении Зины, секретаршу звали Зиной, становилась пугающей. Иван Ильич злился на себя, называл «размазней», «бабой» и давал себе уже в сотый раз обещание, что как-нибудь, вот так, вызовет Зину к себе и все откровенно скажет. Нет, лучше даже не скажет, а даст понять, ведь это можно, «дать понять», не говоря

глупых слов, которые только запутывают и усложняют все дело. И тут редактор вспомнил, зачем вызвал секретаршу:

- Зиночка, ты не видела моей зажигалки?»

- Иван Ильич! Да что же это такое? Я ведь только сегодня утром купила для вас зажигалку и положила её в правый ящик вашего стола. И вечно у вас проблема с зажигалками! Вы хорошо там посмотрели?

- Да вот, убедись сама.

Зина подошла к редакторскому столу, обошла автора и слегка наклонилась над сидящим редактором. На него пахнул аромат дорогих духов и он ощутил, или ему это показалось, что он ощутил, как легко и свободно пульсирует кровь в упругом и горячем теле. Зина перебрала канцелярские принадлежности в одном ящике стола, обошла редактора и открыла второй ящик стола, даже заглянула в пачку «Мальборо», но зажигалки нигде не было. И все это время, пока Зина крутилась возле него, словно неведомое энергетическое поле окружало Ивана Ильича и он страстно, необъяснимо страстно хотел, чтобы оно не только не исчезало, но и наоборот, полностью вовлекло в себя и поглотило насовсем.

Зажигалка исчезла и даже усердие Зины не могло изменить положение дел.

- Ну, вот что, Иван Ильич! Я вам оставлю свою зажигалку, но вы должны понять, если у вас теряются зажигалки, то это непременно к чему-то.

При этих словах редактор вздрогнул и то сладкое, обволакивающее оцепенение, которое охватило его от присутствия Зины, точнее, от тела Зины, вмиг отпустило и он увидел, что перед ним сидит автор и эта фраза, в точности повторяет фразу жены в рассказе автора, перед убийством мужа.

- Чертовщина какая-то! - подумал редактор, прикуривая от изящной зажигалки секретарши. - Это она на меня так

подействовала, ведь известно, как впечатлительны и глупы влюбленные, особенно когда им далеко за сорок. Да ведь нужно что-то сказать этому молодому человеку.

- Ну-с, - он взял рукопись в руки, - вы называете это рассказом, но у каждого литературного жанра есть, так сказать, свои законы, то, что вы принесли, разумеется, к рассказу имеет такое же отношение, как степной орел имеет отношение к созвездию «Орла». Если говорить конкретно, так сказать, по теме, то в рассказе нет главного - фабулы, нет сюжета. Герои, с позволения сказать, рассказа, не люди, а абстрактные схемы, мотивы их действий не понятны, причинно-следственные связи не вскрыты. Спрашивается, зачем жена постоянно ворует ножницы и складывает их не где-нибудь, а под кроватью своего ребенка? Она что, психически больная или сектантка какая-то? Должна быть определенность, четкость, ясность, а её нет. Вы, молодой человек, не с бухты-барухты убили одного и подвели под статью другого. Во имя чего? И уж совсем нелепой представляется мне вот это, «выкладывание» из ножниц креста у ног мертвого мужа? Что сие означает? Ритуал какой-то саганинской церкви, или «художественное творчество» психически больного человека? Все спонтанно, не мотивировано и оттого нежизненно! Более того, психологически неверно! Преступник, какой бы сильной волей он не обладал, не может, не способен он на это – спокойно спать рядом с убитым! Он и часа не проведет с убиенным.

Редактор входил в форму и речь его приобретала динамизм и ту убедительную силу логики, которой он всегда гордился.

- Сюжеты нужно брать из жизни, а не высасывать их из пальца, и тогда вам не придется выдумывать никаких ножниц! Да и что за нелепость - убийство лезвием ножниц? Если говорить откровенно, то убить удобнее, логичнее, что ли, было бы кухонным ножом. Кстати говоря, подавляющее большин

ство семейных трагедий разыгрывается именно на кухне и при помощи обыкновенных кухонных принадлежностей.

Он потушил сигарету, размяв её в пепельнице и потянулся:

- Нет, так, молодой человек, не пойдет! Сходите в милицию, установите товарищеские отношения с криминальным отделом и там вам дадут подлинную историю, в которой и мотивация действий и логика соответствуют реальной жизни и реальной человеческой психологии. Вот так. О стиле говорить преждевременно, поскольку вы не справились с самой формой рассказа, так что наш журнал, серьезный журнал, в котором печатаются мастера рассказа, не может вам ничем помочь. Если Вы сумеете выстроить рассказ на основе конкретного факта, то, что ж, приходите, милости просим.

Когда автор ушел, мысли редактора вернулись к Зине и он твердо решил: «Сегодня или никогда!» Было одиннадцать часов дня, когда Иван Ильич вышел в приемную.

- Зина, ты, кажется, вчера говорила, что тебе нужно сходить на примерку к портнихе?

- Да, Иван Ильич! Какой вы внимательный!

Редактор смутился от комплимента, но продолжал:

- Зина, вы можете быть свободной до пяти... нет, до шести часов, а после шести вы мне будете нужны.

- Да зачем же, я вам нужна после работы, Иван Ильич?!

- Пусть это останется для вас загадкой, тайной, если хотите.

Волнуясь, как никогда, Иван Ильич сбивчиво произнес:

-Что, скажем, если я хочу Вам сделать маленький сюрприз?

- О, вы такой загадочный! Такой, такой... - Зина не могла сразу подобрать слова и бухнула первое попавшее на ум. - Влюбленный!

Этим она еще больше смутила и обескуражила редактора: «Поняла? Не догадалась? Или наоборот, догадалась?» - подумал он, но Зина тут же развеяла его сомнения:

- Вы хотите, чтобы та женщина, ну та... поревновала вас, увидев меня с вами? Ведь я догадалась, догадалась я, Иван Ильич? О, вы все, мужчины, немного шалунишки!

Зина говорила и быстро собирала в сумочку свои принадлежности. Ивану Ильичу было обидно, что она подумала о другой женщине, а не о себе. «Вот вам и хваленая женская проницательность, - подумал Иван Ильич. Зина, уже в дверях, почти на ходу, сказала:

- Для Вас, Иван Ильич, я одену свое новое платье, сегодняшнее платье.

Зина ушла, а Иван Ильич обдумывал предстоящее объяснение с ней и то, что Зина не воспринимала его, не видела в нём мужчины, задевала больше всего. Когда в пятом часу он возвращался в редакцию в служебной машине, нагруженный различной снедью, а в кармане коробочка с золотым колье с маленьким, но подлинным бриллиантом, в его душе было такое смятение, которое он не испытывал, когда шел на первое своё свидание. После этого были и были женщины, но вот это, нынешнее состояние его было пугающе новым. В сущности, он боялся признаться себе, что причиной его волнения, этой неестественной возбужденности, был страх: «А вдруг она откажет? Да и не просто откажет, а высмеет грубо, безжалостно: «Ты чего, козел? Свежатишки захотел?» Или что-то в этом роде. Современная молодежь груба и бесцеремонна».

И уже в совсем удрученном состоянии накрывал гостевой стол в комнате отдыха, что была смежной с кабинетом. Вход туда прикрывал книжный шкаф, хитроумный механизм поворачивал его вокруг оси, открывая комнату. В советское время, когда создавалось это маленькое чудо техники, редакторы были такими же людьми, как и нынешние и ничто человеческое им не было чуждо, но это, человеческое, пытались скрыть от посторонних глаз, в том числе и при помощи вот таких

потаенных комнат отдыха.

Иван Ильич еще раз внимательно оглядел накрытый стол и взгляд его задержался на большом букете роз. Очнувшись от удушающих объятий целлофана, освеженные холодной водой, они источали сильный и возбуждающий аромат, и Ивану Ильичу пришла в голову некогда прочитанная им статья о некрофилии, в которой некрофил говорил о том, что женский труп в первые часы после смерти источает очень тонкий, зовущий мужчину запах, перед которым устоять невозможно. Особенно, если женщина была молода и красива. От этой мысли Иван Ильич содрогнулся и даже вполголоса произнес:

- Мерзость!

Он вышел в кабинет и, нажав на рычаг под полом, выполненный в виде паркетной дощечки, вернул книжный шкаф на место. Он пошарил в карманах, ища зажигалку, которую купил накануне, но её не оказалось на месте. И опять отчего-то ему вспомнился автор и его никчемный рассказ о том, как жена крала ножницы, а потом убила мужа. Этот дурацкий рассказ, а также грызущее беспокойство, что Зина ему откажет и вечная проблема с зажигалками вконец расстроили редактора. В поисках зажигалки он вытащил из внутреннего кармана пиджака невесть как и зачем попавшийся шелковый шнурок. Иван Ильич глянул на него мельком и какая-то, случайно залетевшая мысль, словно тень, скользнула по сознанию, но не оставив там видимого следа, исчезла.

Он посмотрел на часы, до шести оставалось четверть часа. Иван Ильич вышел из кабинета в коридор редакции и, не отдавая отчета в том, что делает, подергал ручки всех десяти кабинетов редакции, они, как и полагалось в это время, были закрыты. Он прошел по коридору до лифта, но и там никого не было, глянул вниз по лестничной клетке, она была на протяжении всех девяти этажей пустынной. В это время учрежде-

ния, расположенные в здании, закрывали свои выходы на лестничные клетки решётчатыми дверями из различных металлоконструкций. Попасть в здание можно было только пройдя через вахту и набрав в лифте код этажа. Зачем, с какой целью он делал этот осмотр, Иван Ильич не знал, к тому же то, что он увидел, было ему известно давным-давно и ничего нового он из этого спонтанного обхода, не получил.

Когда редактор вернулся, пробило шесть часов и тут же Иван Ильич услышал дробный цокоток туфель в коридоре. Сердце его оборвалось и он отчего-то полез в карман и сжал там в кулаке шелковый шнурок. И опять та же самая мысль, скорее тень мысли скользнула в голове редактора и исчезла.

Зина влетела в редакторский кабинет, полная той неумемной энергией жизни, которая свойственна молодости. Она сияла, нет, она просвечивалась насквозь импульсами душевных и чувственных флюидов. Платье, её сегодняшнее платье, вечернее платье в переливчатой дымке тончайшего шелка, было тем платьем, которое шло к её глазам и при этом не оскорбляло, отнюдь нет, а наоборот подчеркивало великолепие тела. Редактор невольно сглотнул застрявший комочек в горле.

- Как ты, великолепна, как ты прекрасна, - он не сказал, а выдохнул из себя эти слова и отчего-то в голове тут же крунулись строчки из песни: «За те глаза, тебя б сожгли на площади, потому что это колдовство». Но на самом деле, проговаривалось иначе: «За те глаза я сжег тебя на площади»... И в это ему верилось,... Верилось и пугало редактора.

- Вам нравится? - смеясь, спросила Зина, поворачиваясь то так, то эдак перед редактором. - Как видите, я в полном вооружении, чтобы вступить в сражение за ваши интересы. Так куда мы идем? - спросила Зина и добавила:

- Где обитает это безжалостное создание, которое покорило Ваше сердце?

Она, кажется, не замечала состояние Ивана Ильича, увлеченная собой и предстоящим «сражением», в которых женщины с рождения понимают толк, и, более того, Иван Ильич ей был нужен, как нужным бывает для женщины зеркало, ну, может, чуть больше, ведь зеркало не может восхищаться.

Наконец, Иван Ильич собрался с духом и каким-то упавшим, севшим голосом произнес:

- Мы, собственно, ни куда не идем.

Зина перестала выхаживать по кабинету, как на подиуме, демонстрируя не только добротность платья, но и собственного тела и, сникнув сразу, села в кресло, где совсем недавно, часов восемь тому назад, сидел автор.

- Как не пойдём? Что же вы, Иван Ильич, мне голову морочили?

- Понимаешь, Зина, мне нужно было переговорить с тобой об одном... одном важном деле...

Но его перебила Зина, не дав договорить:

- Неужели у вас не хватает рабочего времени, чтобы переговорить о самых важных делах? Неужели для этого нужно, как, как... - она задышалась от возмущения, - как какому-то глупому школьнику разыгрывать неуместные в наших отношениях (она подчеркнула всей силой своей интонации это слово - «не уместные»!) вечерние свидания и где? В служебном кабинете?

Иван Ильич замер, судорожно сжимая в кулаке шнурок, и не понимал зачем, почему и даже с какой целью он приближается к Зине и, видимо, приближается не просто так, а с определенным намерением. Девушка злобно отвернулась от него и стала смотреть на книжный шкаф, подчеркивая, тем самым, всю глубину своего презрения к Ивану Ильичу. Когда шелковый шнурок захлестнул горло и конвульсии перестали сотрясать её тело, только тогда Иван Ильич понял, зачем и с какой

целью он подходил к Зине и что за мысль дважды посещала его накануне. И отчего он так долго выбирал в галантерейном магазине этот шнурок, абсолютно не понимая, зачем он ему нужен, но отчего-то все-таки нужный ему.

Смерть нисколько не обезобразила её лицо, а небольшую струйку крови, смешанную с пеной, Иван Ильич осторожно снял с губ. Он еще не вполне понимал что произошло. Он пока еще думал (странно, что думал!) будто только заставил её прекратить эти жалиющие, бьющие в самое сердце слова и теперь она мягкая, покорная, согласная только ждет того, чтобы Иван Ильич взял её на руки и отнес на широкую кушетку в комнату отдыха. Иван Ильич так и сделал, внес её в комнату, затопленную ароматом оживающих роз. Он положил её на кушетку, затем взял атласную подушечку и пристроил её голову так, как ему казалось, она должна была бы лежать в естественном состоянии. Впрочем, он и не думал о «естественности» поскольку в данный момент не считал её мертвой, а только не возражающей ему, Ивану Ильичу.

Он открыл шампанское и налил два бокала, потом вытащил из коробочки кольцо и аккуратно (чтобы не разбудить!) надел ей на шею. Бриллиант поймал свет люстры и крохотной искоркой ответил. Иван Ильич усмехнулся, подарок должен был понравиться Зине, он просто не мог ей не понравиться. Там, в магазине, он каким-то чудом, чутьем угадал, что этот бриллиант как раз подойдет к платью. «к сегодняшнему платью», как сказала Зина. За всю ночь Иван Ильич больше не притронулся к Зине, зачем? Она спит и согласна с ним, она уже его и навсегда, и ничья больше.

Редактор пил шампанское и чем больше пил, тем яснее и отчетливее понимал, что он натворил. Когда электронные, напольные часы пробили семь, Иван Ильич позвонил в милицию.

- И вы, молодой человек, полагаете, что я должен вкладывать свои деньги в издание вот этой, чепухи? Хочу вам заметить, что я деньги, в отличие от вас, не прошу, а зарабатываю.

Автор сидел, понурился, его последнюю надежду на издание рассказа местный меценат Тимофей Абрамович Пузановский окончательно похоронил. Если уж и он отказал, значит, действительно, его рассказ и не рассказ вовсе, а так невесть что.

- Ну посудите сами, я даю деньги на издание различных авторских книжек, не без задней мысли, конечно, не буду скрывать, мне нужна реклама и я её размещаю где-нибудь на обложке или внутри книжки, но реклама работает только тогда, когда её покупают, то есть книжку покупают. А кто возьмет вашу? Что за нелепая мысль пришла вам в голову, будто шеф, так сказать, ГОЛОВА фирмы станет убивать свою секретаршу от того, что захотел её трахнуть?

Тимофей Абрамович рассмеялся сытным и густым смехом:

- Да он только кивнет и она тут же начнет в плен сдаваться, ногами. Ни черта не знаете вы, молодежь, реальной жизни! А в ней все просто и прозаично, как в букваре.

Он принялся что-то искать в ящиках стола, но, встретившись взглядом с автором, продолжил:

- Да, у вас есть там очень занятный штришок, который бы мог оживить ваш рассказ, я имею в виду некрофилию... Черт! Вечно куда-то запропащиваются сигареты! Алексей! Где мои сигареты?

В кабинет вошел секретарь:

- Тимофей Абрамович, я вам вот только что приносил пачку, поищите где-нибудь у себя в карманах.

- Ты вот что, советы мне давать потом будешь, мне сигареты нужны.

Через минуту вернулся секретарь и положил на стол пачку сигарет «Кэмел». Тимофей Абрамович закурил:

- Так на чем мы остановились? На некрофилии. Вот я и говорю, что намечалось нечто интересное, такое, что захватило бы читателя, увлекло, а в итоге что же? Всю ночь просидел? Неумно! Ну, ладно, в первом варианте «ножницы» еще как-то сработали, не очень, но сработали, а во втором? Причем здесь зажигалка? Чепуха какая-то. У меня вот сигареты постоянно теряются, так что из того? От никотина, что ли, сдохну? Не сдохну! Я витамины жру, как лошадь! Нет, вот если бы ты описал половой акт с трупом, тогда да! Художественно и верно, по жизни, а так... Мелко, мелко и неактуально. Да и что же за окончания такие у тебя: «Позвонил в милицию». Глупо! Убийцы, как правило, стараются замести свои следы, а тут?.. Он должен был расчленить труп, вот ведь где вся соль! Читатель бы холодел от страха! Кровь, кровь, кровь! Нет, нет читатели даже в руки не возьмут такую книжку.

Автор с ужасом смотрел, как Тимофей Абрамович снова ищет сигареты и не может их найти. Он, не говоря ни слова, схватил со стола рукопись, выбежал из кабинета и всю дорогу до городской окраины, где в бревенчатом домике жил автор, эта рукопись обжигала его тело, даже сквозь ткань пиджака и рубашки. Не раздеваясь, он пробежал на кухню, где мать готовила обед, и открыл дверцу печной топки. Мать тревожно и недоуменно смотрела на сына. Он, чертыхаясь, путаясь в складках пиджака, куда засунул рукопись, вытащил её и запихал в печь. Пламя змейками охватила бумагу, но рукописи, как известно, не горят, даже в том случае, если от них остается только горстка пепла.

В это время, в пятом часу пополудни секретарь Алексей принес очередную, не вскрытую пачку сигарет Тимофею Абрамовичу Пузановскому и на шестом этаже прогремел взрыв.

Через трое суток состоялись похороны почетного гражданина города, мецената и самого богатого человека в области. Автор стоял на кладбище, в самом конце похоронной процессии и что-то шептал своими бледными, бескровными губами. Кажется, он повторял одну единственную фразу, не завершая её до конца: «Если в доме теряются ножницы...».

1999 год.

ВАСЯТКА.

Пятилетний Васятка выскочил на пригорок и заплясал на большой плите черного камня. От мерзлой земли и снега ступни ног свело. До этого траверза, идущего рядом с железнодорожным полотном, мальчонка скакал, как заяц от проталинки до проталинки, а то и по щиколотку проваливаясь в ноздреватый, рыхлый снег.

Подошвы Васятки за зиму стали тонкими, нежными и ледышки, которые попадались в снегу, вызывали боль, но Васятка на боль не обращал внимания. Если на все обращать внимание, то будешь сидеть с утра до ночи на русской печи, а русская печь надоела ему за долгую зиму.

Большими черными глыбами камня, было выложено основание железнодорожного моста через речушку Базанчу. Васятка помнил прошлую весну, когда «взрывали заторы» потому, что жил на берегу этой речки и взметнувшиеся к небу фонтаны льда, падали на тесовую крышу его избы, а глыбы льда долго таяли в ограде и огороде. Взрывы бухали так, что закладывало уши, но все равно было интересно и Васятка, предоставленный сам себе, смотрел, как зывали лед, сидя на пороге бани, пока ледяная глыба не плюхнулась у его ног.

Камень был теплым, но не очень. О том, что «черные камни» бывают теплыми и даже горячими - это Васятка знал еще по опыту прошлого лета. На этих камнях было хорошо греть-

ся, накупавшись в холодной горной речушке, Базанче, или в Мундыбаше, потому, что мост, хотя, и сделан через Базанчу, но Мундыбаш протекал рядом в двадцати метрах от него.

Летом, в этих камнях жили большие зеленые ящерицы, хотя и мелких, серо-черных было полно. Взрослые мальчишки ловили их, но только если ящерку поймать за хвост, то хвост отрывается и смешно дрыгается, словно хочет догнать ящерку, но у хвоста нет глаз и он не знает, куда бежать. Без глаз ни куда не побежишь - это Васятка знал точно, потому что видел слепых на железнодорожной станции. Они ни куда не бежали, а только сидели и просили хлебушка. Васятка и сам не прочь был пожевать хлебушек, только его в доме не было, а была вареная картошка.

А вот толстые змиюки-гадюки, те ползли из болот на железнодорожную насыпь погреться и потому мама боялась, что они могут ужалить Васятку. Зря боялась; дедушка сказал внуку «заветное слово», которое ни кому, ни кому нельзя «сказывать» и гадюки только устрашающе шипели на мальчонка, когда он нечаянно подходил к ним близко.

Только это слово нужно говорить, когда приходишь к «гадючьему дому», потому что в «заветных словах» так и сказано, что «я иду к вашему дому». А дом у них везде и потому дедушка сказал, чтобы он просил у них разрешение всегда, когда убегает с ребяташками играть. Однажды, он наступил гадюке на хвост, она ударила Васятку по ноге и он упал, но гадюка, злобно шипя, уползла. Очень было страшно, очень! А гадюка была здоровенная, толщиной в его руку.

Вот Кольку, что старше Васятки и уже учился во втором классе, гадюка цапнула за ногу. И еще, мама сказывала, прошлым летом, другого цапнула. Колька-то поболел, поболел, да выздоровел, а того, другого, «выздороветь не смогли».

Васятка тоже, однажды, болел и видел, как его болезнь пры-

гала по стенам и потолку большими, в целую ладонь, пауками. Пауки были черные, как уголь, который горит в паровозе, или как этот камень, на котором он стоит. И мама говорила, что он - Васятка, «горит». Болезнь называлась «корь». С той поры Васятка знал, что «корь» – это на самом деле большие, черные пауки, которые скачут по стенам и потолку, по одеяльцу.

Пауков Васятка, стой поры, невзлюбил, но мама говорила что паучки - к счастью. Какое же счастье, если «корь» и «горишь»?

Мальчонка вспомнил прошлое лето, пока отходили, сведенные холодом, ноги и ему захотелось, чтобы оно скорее пришло. Летом хорошо потому, что растет «колба» и «петушки». Можно накопать «кандыка» и «саранок», можно пожевать «медуницу», а там «пучки», «пекана», ягода всяка разная... Хорошо летом! Сытно не то, что зимой.

Прошлым летом Васятка еще не умел плавать, но этого и не нужно было уметь потому, что летом воды в речке было, как говорил отец, «воробью по колено». Он просто ложился на гальку в двух шагах от берега и горная вода набегала на него, перехлестывая через спину. Взрослые ребята купались под мостом, где было «с ручками», но туда Васятка не ходил, не зачем, когда и так хорошо.

И еще, Васятка любил сидеть на гальке в воде и смотреть, как красноперые рыбки, не больше пальца на руке отца, щекотали его ноги и даже попку. Взрослые мальчишки ловили их марлевыми тряпками, приносили домой. Они выдавливали из них «кишки», а мамы, порубив сечкой в корытце с луком и укропом, делали из них вкуснятину - котлеты.

Сейчас, на дворе был еще апрель и большие черные камни еще не вобрали в себя столько тепла, чтобы отогреть ступни ног у мальчонки. Он поплясал на них и метнулся к железно-дорожному полотну.

Васятка знал куда бежал, мужественно преодолевая преграды оставленные зимой. Если пробежать с полкилометра вдоль железнодорожного полотна, то будет тупичок, а в том тупичке стоят красивые зеленые вагоны - «эшелон».

Это мама так говорила - «эшелон». В тех вагонах живут офицеры. Офицеры - это такие дяди, у которых много самых интересных вещей. Они воевали, как его папа с фашистами, но папа не офицер, а солдат. Все это объясняла ему мама, в то лето, когда он с ней и папой ходили к офицерам.

Офицеры полюбили Васятку и он ходил к ним, хотя мама ругалась и очень боялась, что Васятку могут украсть.

Этого мальчонка не понимал, а офицеров любил потому, что они давали Васятке «колотый сахар». Колотый сахар был тверд, как камень и если грызть его ночью сухим, то видно как от зубов проблескивают искры. Это свойство сахара давать искры, открыл для Васятки соседский пацан, Вовка, который все знал, потому что ходил в школу.

Когда Васятка принес в кармане большой, в пол своего кулака, кусок сахара, то Вовка сказал ему: «Хочешь, я покажу тебе фокус?»

Васятка не знал, что такое «фокус» теперь-то он знает, что фокус, это когда грызут сахар под одеялом и между сахаром, и зубами пролетают голубые искры, точно такие же, если тереть друг о дружку «белые камни». Именно белые, потому что «черные камни» дают искры, когда ударяют ими по головке железнодорожных рельс. Васятка пробовал, но у него не получалось. Большие мальчишки сказали, что тут нужна «сноровка», а вот искры из «белых камней» Васятка умел получать. Он всю зиму этим развлекался, только «белые камни», когда их трешь, пахнут плохо, словно вату жгут. Вату жечь Васятка пробовал, но больше не хочет потому, что мама исплестала его березовым прутом из веника.

Вовка грыз под одеялом Васяткин сахар, и тот мог сколько угодно наблюдать этот фокус, пока сахар не кончился. Сахара было жалко, потому что он сладкий. Конечно, «кандык» тоже сладкий и «медуница», но куда им до сахара! Сахар хоть и твердый, но если его подержать во рту, то он пропитается слюной и раскрошится на мелкие «сладчатины».

Как же ему не бежать за таким лакомством? Да и кто бы ни побежал на его месте?

Однажды, Васятка изгрыз и иссосал пол буханки черного, замороженного до звона, хлеба. А отец удивился: «Это же надо? И куда в такого шкета столько влезло?» Влезло бы и больше - это Васятка точно знал, да мать отобрала, и сказала: «Это бог знает что!»

Очень Васятке понравилось эти слова. Он их запомнил и всегда, когда удивлялся чему-нибудь, говорил тоном мамы: «Это бог знает что!»

Взрослые смеялись и говорили маме: «Какой у тебя смышленный парнишка растет».

Быть «смышленным» и удивлять взрослых нравилось Васятке потому, что тогда они становятся добрыми. Но взрослые люди ни всегда удивлялись и однажды, Васятка получил по губам и совершенно ни за что.

Это было еще в прошлое лето, когда мама сказала отцу: «Опять ходил к этой бляди, Наташке?»

Васятка был дружен с тетей Наташей и не понимал, почему мама сердится на папу, и на тетю Наташу? И еще, он не знал, что тетя Наташа - «блядь» и как было не спросить об этом, когда она пришла в их избу за спичками?

- Тетя Наташа, а ты блядь? - Спросил Васятка и тут же получил от мамы по губам. Вот тетя Наташа, Васятку по губам не била, а только хохотала: «Ой, не могу! Ой, умру!»

- Да, блядь я, Васятка, блядь отчаянная!»

Папа тоже смеялся, а мама сердилась и называла всех дураками и еще «похабниками».

Васятка понял, что «бляди» - это веселые и добрые тети, как тетя Наташа, только говорить об этом нужно так, чтобы мама не слышала, не сердилась и не била по губам.

На следующий день, когда тетя Наташа пришла к ним, он улучил момент, мать вышла в сенцы, подошел к ней и сказал: «Тетя Наташа, ты блядь, но про это я ни когда, ни когда не скажу при маме, только когда ты одна, буду говорить»...

Она засмеялась, схватила его и прижала к своим грудям. От грудей тети Наташи пахло вкусно, но не молоком, как от другой тети, тети Лиды, маминой сестры. Тетя Лида кормила грудью его двоюродного брата и Васятка видел, что из груди у тети Лиды «идет молоко». Тетя Лида сказала: «Это, Васятка, твой двоюродный брат, Юра».

Ну, брат так брат, а что с ним делать? Он еще только ползает. С ним ни в прятки, ни в «считалочку» не сыграешь.

А тетя Наташа хорошая, хотя и не мама. Она любит Васятку. Он это чувствовал. Васятка рано начал «чувствовать», еще, когда этого слова не знал. Это опять мама сказала: «Ты за километр чувствуешь, когда я хлеб пеку».

Еще бы не почувствовать! Когда отец пол мешка муки привез, и мать оладьи кислые принялась печь, еще как почувствуешь!

Но тогда, тетя Наташа посмеявшись вдоволь, шепнула ему на ухо: «Ни когда, ни когда Васенька так не называй тетей. Они не любят, когда их так называют».

Васятка хотел с ней поспорить, спросить почему «не любят», ведь она сама говорила, что она «блядь отчаянная», но вошла мама, а при маме разве поспоришь? А потом охота спорить пропала, раз тетя Наташа говорит - не надо, то и не надо. Поди, разберись во взрослых?!

Сегодня, как всегда, мама ушла на работу и потому мальчонка полностью предоставлен своей воли. А отца, с прошлой осени, у Васятки, не стало. Пришли дядьки в алых, как кровь, не солдатских и даже не в офицерских погонах и увели васяткиного отца. Васятка хорошо, на всю жизнь запомнил эти погоны и люто, до обморока ненавидел этих дядек потому, что они уводят отцов. Васятка знал, что этих дядек называют - НКВД. Он это подслушал, хотя мама с тетей Лидой говорили шепотом.

Тетя Лида, мамина сестра, шептала маме, что нужно «отречься», а мама почему-то «отрекаться» не хотела и тетя Лида назвала маму - дурой. Из этого, мальчонка сделал заключение, что «дуры» - это такие мамы, которые не «отрекаются». Как нужно «отрекаться» и что это такое, Васятка не знал, а спросить не у кого. У мамы спросить боялся, потому что мама всегда говорила, что подслушивать и подглядывать не хорошо, и грозилась, что «даст по заднице». А тетю Лиду не спрашивал потому, что она назвала маму - «дурой», а так называть нельзя, это и дедушка ему говорил. И другие слова говорить нельзя потому, что - «боженька за язык подвесит». Васятка все «другие слова» знал, но не говорил потому, что маленький и боялся боженьку. Только дяди и тети не боятся «боженьки» потому, что они взрослые, а взрослые ни кого не боятся, кроме НКВД.

Этой зимой, отцовых сапог в доме не было, больших сапог вкусно пахнущих дегтем. В прошлую зиму Васятка, чтобы сбежать «доветру», влазил в отцовы сапоги, правда, голенища упирались в пах и, приходилось волочить ноги, а голенища держать руками. Особенно тяжело было спускаться с крыльца, но зимой доветру не сходишь без обуви.

Отец ругался и говорил, чтобы Васятка надевал мамины чуни, Когда бегают «до ветра», но в чунях было еще хуже по-

тому, что ноги то и дело выскакивали из чунь. «Выбегали», как говорил Васятка.

За что увели отца - этого Васятка не уразумел. Мать три дня волосы на себе рвала и говорила всякие страшные слова о смерти. Было жутко, так жутко, что Васятка подумал, что нужно умереть, уйти к боженьки. К боженьки ушел его дед. Он все время говорил Васятке, что скоро уйдет к боженьке. С дедом хорошо. С дедом не страшно, а с мамой, которая «рвет на себе волосы» - страшно. Так страшно, что умереть не страшно.

И еще, дедушка рассказывал ему сказки, но отчего-то не страшные, а смешные про «вятских», а отец, если не ругался, то рассказывал страшные, про чертей и бабу-ягу.

Когда мама плакала и хотела умереть, тетя Наташа пришла к ним, в избу, и увела к себе Васятку, хотя мама кричала: «Не бери! Не дам! Мы с ним вместе помирать будем».

И тетя Наташа сказала маме: «Дура! Ни хрена с тобой не случится, а мальчонка перепугаешь своей истерикой».

Мама была страшная, как ведьма из сказок папы и пальцы на руках были страшные, как петушиные когти, она ими царапала себе лицо, но все равно Васятка её любил, и хотел умереть вместе с мамой. Он тогда, тетю Наташу не любил потому, что она на маму кричала и, наверное, мамины, страшные пальцы, назвала «истерикой». Истерика - это когда мамы становятся страшными, как ведьмы из сказок, только ведьм ни кто не любит, а мам - любят.

А тетя Лида не пришла за Васяткой. Тетя Наташа сказала, что она, «тетя Лида, боится НКВД, а она, тетя Наташа, НКВД не боится».

Не боится, наверное, потому, что тетя Наташа «отчаянная блядь», только она не хочет, чтобы ей об этом говорил Васятка.

Теперь, когда зима прошла и солнышко припекло, и можно добежать до заветного «эшелона», Васятка вовсе не хотел идти к боженьке. Когда дедушку в землю закапывали, он ви-

дел что у боженки темно, сыро и страшно, а вовсе «не светло и ласково», как говорил дед. Взрослые всегда говорят так, чтобы непонятно было, да еще и сердятся.

Редко говорят о самом главном, а главное, по мнению Васятки, заключалось в хлебушке и сахаре.

И еще, Васятка умел петь песни и умел читать «длинные стихи». Что стихи, то это сказала тетя Лида. Она была учительницей и все на свете знала. Вот, когда Васятка подрастет, тетя Лида будет его учить, как других она учит, а пока она читает Васятке стихи, а стихи – это когда складно. И опять, что «складно», сказала тетя Лида, а ему просто нравились стихи, и песни, которые тоже как стихи, но протяжные, и жалостливые.

Васятка, когда пел, то плакал, а когда читал стихи, то не плакал, потому что стихи не плачут, а песня плачет. Но эта неправда, что стихи не плачут, это потом Васятка понял, что стихи тоже «плачут», но понял, когда пошел в школу и научился читать, а сейчас он этого не знал.

Когда приезжали чужие дяди из Таштагола, «проверять тетю Лиду», то они заночевывали в избе тети Лиды и пили там водку. А когда водку, у тети Лиды пьют, то она завет маму и папу. А где мама и папа, там и Васятка. Тогда его просили читать вот это стихотворение: «Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич».

Дяди были строгие, но Васятку хвалили и маме говорили, что она «правильно воспитывает мальчонка».

Только Васятка не понимал, как проверяют тетя, но догадывался, что эта как-то связано с кирпичами и камнями, и с тем, кого называли - «дедушка Ленин».

У тети Лиды в избе висел портрет, дедушки Ленина и дедушки Сталина, а в школе, было полно «портретов вождей».

«Вожди - это дяди на портретах и они все время думают о Васятке, о тете Наташе и всех-всех!» - Так ему говорила тетя

Лида, правда про тетю Наташу она не поминала, это уж сам Васятка так подумал. Ему страсть как хотелось, чтобы вожди не забывали о тете Наташи. Только тетя Наташа рассердилась и сказала: «Пошли они в жопу!»

Так говорить плохо, за это по губам бьют. Сама же говорила: «Ты Васятка плохих слов, которые я говорю, не запоминай, мало ли что с языка у взрослых срывается».

Трудно это понять, что «сорвалось с языка», а что нет. Так трудно, что не поймешь, шутят с тобой, или не шутят?

А в избе Васятки таких портретов не было, кроме «портрета» боженьки, но его называли - икона. Дедуля, перед иконой на колени становился и что-то говорил боженьки, но разобрать что, было нельзя потому, что он говорил быстро и тихо.

Когда папы дома не было, дедушка рассказывал Васятке про «молитву», но она была не понятная, хотя Васятка запомнил и её, как запоминал все, что его просили и даже требовали запомнить, как дедушка «Иисусову молитву», или «слово против змеюк». Вот только стоять на коленях он не хотел. На коленях стоять неудобно и больно.

И еще дед, рассказывал ему о боженьке, который все «видит», и все «слышит», и Васятка боялся боженьку, хотя дедушка говорил, что он добрый и милосердный. «Добрый» - это понимал Васятка, как тетя Наташа, а вот «милосердный» - не понимал, хотя дедушке вовсе не нравилось, что он сравнивал боженьку с тетей Наташей. Он её называл - «блудница».

Отец Васятки ругался с дедом и говорил, что тот «сбивает мальчонка с толка». Дедушка виновато улыбался и Васятке было жалко деда - он добрый, и ничего, если «сбивает его с толка», можно ведь и потерпеть. Сам же отец, когда сильно хотелось кушать, говорил: «Потерпи».

А сейчас Васятка знал длинное предлинное и сказочно-

непонятное стихотворение и от того страшное. Но Васятка любил страшное, если оно сказочное.

Там, в «эшелоне» его просили прочитать именно это стихотворение, длинное. И тогда Васятку ставили на табуретку, чтобы всем было видно и он начинал читать «с выражением». «У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...»

Иногда, он хотел понять, что такое «лукоморье» и море, и многое чего другого. Ему объясняли, но от этих объяснений у Васятки была полная путаница в голове. Разве может быть вода и вода «сколько глаз хватит»? Глаза-то вон до куда «хватают», а если еще на черемуху старую забраться? И что же, до самой, что ли горы, все вода и вода? С боженькой не понятно и с морем непонятно. И вообще ни чего не понятно, когда взрослые начинают объяснять.

Правда, Васятка не мог долго думать об одном и том же, скучно и все равно ни чего не понятно, потому и думал обо всем понемногу. Например, о том, от чего рельсы горячие, а шпалы между рельсами холодные?

Эта мысль пришла ему сейчас, когда он встал на головку рельсы и, балансируя на ней, направился в сторону эшелона. Когда нога срывалась с рельсы и попадала на шпалу, то было ноге холодно, а на рельсе тепло.

«Это потому, - думал Васятка, - что по рельсам ходят паровозы, а по шпалам не ходят. А паровоз, вон какой - горячий! Там топка и в ней «уголь горит».

Васятка видел паровоз и когда стоит, и когда пронесется рядом с домом, и окна от него дребезжат. «Он дышит паром». - Это Васятка сам видел и не раз. Как дыхнет, дыхнет, аж все в паре. И свистит паровоз паром, потому что им дышит. Кто чем дышит, тот тем и свистит».

И для того, чтобы подтвердить это умозаключение, Васятка всунул в рот два пальца, набрал воздуха побольше и

свистнул. Пусть не так громко, как свистят паровозы и взрослые пацаны, но все равно это был самый настоящий свист, а не «пшик», как говорил папа. А папа умел свистеть так, что больно было в ушах, потому дедушка называл папу «соловей-разбойник». И тоже не понятно. Сам же дедушка говорил, что соловей - это такая маленькая, серенькая птичка на подобие воробья, только «похудее будет» и она поет «сладко и звонко». А разбойник - это дядька с топором в руке и людей убивает, а свистит для того чтобы испугать. Так размышляя о том, о сем, Васятка добрался до «эшелона».

У «эшелона», на «самокатке», сидел безногий солдат. Васятка его раньше не видел, наверное, приехал из Сталинска. Из Сталинска всегда приезжают калеки. Так говорила мама и тетя Наташа. «Самокатка» была на блестящих колесиках. Васятка знал, - это подшипники, из них достают круглые блестящие шарики. Эти шарики - «бильярд». Правда, Васятка с трудом выговаривал это слово, ну и что из того? Зато он видел, как по ним ударяют специальной палкой и шарики - «трах!» - разлетаются в разные стороны. Вот если бы он был по выше, то и он мог бы ударить палкой по шарикам, а так, только смотрел.

Вот тоже, говорят: Сталинск - это большущий город и дома повыше будут, чем пихта возле сельсовета. Разве могут быть такие дома? Сельсовет-то, вон какой, «двухэтажный»!

Солдат был интересный, еще и потому, что в руках его был диковинный инструмент в два раза больше чем гармошка у дяди Семена. Васятка направился к нему: «Это что? Гармошка такая? - Спросил Васятка калеку.

- Нет, малец - это аккордеон. - Сказал безногий.

- А на нем песни играют? - спросил Васятка протягивая грязные, в цыпках, ручонки к блестящим металлом, бокам инструмента.

- Играют, малец. - И калека отстегнул застёжки.

- Сыграть что ли? - Спросил он.

- Сыграй, дяденька, а я тебе спою. - И Васятка с ходу затянул: «Как по речке по пескам, по большим протокам...»

И в детский, не окрепший, пронзительный дисконт вплелась мелодия аккордеона. Из окон вагонов стали высываться люди в офицерской форме.

- Ни как Васятка прибежал? Оклемаля от зимы-то. Эй, Васятка, иди к нам! - Крикнули из окна.

Но как уйдешь от такого блестящего чуда, от завораживающего беганья пальцев по длинным, белым и черным палочкам? От этих звуков?

«Хорошо поешь, сердцем. - Сказал безногий. - Давай я тебе спою, малец, свою песню, вот и будем квиты».

Калека поправил ремни аккордеона. Звякнули о металл инструмента его ордена и медали, поглядел куда-то выше головы Васятки, и поглядел так, что Васятка обернулся. Он хотел увидеть, на что смотрит калека, но там не было ни чего, кроме кочкарного болота, на котором уже появились проростки колбы, но отсюда их не увидишь, потому что они маленькие. Васятка, вчера хотел сходить, благо болото было всего в пятидесяти метрах от избы, но побоялся застудить ноги. Там ведь нет ни рельс, ни камней, чтобы согреться.

Между тем, безногий солдат развернул меха и запел свою песню: «Торфяною, тяжелой водой, что не видела света дневного, мы обмыли тебя, дорогой и зашили «цыганской иглой», в серый саван, сукна фронтowego. Ни на крест, ни на гроб дерева, не найти в той проклятой округе, Командира хороним, отца, под молитву суровую вьюги...»

Васятка стоял и плакал, и не заметил, как возле безногого солдата собрались офицеры из «эшелона». Когда песня кончилась, кто-то сказал: «Спой еще раз, гвардеец». И к ногам калеки упали несколько мятых рублей.

Во второй раз, голос Васятки нет-нет, да вплетался в тенор калеки и вплетался не просто, а именно в тех местах, где у солдата не хватало дыхания вытянуть самую жалостную ноту. И ни кто ему не сказал, как отцу, что «он своим голосом портит песню».

Только вечером, всполошенная мать забрала Васятку, сонного от солдатской еды и наевшего вдоволь сахара.

С той поры, эта песня, стала самой любимой песней Васятки из всех его песен, даже «как по речке по камням», была отодвинута на второе место.

Тетя Наташа, «блядь» и «блудница», часто просила Васятку: «Спой мне про командира, что-то плакать охота». И Васятка был рад спеть, тем более просила Наташа.

С той поры прошел год и однажды, уже следующей весной, Васятка увидел, что люди куда-то бегут по высокой грейдерной дороге. И тетя Наташа бежала. А по этой дороге - это Васятка знал точно, прибежать можно только в сельсовет. Конечно, место у сельсовета достойно того, чтобы туда бежать, хотя бы потому, что там, на столбе, висит радио - большая черная тарелка и говорит человеческим голосом, а иногда играет и поет. Правда поет веселые песни, а веселые песни Васятка не любит, но все равно интересно.

Утерпеть и не побежать вместе со всеми, было невозможно и потому Васятка припустил вслед за тетей Наташей. Мама не бежала потому, что была на работе.

Столько народу, возле столба на котором радио, еще ни разу Васятка не видел и самое главное, самое страшное, что все стояли и молчали, а по радио играли музыку, и музыка была невеселая, а такая, как песни, которые нравились Васятке.

Он подергал за полу тетю Наташу, и когда та наклонилась к нему, он спросил: «От чего играют такую грустную музыку?»

Она прошептала ему: «Сталин умер».

А потом вышел дядька из тех, что папу уводили, и сказал громко: «Товарищи! В наш дом пришло горе. Горе великое и непоправимое, сегодня скончался наш вождь, Иосиф Вессарионович Сталин. Снимем товарищи, головные уборы в знак нашей скорби».

Он еще что-то говорил, но Васятка многого не понял, только страшно и тревожно стало ему. Он потихоньку, потихоньку ушел от этого радио и от дядьки, с алыми погонями на плечах.

А через месяц, из «лагеря» пришел отец, потому что умер Сталин, а Васятке исполнилось шесть лет и он, осенью, пошел в школу в собственных, кирзовых сапогах. В сапогах, как у отца, но конечно меньше.

Тогда Васятка понял, что когда умирают вожди - отцы приходят из лагерей. А тетя Наташа уехала в свой Ленинград, и вся «изрыдалась» вместе с Васяткой.

В школе был урок пения, но тетя Лида, мамина сестра, почему-то не хотела Васяткиных песен и строго настрого запретила ему петь свои песни.

Она сказала: «Нужно петь не свои, а общие, хоровые».

И они пели «Интернационал» и «Гимн Советского Союза». Песни были хорошие, громкие, но свои Васятке нравились больше, потому что жалостливые. Да и сам Васятка рос жалостливым, а жалостливых в школе бьют. Васятку били.

«Нужно уметь давать «сдачи». - Говорил отец и страшно сердился, что Васятка не умеет давать «сдачи».

Если бы Васятка тогда знал, что жалостливых бьют не только в школе, то, наверное, снова захотелось бы ему, чтобы «боженька забрал к себе», ведь там дедушка? Дедушка ни когда не говорил, что «нужно давать «сдачи» потому, что «добрые люди сдачи не дают». Добрее дедушки не было. Но к

счастью, Васятка не знал, что взрослым еще хуже, если они не умеют давать «сдачи», да к тому же, после зимы всегда приходила весна, а за ней лето, а кто же весной, или летом, когда нет школы, захочет «уйти к боженьке»?

2002 год. Май.

БИЛЕТ В ФАТЕРЛАНД.

В это утро понедельника, 13 октября, Иван Иванович, ведущий инженер государственного учреждения «Учета и планирования», как и два дня тому назад и как было все тридцать лет до этого, вошел в фойе здания на проспекте «Трех революций» и по привычке кивнул вахтеру.

Если бы Иван Иванович имел так же привычку смотреть в лицо вахтера, то он поразился бы выражению этого лица. Дело в том, что вахтер смотрел на Ивана Ивановича с ужасом, словно на челе Ивана Ивановича был начертан знак смерти. Но Иван Иванович такой привычки не имел, ему без нужды была привычка смотреть в лица случайных людей. А вахтеры и были такими, случайными, но, наверное, нужными людьми, раз начальство предусмотрело вахтеров и даже ввело их в штатное расписание. А перед штатным расписанием Иван Иванович благоговел, как всякий истинный чиновник, поскольку сила в этом документе была сокровенная, сила страшная, невозможная для преодоления ни одной человеческой волей, даже если она слита в партийную волю.

Дело в том, что штатное расписание имело свойство вполне живого, умело защищающегося организма. Чем больший кусок штатного расписания вырывало очередное начальственное рвение, тем трехкратно прирастало число этого, штатного расписания, в другом месте.

Тот, кто со школьной скамьи запомнил подвиги легендарного грека Геракла, тот знает, что в сражении с лернейской

гидрой он потерпел унижительное поражение. С лихостью срубая одну голову, Геракл видел, что на этом месте выросло две. Так что ярость и отвага Геракла шла на пользу гидре и в поношение силе и здравомыслию Гераклу.

До каких размеров разрослась бы она гидра при известном упорстве и неутомимости сего легендарного героя, о том миф ничего не донес до нас. А вот что донес, то стоит обдумать как следует, особенно для всякого начальственного рвения в деле сражения со штатным расписанием.

Итак, по древней легенде только совет родственника Иолая, что отрубленные головы нужно прижигать тотчас факелом, помог Гераклу избавить Грецию от этого зла. Сказка, как говорится, ложь, да в ней намек всем современным Гераклам, принявшим к исполнению дела огромной государственной важности. Нужно исследовать их в начале: не суть ли они одно с лернейской гидрой, штатным расписанием и прочими сущностями, только приумножающими свою мощь и силу от примитивных нападений на них: хоть с тылу, хоть с фланга, хоть как Геракл – немедленным отсечением голов! Без факела и прижигания отрубленного места получится не умаление зла, а напротив – безмерное его увеличение.

Так что не только из уважения к начальству Иван Иванович всегда делал кивок в сторону такой малозначительной личности как вахтер, но тем самым давал понять, что он признает сокровенный, сверхчеловеческий, почти божественный смысл штатного расписания.

Бывший начальник Ивана Ивановича определил эту тайну грубо, но зримо, словно из скальной породы высек: «Штатное расписание – это именно то, чем штаты физически. реально влияют на протекание жизни в обществе. Сказать иначе – государство есть совокупное «мы» штатов. И ты, когда войдешь в курс своего дела, станешь частью государства, а не

просто безликим – таких миллионы – гражданином Крошкиным, только на то и годным, чтобы протекать по нашим, много разветвленным системам жизнеобеспечения государства, не имея собственного смысла и цели жизни. Штатное расписание определяет все цели и все смыслы жизни, превращая их в понятные и ясные – «функциональные обязанности».

Это был первый и последний курс философии государства и права, накрепко усвоенный Иваном Ивановичем. И вот что показательно – никто еще не оспорил и не доказал обратного, что государство существует для человека, во имя человека, на благо ему. Все руководители весь мозговой центр трех протекших революций в тех или иных словах, а часто в монументальном искусстве, как-то в аллеях героев и мемориалах памяти, укреплял и подчеркивал первичность государства и вторичность человека...

Так что все прежние революции, много чего упразднявшие, философию штатного расписания утверждали. Более того, человек, единожды внесенный в штатное расписание, не мог из него выпасть – он становился «номенклатурным работником», а это высшая ступень уже в самом штатном расписании. Разумеется, это была старая, добрая корпорация бюрократии о которой классики писали: «Бюрократия имеет в своем обладании государство. Это есть её частная собственность. Всеобщий дух бюрократии есть тайна. Соблюдение этого таинства обеспечивается в её среде её иерархической организации, а по отношению к внешнему миру - её замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства представляется бюрократии предательством».

Но Ивану Ивановичу Крошкину и его сослуживцам и в голову не приходили такие мысли, просто по той причине, что таким мыслям неоткуда было прийти. Даже залететь в окно они не могли, так как кабинеты были оборудованы кондицио-

нерами и этот кондиционный воздух все пролетающие мысли за окнами учреждения отгонял веселой озорной струей куда ни подальше! Однако были и другие, более весомые причины невосприимчивости Ивана Ивановича к крамольным веяниям века. Но об этом писать неинтересно. Скажем только, что всякие иные дуновения исторических ветров, приносящих опрометчивые идеи, отвергались сходу деятелями всех революций, а носители этих идей истреблялись, как, скажем, носители сибирской язвы или чумы.

Приветствовались одна идея, что человек существует для пользы государства и призван исполнять в нем, в этом государстве, свои функциональные обязанности. В этом и счастье человеческое, в этом и есть смысл его жизни, а также слава и почет в старости. Творческие коллективы писателей, художников усиленно плодились на ниве воспевания добросовестного исполнения функциональных обязанностей – от стрелочника железнодорожных путей до директора шахты, не делая ни для кого различия.

Иначе сказать – это была аристократия, установленная законами революции и нуждами народного хозяйства. Хозяйства иных типов всеми тремя революциями не признавались и в законах они не находили своего места, но жили, плодились на незаконных основаниях и весьма успешно, ибо природу, в том числе и человеческую, не переделаешь. То есть всегда первая ложка в свой рот, а дальше как придется.

И все так, наверное, было бы до тех пор пока не погаснет солнце и мрак не охватит вселенную, но общество периодически охватывалось нетерпением от неспешности протекания жизни и оно ускоряло это течение революциями! Революции создавали новых героев, а старым героям уже не оставалась места на мемориальных досках в аллеях славы. Так что разрушение прежнего геройства и воздвижение монументов новым

героям есть ни что иное как элементарная диалектика любой революции. Вся стройиндустрия напрягала силы и ресурсы на снос старых монументов и аллей славы и на строительство новых – таков был наплыв героев и натиск любой революции!

Впрочем, у этой строительно-монументальной проблемы имелся, довольно неприятный и разорительный денежный эквивалент. Кому не известно что слава, почет имеют свои денежные эквиваленты. Так что новые герои революций отнимали эти эквиваленты у бывших героев, и редко кто доживал до настоящих лавров, перебиваясь березовыми вениками и пихтовой хвоей. Разумеется на похоронах.

* * *

Итак, Крошкин – такова, напомним, была фамилия Ивана Ивановича, скорым шагом прошел к винтовой лестнице, и поднялся по ней в небольшую мансарду, где и располагался его кабинет. Он открыл обшитую дерматином дверь желтым ключиком и вошел. Все пространство кабинета занимали стеллажи с папками, каждая папка являла собой результат настойчивого, кропотливого труда Ивана Ивановича и его предшественника Сидора Николаевича, мир его праху.

Упокоился наставник, учитель и тогдашний начальник ровно двадцать пять лет тому назад, но Иван Иванович до сих пор помнит этот печальный и немного торжественный день. Венки с соболезнованиями от смежных организаций, от горкома партии и райкома, от сотрудников ведомственного детского сада и подшефной школы, от «Спичпрома» и «Табакдела», стояли в проходах учреждения, на улице и у гроба, размещённого в «Красном уголке» учреждения.

Даже Иван Иванович, обладая исключительной и феноменальной памятью, не мог бы вспомнить все предприятия, вызвавшие свою глубокую скорбь по такому печальному собы-

тию. Позже, много позже, когда Крошкин начал лысеть и стареть, ему приходила мысль, что вот и его в свое время так же торжественно, всем миром, снесут на кладбище и скажут много хороших слов в его адрес. Иногда у Ивана Ивановича от этой мысли пощипывало в носу и увлажнялись глаза. Он вспоминал слова Сидора Николаевича о том, что с такой работы на пенсию не уходят, а уходят в мир иной.

– Главное, - говорил Сидор Николаевич, - подготовить себе достойную замену.

«Достойная замена» - являлась многозначительным понятием. Ключевым звеном был принцип нерушимости. Выводился этот принцип из самых глубоких основ штатного расписания. Он требовал, чтобы вновь пришедший на их место не вздумал чего-нибудь менять в укладе принятия ответственных решений, в условиях и образе протекания документопотока, и прочих устоявшихся традициях, как утренний, к примеру, кивок в сторону вахтера, который перенял Иван Иванович у своего начальства.

Судя по многочисленным грамотам, Крошкин оказался достойной заменой Сидора Николаевича, но себе замены не мог найти по причине ревностного служения делу. Появлялись какие-то клерки, но у них всегда работа была на втором, а то и третьем месте, чего он вынести не мог. Они смотрели на работу, как на средство к жизни, а Иван Иванович видел в работе смысл жизни. Такое несовпадение взглядов вроде крохотно-го, но мощного торнадо высасывало из кабинета Крошкина будущих претендентов на его место, оставляя щемящую пустоту одиночества, обреченного на вечность.

Инженер высшей категории Крошкин Иван Иванович занимал кабинет в мансарде, о двух арочных окнах, с видом на величественную скульптурную группу деятелей трех революций. Скульптурную группу летом орошал фонтан, а зимой лю-

бовно укутывал пушистый сибирский снег. Ее мыли и подбеливали в межсезонье дети из соседней школы, а трест «Зеленстрой» высаживал на клумбах алые гвоздики и красные маки.

В это злополучное утро Иван Иванович, усаживаясь за рабочий стол, бросил мимолетный взгляд в окно и обомлел от неожиданности - скульптурная группа исчезла! На ее месте зияла развороченная и перемешанная со снегом земля, и тут Иван Иванович вспомнил, что вот уже две недели, как его жена Тамара Николаевна и дочь Ольга что-то говорили ему насчет прохождения новой, уже четвертой революции в этом веке. Ведь известно, что даже маломальская революция с корнем выворачивает монументы прежних эпох, лишь в исключительных случаях оставляя их фасады или фундаменты.

Тут же вырвали все, вырвали с корнем! И это было по-настоящему тревожно и даже страшно! Если сказать пафосно – по-настоящему революционно.

– Вот оно что. - произнес Иван Иванович вслух враз севшим голосом, надевая сиреневые нарукавники поверх своего поношенного пиджака.

И тут его взгляд уперся в бумагу, которой, он мог бы поклясться, не было на столе, когда он садился на свой особый стул, с удлиненными ножками. (Иван Иванович был мал ростом, а канцелярский стол, был рассчитан на чиновников, если и не высоких, то все же не таких, как Крошкин – «метр с кепкою»).

Бумага была явно казенной, то есть бумагой официальной. Кто-кто, а Иван Иванович такую бумагу понимал не умом, читал не глазами, а чувствовал всем сердцем. Вот и сейчас Иван Иванович почувствовал, что бумага самая что ни на есть официальная, подлинная бумага, а между тем на ней легкомысленно, неподобающим образом было начертано крупными типографскими литерами: «Подлежит сокращению».

Сердце Крошкина екнуло и зануло, он посмотрел на стел-

лажи, словно там имелось какое-то объяснение этой пугающей его легкомысленности и даже, нечто вызывающее неуважения к официальной бумаге, но там – на стеллажных полках – никаких разъяснений не было. Крошки точно знал, что там бумажная пыль и паутина, а паутина не может даже намек содержать на неуважение, если не рассматривать её аллегорически.

Иван Иванович снова посмотрел на злосчастный листок с типографскими литерами. К его удивлению типографские литеры, на этот раз прочитались, совсем не так, как раньше: «Надлежит к упразднению». И всё. Казалось бы, какая разница в том, что «подлежит сокращению» и что «надлежит к упразднению»?

Но есть особый, бюрократический язык. Он только внешне похож на обычный, человеческий, а на самом деле, что ни формула, что ни словесный оборот, то шифрограмма, адресованная для человека посвященного! Так, к примеру, составляются все законодательные акты, чтобы суть и значение статей законов было ясно одним только посвященным, а для всех других они складывались в некую карамельку – разверни и за щеку, а там процесс известный с детства – посасывай и посасывай.

Давайте на минуту поставим себя на место нашего, вовсе не героического героя и вдумаемся в смысл «надлежащего»? «Належащее» – это то, что следует, иначе – это то, без чего невозможно действовать безотлагательно и в срок. Так что формула на казенной бумаге по сути дела упраздняла не только и не столько Крошкина, сколько, всю физику Ньютона, а заодно и Эйнштейна.

Если исчезает «надлежащее», то обесмысливаются все, решительно все «подлежащие», на том только основании, что им быть не под чем! Грубо сказать, - им лечь не подо что, чтобы стать «подлежащим». Еще проще; если нет «надлежащего», то нет и руководящих указаний, значит весь ход бумаг, государ-

ственных дел, жизни останавливается. Государство рассыпается на атомы, из которых даже молекул образовать невозможно, поскольку теряются все стягивающие в молекулы силы.

Если иметь воображение, то нетрудно представить себе, что на этом, атомарном уровне прекращается всякая, даже элементарная химия, не говоря уже о великой химии жизни. Рушатся великие аллегории жизни связанные со словом химия, например: «химичить», «химичу», «нахимичил» и так далее. Есть что-то сверхъестественное в таком появлении документа на столе чиновника в ранне утро, за минуту до начала рабочего дня. Так никогда не бывало и вот – стало! Четвертая революция, по сути дела, уничтожила не только Крошкина, но в философском смысле весь прежний мир в его основаниях!

Решительно всё было загадочно, магически, зловеще в этом документе, в том числе необычайно большая круглая печать, что стояла в низу документа. И совершенно не напрасно в центре печати была сотворена такая пугающая символика – распятый на кресте трехглавый петух. А по ободку и вовсе написаны пурпурной краской страшные слова: «Именем четвертой революции».

Широкая завитушка-подпись также была неизвестной Ивану Ивановичу, но от этого она становилась еще более грозной и неумолимой, как и надпись по кругу печати.

Надо признать, что и более стойкую душу, чем душа Крошкина, потрясли бы да основания слова, написанные пурпурной краской по ободу печати: «Именем революции». Да что там! Потрясли и ввели бы в смятение и другие слова, если бы от всех других слов осталось бы это одно – «ИМЕНЕМ».

Если уж пишут «именем», то все, от этого уже никуда не увернешься, разве что имеешь власть сам сказать «именем моим», а если такой власти нет, а у Крошкина не было ни самой малейшей власти, то остается только дрожать и ждать исхода.

И опять Крошкин вспомнил, что о необходимости и даже неизбежности четвертой революции говорили давно. Особенно много и часто по телевизору, но дело в том, что Крошкин абсолютно ничем не интересовался, кроме своей работы. Даже дома он думал только о том, что не доделано, не досчитано, не доложено по инстанции. По штату ему полагалось три помощника, но Крошкин тянул за всех, а начальство платило ему дополнительно полставки и ежемесячно премировало. Начальство было довольно точно и аккуратно Иваном Ивановичем, а семья - его заработком.

Социальное положение жены – «домохозяйка» ничуть не огорчало ее: если есть дом, то должен быть в доме хозяин.

Все шло хорошо в семье Крошкиных до этой страшной бумаги, попавшей в кабинет, подчеркиваю – в запертый кабинет, самым загадочным образом!

Между тем, удивляться этому обстоятельству было бы глупо, ведь на печати явственно написано, что «именем».

Почему происходят вещи, казалось бы, невозможные еще вчера? Потому что где-то в мире или совсем рядом появляется Лицо, А может быть и не Лицо вовсе, а только Лик, имеющий право повелевать от своего ИМЕНИ.

И тогда начинается все что угодно, в том числе и «революции», «чертопляска», «чернобыли», магические штучки-дрючки типа «барабашек», «ясновидения» и «телекенеза»... Тогда над миром нависает древняя, астроложья тьма и на большую дорогу выходит «смертная сила».

Потому-то и попадают казенные бумаги в закрытые кабинеты, и происходят сотни других, невероятных, не мыслимых раньше вещей, как, например: вакуумное испарение вкладов гражданского поголовья из стальных сейфов Сбербанка! Торговля детьми, целиком и по запчастям... Продажа отравленного алкоголя... Наркоторговля, коррупция, СПИД...

Но самое тайное, что пока еще удавалось скрыть от общества: появились люди у которых руки Мидаса! Да, да! Такой человек, притрагиваясь даже к бабушкиному, только что испеченному капустному пирогу, превращал его моментально в кусок золота самый высшей пробы!

Но все эти проявления были только в зародыше, только в начале, как скрытая потенция четвертой революции. Думается мне, резкий хлопок за окном Ивана Ивановича и падение поминальной папки его предшественника таким неестественным для бумаги мясным хлопком ознаменовало начало этого процесса! Государство было безмерно огромным и потому все процессы протекали в нем медленно, но неотвратимо, как медленно, но неотвратимо наступает огненная масса лавы на ближайшее к вулкану селение или рощу. И еще предстояло осознать философские последствия этих процессов, поскольку четвертая революция магическим образом разрушила энтелехию штатного расписания.

Но, увы, это так казалось «прежней номенклатуре». Ей всегда так кажется когда на смену приходит новая, голодная и безжалостная парасоль все той же штатной энтелехии. В общем и целом в этом мире всегда что-нибудь да происходит, но ничего принципиально не меняется. Иногда случаются грандиозные события, отменно кровавые, как войны, но к удивлению все, что было, то остается на своих местах после протекания этих войн. Разве что мосты взорваны и дома разрушены, но это такая чепуха по сравнению с основами, что об этом если и говорят, то как о поводе проявить очередное, неслышанное в иных странах геройство.

* * *

Иван Иванович несколько раз обошел вокруг своего стола, словно не листок бумаги лежал на нем, пусть и с устраша-

ющей печатью, а кольцом свернувшая кобра, зорко следящая за его передвижениями.

Он не только боялся взять в руки страшную бумагу, но даже боялся посмотреть на нее в третий раз, а вдруг в этой бумаге смысл изменится? Да так изменится, что Иван Иванович от страху тут же и умрет? Он вспомнил, что по всем христианским и языческим законам увидеть одно и то же три раза, повторить свой поступок трижды, трижды подтвердить свои слова...

Да что там! В третий раз – это окончательно, это бесповоротно, как третий крик петуха, как повторенное трижды апостолом Петром, отречение.

Раз, два раза, куда не шло, может и пронесет, но ТРИЖДЫ?!

И, действительно, не пронесло. Задрезжал телефонный звонок. Ивана Ивановича передернуло от этого звонка, словно электрический сигнал шел через его тело, минуя провода.

Он поднес трубку к уху и незнакомый голос рявкнул: «Ключи сдать! Кабинет освободить! Очистить! Жить до особого распоряжения!»

Потом, кто-то мерзко и противно захохотал, вклинившись этим хохотом и без того неприятный, пугающий до слабости в коленках разговор Крошкина с неким должностным лицом. А то, что это было должностное лицо, для старого канцелярского служаки Крошкина было очевидно, как вывернутая с фундаментом скульптурная группа «Героев трех революций».

Послышались короткие гудки, и они вывели из гипнотического оцепенения Крошкина. Он буквально отодрал телефонную трубку от ушной раковины, поскольку она присосалась к уху как присоска огромного осьминога.

* * *

Что-то хлопнуло на железном подоконнике окна, да так, что жалобно тенькнули стекла, а в дальнем углу кабинета что-то – сыро и тяжело, как огромный кусок мяса – шмякнулось на пол. Иван Иванович соскочил со стула и бросился в пролет между стеллажами. На полу лежала папка, тесемки развязались и она раскрылась. Три листочка, которые не были пробиты и подшиты в «Дело», лежали рядом с папкой.

Иван Иванович привычно склонился над папкой и стал собирать бумажки. На одном из выпавших листочков, взгляда Ивана Ивановича задержался, то была смета расходов на похороны Сидора Николаевича Коняхина.

Зашевелились, коротко стриженные волосы на затылке Крошкина и стало зябко, словно ему за шиворот полили холодную воду. И было от чего. Вначале он не заметил синего, толстого карандашного резюме размашисто написанного на смете: «Расходы завышены. Удержать с покойника и с лиц причастных к этому!». А когда увидел, прочел, тогда и побежали эти холодные струйки ледяной воды от шейного позвоночника до поясницы и ниже, превращая Ивана Ивановича в живой истукан.

- Господи, да что же это? Почему? - прошептал Крошкин, поспешно вставляя папку между других таких же папок за год 19.. 8-ой.

Спасительная мысль, позвонить своему начальнику Кузьме Егоровичу, оживила Ивана Ивановича и он не мешкая, набрал номер телефона. Долгие гудки убили надежду получить руководящие указания или разъяснения, что же ему теперь делать.

В это время часы пробили девятый час утра и сердце Ивана Ивановича вздрогнуло, поскольку он вот уже целый час драгоценного рабочего времени упустил, ничего не сделал из того, что должен был сделать.

Даже бывая больным, а Иван Иванович болел редко, он не позволял себе так расточительно использовать свое рабочее время.

И тут он услышал, как по его лестнице кто-то поднимается, грубо и властно топая ногами. Ивану Ивановичу безудержно захотелось спрятаться за стеллажами, только бы не видеть обладателей этих ног, так безжалостно нарушающих священную тишину его учреждения и особенно его лестницы! Так никто, никогда по ней не ходил, кроме его и уборщицы Насти. Не смел!

Но что-либо предпринять к своему спасению или к решительному протесту Крошкин не успел. В кабинет вошли двое с желтыми нарукавными повязками, на которых красными буквами была вышита страшная эмблема – распятый на кресте трехголовый петух.

Вошедшие были молоды, наголо бриты, в хромовых куртках, в шнурованных полусапожках. Волевые, тяжелые подбородки ходили взад-вперед, пережевывая жвачку. Они походили друг на друга, как два брата близнеца, и даже взгляд их, свинцовый, не знающий жалости и пощады, был одинаков, он гипнотизировал, прижимал и пригибал всякого, в кого упирался. От этого взгляда Иван Иванович стал еще меньше ростом.

Сердце его стучало в пятках, а воображение рисовало картины одна страшнее другой, но вошедшие, казалось, не замечали Ивана Ивановича, и разговор их не касался его.

- Удобное место. Грузь, - сказал один из них, обводя кабинет взглядом.

- Да, завтра же и начнем монтаж аппаратуры, - ответил тот, кого первый назвал Грузем.

Минуты через три, эти бесцеремонные и даже наглые люди обнаружили вжавшегося в столешницу и почти спрятавшегося под столом Крошкина.

- А это еще что за обрубок человеческий? - спросил Грузь,

обращаясь к Ивану Ивановичу. Но тот не мог даже промычать, чтобы обозначить себя как существо, владеющее речью. Все дело было в языке, который от страха прилип к гортани. Крошкин сделал несколько судорожных глотательных движений, стараясь издать что-нибудь членораздельное, но издавались какие-то бессмысленные писклявые звуки.

- Тебя вынести или сам выйдешь? - опять спросил Грузь и сделал шаг к Крошкину. И тут – бывает же так, что и мышка, загнанная в угол начинает бросаться на человека – Крошкин неожиданно для себя закричал истерическим фальцетом: «Караул! Грабят!»

Почему закричал именно «Грабят!», то одному только Богу ведомо, но крик Ивана Ивановича был настолько пронзительным, что его могли слышать на всех пяти этажах учреждения и даже у памятника трех революций, хотя там памятника не было, а была яма с грязной водой.

Молодые люди недоуменно переглянулись между собой, потом тот, кого называли Грузь, сказал Крошкину: «Чего ты орешь? Разве не получил извещение?»

А второй пояснил Ивану Ивановичу: «Здание приватизировано и тебе нужно уматываться из него, папаша».

На задворках подавленного сознания у Ивана Ивановича мелькала мысль о странных именах посетителей, но ничего положительного, кроме страха перед этой грубой, самоуверенной силой, она не могла предложить во спасение бедному Крошкину.

Кроме того, Крошкин силился понять, что значит - приватизировано, но мысли путались, а между тем в сознании созревала и другая мысль, что нужно, действительно нужно убираться восвояси, тем более что телефон непосредственного начальника молчит.

Эта была спасительная мысль, и она подвигла Ивана Ивано-

вича на немедленные действия. Он начал поспешно одеваться. Один из бритоголовых хмыкнул: «Дошло, наконец, папаша?»

С тяжелым сердцем спускался Крошкин по своей лестнице, и если бы человеку было дано предвидеть будущее, эта тяжесть, наверное, раздавила бы Ивана Ивановича, поскольку спускался он по этой лестнице в последний раз в жизни. Даже видел в последний раз и, разумеется, в последний же раз его ладони ощущали такое привычное и такое успокаивающее тепло деревянных перил. Причудливо выгнутого полированного орехового дерева.

Спускаясь, Крошкин думал, что все выяснит у вахтера, они, вахтеры, всё и всегда знают, особенно касательно начальства.

Но в фойе учреждения вахтера уже не было, а на его месте сидел такой же бритый молодой человек, только с багровым шрамом во всю щеку. Спрашивать что-либо у него Крошкину ментально расхотелось и он вышел на улицу. В обычное, не революционное время рядом с учреждением стояли две машины: черная «Волга» самого Кузьмы Егоровича и «Москвич» его заместителя, теперь машин на месте не было!

Впервые за тридцать лет своей работы Крошкин шел по улице «Трех революций» в такое неурочное для себя время, ошеломленный и подавленный случившимся. Ему не верилось, что все произошло вявь, ему казалось, что это – затянувшийся кошмарный сон. Что он заболел, как когда-то в детстве, и бредит.

* * *

Более пятидесяти лет тому назад в глухом таежном селе Калары Крошкин заболел корью и те жуткие, бредовые видения врезались в детскую память так прочно, что нет-нет да и встанут они перед ним, словно наяву и тогда холодеет и цепенеет все его существо.

Тогда, в бреду, ему виделись, огромные черные пауки, ска-

кавшие по стенам, беленому известью потолку и даже по его одеялу. Он кричал: «Уберите пауков!» И холодел от страха, потому что детским инстинктом жизни знал — если паук дотронется до его сердца, он умрет.

Смерть, в которую не верят, которую представляют в виде карикатур, над которыми можно вдоволь смеяться, он представлял и понимал так, словно прожил долгую и нелегкую жизнь.

Когда мать склонялась над ним, чтобы вытереть со лба пот, он видел смерть, смотрящую ему в глаза через левое плечо матери. Она не пугала его, как пугали эти огромные черные пауки. Нет. Он видел в ней нечто такое, о чем думал все свои годы и никак не мог придумать этому слова. Вначале ему казалось, что смерть смотрит на него не злобно, а нежно. Но вскоре понял, что точнее было бы сказать — вождеденно. И вот что странно, Крошкин чувствовал, хотя и был ребенком, что в этой смертной вождеденности есть такая потенция экстаза, такое, чего ни один мужчина не сможет получить от самой совершенной женщины.

И тем не менее он безумно боялся умереть, он всеми фибрами своей души, хотел жить и потому кричал: «Уберите пауков!». Но про смерть, что выглядывала из-за плеча его матери и сострадала ему, и хотела его, он никогда и никому не рассказывал. Между Крошкиным и его памятью о смерти, вождедующей страстью, стоял страж. Дикий, визжащий до припадка страх умереть, рассыпаться в прах, стать как та облепленная зелеными мухами, гниющая кошка на помойке.

Когда он выздоровел, об этом бреде ему стала рассказывать мать, но он все помнил и знал то, чего не знала даже она. Мать же считала его детские попытки живописать видения выдумкой больного мозга. Разумеется, никаких пауков не было, а были несметные полчища обычных рыжих тараканов. И больное воображение ребенка вполне могло принять тараканов за

пауков, так объясняла мама все, что ему привиделось в бреду.

Но он-то знал точно, что смерть приходит к человеку в образе черного паука величиной с ладонь взрослого человека и садится на левую грудь и начинает сжимать её, пока сердце не остановится. И это как-то связано с той женщиной, которая выглядывала из-за материнского плеча, такая распутно-красивая, обещающая нечто такое, что понять ребенку не под силу, а можно только почувствовать.

Долго Крошкин размышлял над этим, пока не пришел к нелепости, что смерть и жизнь – кольцо одного круга, только разрублен он так, что часть самого сладостного наслаждения в жизни частично находится в полукольце смерти, там, где оно изначально соединялось с зачатием жизни. Вот почему смерть так обещающее, так соблазняющее улыбается умирающему – она обещает ему то, что он должен был получить по праву жизни, но не получил...

Самое горестное и самое мучительное для человека – это переход от **кромки полукольца** жизни к кромке полукольца смерти. **Жизнь цепляется** всем, чем может вцепиться в тело, удерживая его на своей половине, и тем длит и длит его мучения. Но чем невыносимее муки, тем быстрее приходит смерть из милосердия своего и сострадания к человеку. Жизнь знает только себя, смерть знает и себя и жизнь.

* * *

Мать была женщиной здравомыслящей, комсомолкой и потому не верила ни во что, кроме Ленина и природы.

- Ничего нет, сынок, ни бога, ни черта, ни твоих пауков, а есть только люди, плохие и хорошие. Есть лето, и есть зима, есть голод и холод, и совсем немного, чуть-чуть, счастья.

Со счастьем матери Крошкина не повезло. В самый разгар медового летнего месяца привезли в Калары группу воен-

нопленных немецких специалистов по взрыву горных пород.

Тогда-то все это случилось, то есть зачала русская девка в чреве своем ребенка от «врага народа», фашиста.

Крошкин рано узнал, что он «сын фашиста». Об этом ему говорили на улице и в школе, кличка «Фашист» обычно подкреплялась изрядным тумачком. Только ласковые руки матери он и запомнил. Запомнил, как сон, когда она прижимала к себе сына.

Да, он помнит это тепло материнских грудей и ту нежность с которой она перебирала его прямые, белесые волосы.

- Врут они все, - говорила мать, - потому, что твой отец умер и нас некому защитить... заступиться.

Мать, так и не смогла выйти замуж, хотя и переехали они в большой город, где она работала крановщицей на стройке, до самой своей смерти, а умерла она, не дожив пятидесяти лет.

* * *

В том городе, названном стальным именем вождя, Иван закончил десять классов школы и «наострил лыжи» поступить в филиал института «Экономики и планирования».

- Тебе все равно придется заполнять анкету, а органы все тщательно проверят, – тихо, одними губами прошептала она.

- Ну и что? – спросил сын, не понимая, к чему это клонит мать?

- Ты у меня незаконнорожденный, к тому же отец твой военнопленный немец. Ты думаешь, мы с бухты-баракты уехали из поселка? Ты думаешь, тебя зря в школе «фашистом» обзывали, а я как могла, уверяла тебя, что твой отец геройски погиб? Нет, сын. Дело все было не так.

Вот тогда-то мать ему все и рассказала про его отца, настоящего, а не вычитанного из геройских книжек про войну. И хотя Крошкин к тому времени как бы окреп душой и телом, но рассказ матери поверг его в состояние глубокой меланхолии. Мать

ему рассказала о своей первой и последней девичьей любви. И рассказала, наверное, потому, что почувствовала, что долго на этом свете не задержится. Наверное, это подтолкнула её к откровенному разговору с сыном, а может еще что-то.

Много ли мы знаем о том, что подталкивает человека порой на самый край пропасти, а другой раз подталкивает сказать в лицо высокому начальнику, что он «законченный подлец». Ведь уверенно стоящий на ногах, если на него посмотреть пристально, вовсе не стоит, а пал и уже на три четверти земля всосала его. Перед тобой «ходячий труп» и исполняет он не законы жизни, а законы смерти, не улыбочкой да приманчивой, а той, что сдирает с человеческого остова плоть и оставляет только кости.

Если бы в Крошкине была хоть капля энергии, то меланхолия обернулась бы отчаянием, или чем похуже. А так после рассказа матери на Крошкина напала робость, и с этой робостью он дожил до злосчастного дня, когда началась четвертая революция.

Крошкин мало что запомнил из сбивчивого объяснения **матери**, какие-то фрагменты. Странные, непонятные, нечувственные для паренька в девятнадцати лет признания. А сейчас, по истечении стольких лет эти фрагменты материнской исповеди кажутся ему пришедшим вместе с огромными пауками, жаждущими его смерти.

Иногда, особенно когда он оставался вечеровать в своей мансарде, потому как «горел» квартальный отчет, он вдруг начинал слышать дрожащий, переходящий на всхлипывание голос матери. Тогда он откладывал в сторону все бумаги, обхватывал голову руками и упирался лбом в столешницу. И слушал, слушал этот монолог и плакал. Плакал беззвучно, одними глазами, а еще точнее – глаза источали слезы под говор матери, невесть откуда и каким чудным образом соткавшийся

в этом здании.

Мать рассказывала ему об одном и том же, о его отце, но всякий раз чуть-чуть изменяя канву рассказа, как бы поворачивая кристалл событий под иным чем прежде было, углом. И теперь он хорошо понимал и отца, и мать. Нет, не понимал, а чувствовал их чувства и сопереживал им, отсюда и слезы.

- Уж больно жалко было смотреть на этого паренька из Тюрингии, слово-то какое, я его сразу и не выучила, – говорила мама, – худенький был, слабенький, а лицо светилось ангельским светом. Он, кажется, так и не понял, почему оказался в этой заснеженной стране. Почему на него кричат люди с красными лампасами на штанах... Кричат и травят собаками.

- Вагоны с пленными стояли в тупике, напротив нашего дома, точнее – улицы. И в моем сердце все переворачивалось, когда я видела его, – тихо, почти шепотом говорила мама. - Твоя бабушка, моя мать, работала поваром в воинской части, точнее в конвойной части, потому как они конвоировали пленных на работу и с работы. Меня пропускали к этим теплушкам с военнопленными. Почему? Да черт его знает! После войны все как-то мягче стали относиться друг другу, расслабились, Ждали чего-то такого – огромного и счастливого. Все ждали. И военные, и гражданские, и репатрианты, и пленные тоже ждали. Да и злоба вся слезами изошла, особенно когда увидели, что и немцы не с рогами рождаются. Такие же люди, как и мы, так же болеют, страдают, любят и так же к детям тянутся, к человеческому неприхотливому теплу и уюту.

Бывало, иной военнопленный малыша русского на руках подержит, слеза из его глаз белесотых выкатится... Как тут сердце не вздрогнет? Хоть и враг, а и человек тоже! Как тут к нему сочувствие иметь не будешь, хотя конвойные, бывали хуже овчарок, что в поводках держали.

Как уж мы с ним слюбились да тебя сотворили, о том умолчу, а вот почему твоего отца отдали мне на руки умирагь, это

го я и сама не пойму, с чего бы такая милость к нам была проявлена.

Тут, наверное, без моей матери не обошлось: шумливая была, не мне в пример и дерзкая. Так что забрали мы его из вагончика в свою избушку на курьих ножках.

- Как сейчас помню, – шептала мать. - Вот ведь ничего путного не запомнила, а это врезалось навеки. Как только уложили мы его в постель, вздохнул он глубоко и с таким чувством облегчения, словно его с креста сняли: «Ну вот, я и дома». Да еще несколько раз по-своему повторил: «Цу хауз».

Отец твой умирал с виноватой улыбкой на губах. Из него безостановочно шла надсадная кровь, и он очень стеснялся этого. По поллитра крови выходило из него в сутки. Врач сказал – у него жидкая кровь и нет в ней этих, как их там, тромбоцитов, что ли. Ганс меня жалел... Тебя жалел, потому что знал - ты во мне... Ты уже тогда всюю трепыхался. Он положит ладонь мне на живот, и часами что-то лопочет тебе по-своему. Он уверен был, что ты все слышишь и все понимаешь.

За час перед тем как умереть он попросил листок бумаги и карандаш. Написал русскими буквами свое полное имя и немецкими литерами повторил. Ему девятнадцатый год шел, – значит, ты сейчас тех же лет что и твой отец будешь.

Помниться Крошкину, именно тогда мама отдала ему листок тетрадки в клетку с записью фамилии его отца. Но куда он этот листок положил, Иван Иванович не мог припомнить. Скорее всего, после смерти матери порвал или сжег. Быть сыном фашиста никому не хотелось, да и анкета.... Из-за этой анкеты его и в армию не призвали.

Иногда смутно вспоминалась странная двойная фамилия отца: Ганс-Дитрих Хуберт, но Крошкин в это не верил и считал игрой воображения. Придумалось ему так после материнских рассказов, а может, где и прочел. Отовсюду в голову могут зале-

теть слова и засесть там, как репейник в конской гриве.

Однако сейчас, шагая по улицам заснеженного города, Иван Иванович вовсе не думал о своем отце. О нем он вообще редко когда думал, а если и приходили какие-то мысли в голову, то это были злобные, нехорошие мысли. Поскольку странная любовь матери обернулась для них сущим бедствием. Ничего хорошего это отцовство не дало никому. Крошкина порой злило, как мама с любовью и нежностью вспоминает те две недели в их доме, где умирал его отец. Но он сдерживал себя и это было нетрудно, поскольку, как уж сказано, Иван Крошкин рос мальчонкой робким, всеми обижаемым и единственная, реальная защита была его мать. Точнее её широкий подол, в который он мог выплакаться. Разве он мог бы обидеть маму своей неприязнью к тому, что для неё так дорого?

* * *

Анкета не позволяла жить, как все жили. С великим трудом мать Крошкина Анна устроилась ученицей машиниста башенного крана на строительстве алюминиевого завода в Абашево. Сам же Иван по благоволению судьбы поступил рассыльным в учреждение под надзор и поручительство Сидора Николаевича Коняхина. Сидору Николаевичу понравился строгий уставной подчёрк рассыльного Крошкина. А хороший подчёрк, как понимал Коняхин, стоит трех институтских дипломов.

Институт «Экономики и планирования», Иван Иванович закончил заочно, была особая сила и власть у его благодетеля Сидора Николаевича, перед которым спасовала анкета.

* * *

Но не об этом думал сейчас Иван Иванович, шагая домой по снежной каше улицы «Трёх революций». А думал он о том, что кошмарный бред из его детства вполне может стать явью

и по этим превратившимся в снежную кашу улицам, пустырям и переулкам заскачут огромные пауки, чтобы выпить из каждого, живую душу имеющего, сок и силу жизни.

Крошкин шел и оглядывал обшарпанные стены домов, занесенные снегом полосы озеленения, и ждал, ждал, что вот-вот запрыгают по ним пауки и будут прыжками преследовать его, приближаться к нему, Ивану Ивановичу, чтобы изловчиться и прыгнуть на грудь и закончить когда-то не доконченное: выпить из него жизнь. Эта несуразная, болезненная мысль, словно огромное чертово колесо, то подкидывала Ивана Ивановича к белесому весеннему небу, то устрашающе опрокидывала его к снежно-земляной каше дорог и обочин, и в черных разводах снега он видел затаившихся пауков.

- Разве может быть все это правдой? - вздумлял он себя. - Ну, все, что пишут о революциях? Ведь это только книги, книги для чтения, не более того! А в жизни все тихо, все размеренно и нет в ней никаких неожиданностей, никаких бумаг, загадочным образом появляющихся в государственных кабинетах, закрытых на ключ. Бумаг, в прах разбивающих обычное течение жизни!

Иван Иванович даже не заметил того, как остановился и закричал в это смешение воды и воздуха: «Так не бывает!».

И где-то, среди балконов многоэтажек дразливое эхо подхватило: «Ает!» - и занесла его так высоко, что вспугнуло дремавших ворон на старых карагачах. И те переиначили эхо и всем скопом заорали: «Крает, крает!». И в выкрике Ивана Крошкина, и в перекатах эха, и в криках ворон не было решительно никакого смысла, разве что уровень тревожности в городе поднялся на градус.

По всем мыслимым канонам бумаги должны только укреплять существующий порядок вещей, а не разрушать его, и вот, нате!?

И это была самая болезненная мысль Крошкина, поскольку она не разрешалась даже в самой бредовой фантазии.

* * *

Пришел домой перед обедом и на недоуменный, вопросительный взгляд жены, криво и жалко улыбаясь, ответил: «Сократили, именем четвертой революции». Больше он ничего не сказал, а прошел в спальню, разделся и лег в постель. На следующий день у него поднялась температура и Иван Иванович, как в детстве, кричал: «Снимите с меня пауков?»

Позвонили по телефону в службу «Скорой медицинской помощи», но там сказали, что такую службу упразднили, а сейчас есть похожая, но платная.

Его жена, Тамара, вызвала платную скорую, прибыла худосочная девочка и долго пыталось сообразить, как нужно пользоваться тонометром, пока сама Тамара Николаевна не взяла прибор и не замерила давление у мужа, давление было немного выше обычного. Девица сказала, что его нужно показать специалисту, а пока пусть пьет «Аспирин-упса». Больше жена уже не вызвала никаких врачей на дом, поскольку поняла, что толку от таких врачей нет, и лечила мужа сообразно своими представлениями.

Еще одна неожиданность поджидала её в аптеке. По внешним описаниям симптомов болезни там рекомендуют лекарства, правда, непривычно дорогие. Как бы то ни было, но через неделю температура пропала, и Иван Иванович перестал бредить.

Однако кормилец не вставал с постели и, казалось, потерял всяческий интерес к тому, что происходит в доме. Тамаре это очень не понравилось, и она настояла, чтобы он пошел и показался врачам.

С великим трудом Иван Иванович был одет и под конвоем жены пошел в поликлинику. В регистратуре молоденькая дев-

чушка сказала, что нужно платить за прием, сумма была не ахти какая, но Тамара Николаевна не взяла с собой ни гроша, да и обидно было невесть за что платить? Она подняла скандал и дошла до самого главврача. Главврач - мужчина средних лет, в кабинет которого, несмотря на бурный протест секретарши, ворвалась Тамара, смотрел видик и очень удивился появлению в своем кабинете возбужденной женщины.

- Я не понимаю? - так начала свою речь Тамара Николаевна? - Я не понимаю, что за порядки у вас? У меня муж болен, между прочим, государственный служащий!

Последнее слово всегда раньше давало положительный эффект, но то было раньше, а сейчас, сейчас главврач посмотрел на её ледяным взглядом сытой гадюки и ответил: «Тем более».

Что «тем более», почему «тем более», он не стал уточнять и без того ясно было, что упоминание о том, что ее муж госслужащий, не возымело должного эффекта.

- Он человек? - выкрикнула Крошкина.

На что главврач заметил: «Мы животных не лечим. На это есть ветеринарная служба».

- Я понимаю, но он приписан к этой поликлинике? - наступала Крошкина. Это был какой-то кошмар. Она говорила ему о правах, о том, что медицина у нас бесплатна, а главврач говорил о чем-то с точки зрения Крошкиной и вовсе не сообщал: о хозрасчете, приватизации рабочих мест и о всеобщей и обвальной бедности служащих эскулапа. Последнее слово вызвало, у Крошкиной неприятную ассоциацию, отдающую известными фельетонами «Крокодила». Ей показалось, что главврач намекает Крошкиной «дать ему на лапу» и только для того, чтобы замаскировать это бесстыдное желание, скомкал фразу. Вместо того, чтобы сказать «Нужно дать на лапу», произнес скомкано, мол, сама догадается – «эскулапу».

Словом, Тамара Николаевна, выбежала из кабинета с твердым намерением просигнализировать, «кому надо» и «куда следовало». Она вихрем влетела в регистратуру, где на диванчике ожидал ее муж. Схватила его и уже через полчаса Иван Иванович, снова лежал на своей кровати, безучастно выслушивая женины проклятия, сменившиеся причитаниями о том, как жить будем?

Следующий день был ознаменован резким подъемом цен на все и вся, даже на рыбную обресь, то есть на хвосты, плавники и само собой, головы. И таким образом имеющаяся в доме наличность обесценилась едва ли не на треть. Крошкина побежала в Сбербанк, где хранилась приличная сумма денег и попыталась снять ее со счета, но желающих было столько, что она не могла даже войти в помещение и ей пришлось довольствоваться скуными слухами, самый грозный из них был слух о том, что налички нет и потому вклады не будут выдаваться. К концу дня сообщили, что деньги подвезут из области только через день. Вернулась Тамара в подавленном настроении. А тут еще дочь заявила, что вчера было собрание в школе и было принято обращение к родителям. Она достала листок бумаги и зачитала: «В связи с резким скачком цен и падением жизненного уровня преподавательского состава, обращаемся к родителям за помощью, предлагаем каждому учащемуся внести в «фонд поддержки учителей» по сто рублей.

Через день цены еще вспухли, словно их изнутри раздувала гангрена, и это вызвало настоящую панику в доме Крошкина. Жена стала кричать на мужа: «Ты лежишь, а чем я тебя кормить буду?»

Последний вопрос был явно не по адресу, поскольку Иван Иванович, практически отказался от еды, словно поставил себе цель умереть голодной смертью. Наконец, Тамара нашла самый, по ее мнению, веский аргумент, она заявила, что ты мо-

жешь и подышать, если уж так приспичило, но подумай о своей дочери!

Однако и это мало тронуло Ивана Ивановича, хотя он сделал усилие подумать. Но думалось плохо, откровенно сказать, никак не думалось, вот только все чаще и чаще у его кровати появлялась мама и что-то говорила ему, но Крошкин как не силился, а не мог понять её слов.

- Откуда столько слез у мужика? – недоуменно спрашивала Тамара, ежедневно меняя ему простыни. О матери Крошкин предпочитал помалкивать – не поймет, да и зачем?

Хозяйские запасы продуктов в холодильнике, на даче, в погребе, стремительно таяли, а Иван Иванович все не вставал с кровати. Он и так-то был худ, правда, в минуты благодушия называл свою худобу «поджаристостью», но суть от употребления слов не менялась. Сейчас он и вовсе истощал, настолько, что для Тамары не представляло труда взять его на руки и отнести в ванную, в глубине души своей она смирилась с тем, что он уже не жилец и усиленно думала, каким образом прокормить себя и дочь.

Она даже как-то сказала сама себе: «Хватит, посидела в тепле за мужской спиной, пора и самой кумекать». Но «кумекать» как-то не получалось. Так прошли две недели после памятного и рокового дня для Ивана Ивановича, когда в дом пришла бумага с такой же огромной печатью. В бумаге сообщалось, что гражданин Крошкин И. И. такого-то дня и часа может получить расчет, в бумаге был номер телефона и Тамара позвонила по этому номеру.

Ответил ей мужской голос и пояснил, что жена может получить расчет за мужа, достаточно предъявить его паспорт и посоветовал прийти за расчетом «с транспортными и подручными средствами», потом бросил трубку. Тамара долго ломала голову, что имели в виду новые хозяева жизни под «под-

ручными средствами» и «транспортом», и решилось еще раз позвонить. Все тот же голос посоветовал ей захватить пару мешков и санки. Это еще больше ввело в недоумение Крошкину. На третий звонок в трубке басовито рыкнули и связь прервалось. Телефон отключился и больше не подключался. На следующий день, Крошкина вместе с дочерью, пришла к известному учреждению. Там были десятка два сослуживцев Ивана Ивановича. Все молчаливые и напуганные.

Она обрадовалась, увидев Семена Игнатьевича, единственного человека, с которым ее муж изредка перезванивался, а раза два они бывали в гостях друг у друга. Она подошла к нему и спросила: «Что же это такое?»

Но Семен Игнатьевич сделал круглые глаза и зашипел, почти склоняясь к ее плечу: «Т-с-с? Голубушка! Разве не знаешь, что нынче вводят поголовную и безоговорочную демократию?»

Крошкиной стало жутко от этих слов, особенно от «поголовной» и «безоговорочной». И хотя Тамара Николаевна не обладала развитым воображением, но поняла, что раз «безоговорочная», то и нельзя, даже преступно оговариваться! А оговориться, не то сказать действительно можно в два счета, просто так, машинально, по глупости и без всякого на то подлого помысла. А тут еще и «поголовное», то есть по головам...

Нет, решила Крошкина, действительно: молчать - золотое правило?

И она молчала, пока их не запустили в знакомое фойе. Однако сейчас это знакомое фойе вовсе не было столь знакомым. Оно было перегорожено мощной кирпичной стеной, в которой, словно «крыло ворона», зияла большая, черная, металлическая дверь. Возле двери стоял человек в пятнистой форме с автоматом через плечо.

Из коридора, образованного кирпичной стеной и помещением вахтерской, тянуло сладким тленом, как из мясной лавки.

Оказалось, что расчет дают бычьими хвостами и поросьячими ушами. Крошкиной выдали по двадцать кило хвостов и ушей, а также конверт с трудовой книжкой мужа и направление в службу занятости. Теперь она поняла, для чего потребовалось «транспортное средство».

Притащилась Тамара Николаевна, в свою квартиру, поздно вечером, вся, что называется, в «мысле» от непривычной, лошадиной работы. Сетки с хвостами и ушами вынесли на балкон, и мать с дочерью принялись изучать технологию употребления в пищу этих, диковинных для них продуктов.

* * *

К концу подходил первый месяц «Четвертой революции», которой присвоили эпитеты - «окончательная» и «бесповоротная». Цены в магазинах выросли в разы и новое демократическое правительство срочно, чтобы погасить дефицит наличности, пустило в оборот купюры не виданных ранее, номиналов.

* * *

Была пятница начала декабря и Тамара пошла в «Сбербанк». К ее удивлению народа было мало, да и народ какой-то иной, не прежний, возбужденный и растерянный. Сейчас вдоль стен стояли молодые люди и скучающими, даже равнодушными глазами провожали таких, как Тамара. Окошечко, в которое еще полгода тому назад Крошкина вносила «свои кровные» рубли, было свободным, но за окошечком никого не было.

Вернее, были в глубине операционного зала какие-то девочки, но они пили чай с пирожным и отвлекать их Тамара Николаевна постеснялась, хотя время, по всем понятиям, было рабочее - шел только десятый час утра. Она растерянно обернулась и ее взгляд встретился с взглядом какого-то молодого человека, сидевшего на диванчике, молодой человек лениво

встал и направился к Тамаре.

- У вас, мадам, проблемы?

Непривычное слово «мадам» царапнуло слух Крошкиной, но она сделала вид, что не заметила такого обращения к себе.

- Скажите, пожалуйста, когда закончиться это, э... э... чаепитие?

- Никогда, мадам. Налички нет, то есть... - молодой человек как-то странно подмигнул Крошкиной, и продолжил, явно смущаясь. - Впрочем, не для всех, ну, знаете, за труд... комиссионные... сами понимаете, начисление на инфляцию...

Видно было, что ему непривычно произносить такие слова, как «взятка» и «откат». Но мы должны учесть, что шел всего-то второй месяц «Четвертой революции» и многие еще стеснялись называть всё своими именами. Позже о чем в этой повести рассказать места не будет, все устаканится, оботрется и даже министры выучат все специфические слова, ранее относившиеся к блатному жаргону. Но это еще должно прийти, а сейчас...

А сейчас этому молодому человеку приходилось «ломать себя», преодолевать в себе, возможно, врожденное воспитание или такую же робость, которая с детства сидела в душе мужа Тамары...

Между тем Крошкина быстро сообразила, чего от нее хотят и спросила: «Сколько?»

Парень облегченно вздохнул и уже ровным даже деловым тоном, ответил: «Известный процент, мадам».

- Это вам известный, а я в первый раз, - пояснила Тамара и тут же подумала, что «с паршивой овцы хоть шерсти клок».

- Пятьдесят, - сказал парень.

- Чего пятьдесят? Рублей? – Переспросила Тамара.

- Процентом, мадам, если снимаете весь вклад,

- Но?? - Глаза Крошкиной округлились от такого неслыханного нахальства.

- Вы зря пугаетесь, мадам. Мы сделаем начисление на инфляцию, а это около ста процентов к вкладу, - пояснил парень, - а так... - он взял, как искусный актер, паузу перед решительным словом и произнес его. - А так ведь пропадут. Точнее - все пропадет. Это я вам говорю из-за сострадания к вам.

- Меньше половины никак нельзя? – спросила Тамара.

- Ну-у! - парень укоризненно покачал головой. – Мы же с Вами не на базаре, а в государственном учреждении, понимать должны, что в этой игре я всего лишь пешка. Маломощная, но нужная фигура.

- Хорошо, - вздохнула Тамара и протянула «маломощной но нужной фигуре» свою сберкнижку. Минут через двадцать парень вернулся и провел Крошкину в административную часть «Сбербанка» и шепнул ей на ухо: «У Вас есть куда сложить наличку? - Тамара похлопала себя по карману, но парень сказал: К сожалению, крупные купюры уже разобрали». Крошкиной пришлось сходить в ближайший магазин и купить там два полиэтиленовых пакета черного цвета. Получился прилично-го размера сверток. Парень услужливо подал Тамаре кусок шпагата и посоветовал покрепче держать в руках деньги.

* * *

Подходил к концу ноябрь. Иван Иванович стал проявлять слабый интерес к жизни: во-первых, стал употреблять в пищу картофельный кулеш на бульоне из хвостов и ушей, во-вторых, слушал радио и телевизор. Из телевизора грозились введением рыночной экономики, а в ближайшей перспективе «дальнейшем охватом масс демократическими ценностями».

Крошкин слабо понимал, о чем говорят с экрана, хотя по старой привычке пытался вычленить из всего «руководящие указания». Но оттого, что не понимал - пугался, хотя, казалось бы, быть испуганным больше уже некуда. Но оказывает-

ся и в испуге можно еще пугаться.

Однажды, после ужина без привычного стакана крепкого чая Тамара сказала, обращаясь к дочери.

- Сегодня проходила мимо рынка, так мне показалось, что весь город там и не столько продают, сколько обмениваются.

- Что же ты хочешь, мама, - ответила дочь. - Всем ясно и четко было сказано о том, что вводится рыночная экономика и первый этап – освоение бартерных операций.

Сказано было таким уверенным, почти лекторским голосом, что даже Иван Иванович заинтересованно поглядел на дочь. Она, вон, понимает, а он ни хрена не понимает. И с горечью подумал: зажился на этом свете. Мысль вызвала легкую щекотку в носу и слабое увлажнение глаз.

Что он видел в жизни, кроме своих аналитических отчетов? Своих папок? И опять защемило сердце, теперь уже о судьбе этих папок, как никак, а в каждой из них часть его души, часть его интеллекта. Неужели они никому не нужны будут? Неужели вся его жизнь прошла впустую?

Вот он читал, что на раскопках Новгорода находят берестяные грамоты – долговые расписки и частные письма, но ведь в его архиве, в его архиве жизнь десятков тысяч реально существовавших людей! Тут и раскапывать нечего! Позови его, и он в течение минуты найдет нужного человека и всё, решительно все о нем расскажет, даже такое: в каком году и в каком часу ему удалили коренной зуб. На фоне этого внутреннего монолога Ивана Ивановича мать с дочерью продолжали обсуждать «введение рыночной экономики» и дочь, похоже, знала об этом куда больше, чем ее родители.

- Вначале приватизируют все здания и сооружения, квартиры, между прочим, тоже, так что тут рот разевать не придется, как нынче говорят, «кто не успел - тот проиграл». - объясняла дочь. - Потом наступит очередь магазинов, складских по-

мещений, бывшего общественного транспорта, и, и, как же это... - замялась дочь, - ну словом, всех этих водопроводов

Иван Иванович, буркнул из кресла:

- Коммуникаций.

- Вот, вот, - с готовностью подхватила дочь. - Коммунальных коммуникаций. - И прыснула, ей показалось смешным такое словосочетание. Мать смотрела на свою умную дочку с нескрываемой любовью. Она, дочь, понимает такое, что не вмещается в ее голове! А дочь продолжала просвещать своих «темных» родичей:

-Затем приватизируют промышленность. Ну, это, как там: «заводы-пароходы», рудники, электростанции.

Совсем неожиданно для всех Иван Иванович зло перебил дочь и в тон ей продолжил:

- Прокуратуру и милицию, суды и места лишения свободы, армию и ракетно-атомное оружие.

Дочь Ольга и жена Тамара удивленно посмотрели на него. Такой эмоциональный всплеск Ивана Ивановича был в диковинку, он и раньше-то не позволял себе ничего подобного, а тут после месячного, почти полусонного состояния и такой всплеск сарказма! Однако дочь, вместо того, чтобы возразить отцу, напротив, согласно кивнула головой:

- Этот вопрос, папа, сейчас обсуждается в госсовете, - и пояснила. - Рынок - это частная собственность! А если суды и армия останутся вне рыночных отношений, то получится у нас «перекошенная рыночная демократия»

- С параличом морды на правую сторону, - хмуро отозвался Иван Иванович и сник, потеряв всяческий интерес к делам жизни. Он встал из-за стола и ушел к себе, в спальню, оставив на кухне мать с дочерью обсуждать детали рыночной экономики.

- Значит, из государства хотят сделать базар, я так поняла? - мать вопросительно посмотрела на свою умную дочь. И про-

должала: - Кто приватизирует трамвайную линию, будет иметь доход с эксплуатации этой линии, а кто трамвай, с трамвая?

- Именно так, мама, - подтвердила дочь. - Собственники станут работодателями, а кто не собственник, тот будет продавать свой труд, свой интеллект, словом то, что имеет.

Это «то, что имеет» породило у Крошкиной нехорошие ассоциации, особенно нехорошими они показались в устах ее дочери. Тамара Николаевна загнала «нехорошее» предчувствие относительно рыночной судьбы своей дочери, в глубь содрогнувшейся души и глубоко задумалась.

Она пыталась представить себе грандиозную махину всеобщего и поголовного «базара», примеряя на себе, с чем она лично может выйти на этот рынок и что предложить, а предложить нужно нечто необходимое. Небольших умственных усилий было достаточно, чтобы понять, что наиболее необходимым, а следовательно, наиболее доходным является то, без чего и дня не проживешь, например, в эту зиму и дня не проживешь без центрального отопления. Следовательно, и нет ничего более выгодного, если приватизировать районную котельную или участок теплотрассы, эта мысль потянула за собой остальные: «Неплохо было бы приватизировать запасы зерна, мукомольные заводы, пекарни, да и общественный транспорт - не худо».

Но эта мысль созрела и оформилась поздно, дочь ушла к подруге, а спросить, где и как будут приватизировать, Тамара Николаевна не успела. Чтобы понять, отчего эта мысль так запала в ее душу мы должны знать, зачем Тамара Николаевна ходила на городской рынок.

Дело все в том, что Крошкина имела совершенно простибельную для женщин слабость - тягу к ювелирным изделиям. И неважно, что идеологи и «Первой» и «Второй» и «Третьей революции» осуждали мещанскую тягу к украшениям.

Между тем женщина со времен Клеопатры остается женщиной и, как ворона, тащит в свое гнездо все сверкающее и блестящее, так и она, Крошкина, не могла пройти мимо бриллиантовой брошки, чтобы не вздохнуть тайком и не представить эту брошь на себе.

Словом, помимо сбережений в банке Тамара Николаевна имела сбережения в потаенном ящичке серванта, где в шкатулке палехской работы хранились драгоценности. Тамара Николаевна ходила на базар именно с этой целью - узнать, сколько же дают люди с плакатами на груди: «Куплю золото» за презренный и вожделенный металл.

Пояснения дочери насчет приватизации направили мысли Тамары Николаевны в несколько иное, непривычное для нее русло, но дочь ушла, а телефон отключили.

Обежав знакомых, Тамара Николаевна выяснила, что есть такое указание отключать телефоны у бывших госслужащих, не проявивших лояльности к новой власти. Причиной такой дискриминации, как объяснили ей по секрету, было опасение властей, что по телефону могут организовать заговор, поднять мятеж недовольные новой политикой.

«Где следовало», Тамара Николаевна попыталась убедить, что ее муж не способен не только организовать что-то отдаленно похожее на заговор, но и сказать-то противное властям, не способен, но там, подняв многозначительно палец и задрвав голову к потолку, на который указывал перст, ответили кратко, но емко: «Его могут втянуть».

Вечером, по телевидению, передавали выступление главного приватизатора, доктора Рыжого Анатолия Абрамовича.

- Демократия, - вещал он с экрана, - есть власть народа. Это – аксиома. Но какого народа? Народ-то он всякий и разный. Есть люди политически и экономически ответственные, а есть безответственные, так что демократия - есть несомнен-

ное и безоговорочное право части народа на управление государством, экономикой, а вовсе не всего, как думают некоторые несерьезные люди. Даже среди нас, революционеров, есть такие левацкие элементы отрывки предыдущих революций. С этими несерьезными людьми пора кончать. Именно их, этих примазавшихся к нашему революционному движению мы не допустим к дележке общественного «пирога». Иначе говоря, мы не допустим, кого попало к процессу приватизации.

Всю ночь Тамара Николаевна размышляла: относится она или не относится к категории «кто попало» и пришла к такому выводу: «Раз отключили телефон, то их, Крошкиных, уже отнесли к этой категории».

На следующий день к удивлению жены Иван Иванович стал одеваться, а на ее вопрос:

- Куда собираешься?

Ответил:

- Нужно же что-то делать. Пойду, встану на учет в этой, э... э... службе... - Он вытащил из кармана пиджака бумажку и прочитал: «В районную службу занятости населения».

Жена никак не прокомментировала намерение мужа, а когда захлопнулась за ним дверь, обратилась к дочери:

- Оля, а где и как будут приватизировать, ну, это, о чем мы вчера говорили?

- Ты что, мама? С луны, что ли, свалилась? - спросила дочь неуважительным тоном и потому мать одернула ее:

- Как ты со мной разговариваешь? Что за тон?

- А что я такого сказала? - Ольга пожала плечами.

- Я тебе мать и «с луны не сваливалась», нечего меня «подкалывать», я тебе не подружка и ты не на посиделках.

- Но, мама? - возмутилась дочь. - Сейчас своим предкам и не такое говорят?

- У кого «предки» у тех и пусть говорят, а у тебя родители.

- Ну, хорошо, мама, - Ольга погладила мать по голове. - Успокойся, я тебя люблю.

Тамара шмыгнула носом и, вытащив из кармана халата платочек, провела им около глаз, стараясь не размазать туш на ресницах. Она собиралась снова пойти на городской рынок и потому привела себя, как она говорила, «в товарный вид». Дочь села напротив ее и сказала:

- Понимаешь, мама, это только так говорят, о поэтапной приватизации, чтобы не было в народе паники.

- Выходит - это все обман? - Тамара поглядела в глаза своей умной дочери.

- Это, мама, называется – политехнология, - пояснила дочь, - все уже приватизировано, осталось только подвести под это законодательную базу и отсечь «примазавшихся», а всему остальному населению «промыть мозги».

- Откуда ты это все знаешь? - удивилась мать.

Ольга замялась и сказала:

- Мама, какая тебе разница, откуда я знаю?

- У тебя появились секреты от матери, дочь? - спросила Тамара, не скрывая в голосе обиды.

- Ты не о том подумала, мама, - Ольга была в явном замешательстве. - Тут не то чтобы секрет какой, но, но... как бы тебе сказать?

- Что уж там, придумай, соври матери, - Тамара не могла больше сдерживать своей обиды. - Сейчас принято родителям врать.

- Ну что ты, мама! - Ольга прижалась к ней. - И всегда ты так, из мухи слона делаешь! Ну, есть у нас в школе молодежная организация и мы получаем из центра «закрытую информацию». Понимаешь - «закрытую»!

Сердце Тамары Николаевны тревожно екнуло, и она пожалела, что завела с дочерью этот разговор.

- А это опасно? - спросила она.

- А все опасно! - беспечно ответила дочь. - Через улицу, особенно в гололед, переходить опасно! Вон, отец, как крот отсидел в своей конторе и оказалось, что и там сидеть опасно. Дачу иметь опасно.

Упоминание о даче еще больше встревожило Тамару Николаевну: «А что опасного в даче?» - но дочь ушла от ответа, сказав, что это она так «по запалке» сказала, однако это ничуть не успокоило Крошкину и она взяла себе на заметку узнать, какая же опасность от дачи?

Через полчаса дочь ушла в школу, а Тамара Николаевна отправилась на городской рынок. Получасовая поездка в переполненном трамвае принесла еще одно размышление о рыночной экономике.

Цены на билет выросли почти в сто раз, но никто не покупал билетов, несмотря на истошные призывы кондуктора, почти у каждого было удостоверение, освобождающего от уплаты за проезд в общественном транспорте и чем приличнее, чем состоятельнее был пассажир, тем весомее были у него основания для бесплатного проезда.

Самые нищие, самые обездоленные не имели никаких прав и потому дюжие молодцы выколачивали из них плату или вышвыривали из трамвая на остановках, обычно пинком в зад.

Закон о правах частной собственности действовал, как бы сказали юристы: де-факто и не только в трамвае. Тамаре Николаевне пришлось заплатить за вход на территорию городского рынка. На этот раз она захватила с собой самую маленькую, самую незначительную вещицу - платиновую клипсу с крохотным рубином. Она ранее пригляделась к одному в меховой куртке и он показался ей самым надежным из всех, желающих купить «золото». Тамара не представляла себе, как и с чего начать разговор, клипса (одна) находилась в ее ладони,

а ладонь, крепко зажата в кулачек, в вязаной варежке. Крошкина крутнулась раз-другой возле этого мужчины и тот обратил на ее внимание, он подошел к Тамаре, наклонился к ней и спросил: «Золото? Бриллианты?»

Она вытащила из кармана руку, сняла варежку и в ладони блеснул кровавый глазок рубина.

- Ого! - сказал молодой человек и предложил. - Давайте отойдем в сторонку.

Они отошли за стену какого-то павильона, и он вынул из кармана лупу, одетую в замшевый чехол. Тамара Николаевна только сейчас пригляделась к нему и поняла, что не так уж и молод этот «молодой человек». «По крайней мере, лет тридцати с небольшим», - подумала Крошкина, как будто это имело какое-то значение для неё.

- Разрешите? - он протянул свою руку к ладони Тамары, на которой лежала клипса. Тамара с замиранием сердца положила на чужую ладонь свою вещь.

Он осмотрел клипсу сквозь увеличительное стекло и особенно долго всматривался в клеймо.

- Эта вещь парная? - спросил мужчина.

Тамара утвердительно кивнула головой.

- Это вы разумно сделали, что принесли одиночную вещь. Осторожность ни кому еще не помещала, - незнакомец в знак похвалы легонько потряс её за плечо. - У вас есть еще, что-то подобное? - спросил незнакомец и Крошкина утвердительно кивнула головой.

- Я представляю солидную фирму, - мужчина полез в карман, и вытащил визитку: большой картонный квадрат, выполненный из хорошей плотной бумаги. На одной стороне латинским, готическим шрифтом, золотыми буквами было написано непонятное, зато на обороте Тамара Николаевна прочитала: «Интер оф компани» и помельче: «Совместное русско-швей-

царское предприятие «Гольд и Сириус», дальше шли фамилия, имя и отчество, надо полагать, самого мужчины: Курасов Антон Соломонович.

Когда замороженная золотом и шрифтом Тамара вернула ему визитку, он сказал:

- Настоящую цену за эту вещицу я не могу вам сейчас дать, такой наличности с собой, по известным причинам, не ношу, но я бы не хотел терять с вами связи. Разумеется, вторую клипсу вы с собой не взяли?

Крошкина опять утвердительно мотнула головой.

- Разумно, разумно, - прокомментировал представитель русско-швейцарского предприятия, одобряя предосторожность Тамары Николаевны.

- Знаете что, - сказал Курасов таким тоном, словно мысль только что пришла ему в голову. - Давайте сделаем так, я дам вам задаток, половину суммы, в которую я оценил Вашу, парную – подчеркиваю это – вещицу, а остальные деньги принесу вам на квартиру?

- Сколько? - спросила Тамара Николаевна, едва сдерживая себя от волнения. Курасов назвал сумму задатка и Крошкиной чуть не сделалось дурно, сумма многократно превышала ту, на которую она рассчитывала в самых своих радужных снах. Одно её смущало - это неизбежность огласки в доме того, что она продает свои украшения.

Даже Иван Иванович не знал, что его супруга скопила у себя небольшое сокровище. Курасов внимательно смотрел на нее и, заметив колебания клиентки, спросил:

- Что, есть проблемы?

- Понимаете, - выдавила из себя Крошкина, - я бы не хотела, чтобы мои домашние знали.

- О, - понимающе произнес тот, - это так понятно. Что же делать? - он задумался несколько секунд. - Знаете что? Давай-

те созвонимся? Я вам оставляю свой телефон и когда дома никого не будет вы мне позвоните. И опять Тамара Николаевна смутилась, что не осталось без внимания со стороны представителя международной компании.

- Опять проблемы? Нет телефона?

- Телефон-то есть, - ответила Крошкина, - да его отключили.

- А, понятно?! - воскликнул Курасов. - Внесли в список неблагонадежных? Чертовы перестраховщики! - он протянул клипсу Крошкиной и та машинально взяла ее и сунула вместе с ладонью в варежку.

- Знаете что? - оживился Курасов. - Тут пришла в голову одна идея. Небольшая сумма из вашего гонорара... понимаете? И проблема с телефонизацией будет решена.

- Конечно, - ответила Крошкина, - но возможно ли?

- О! - воскликнул Курасов. - Что же вы хотите? Рыночные отношения, как никак? Тем более что все схва... то есть приватизировано!

Через полчаса они расстались, платиновая клипса с рубином перешла в руки представителя фирмы, а внутренний карман пальто Крошкиной топорщился от приличной суммы задатка. Вернувшись домой, она тут же пошла по магазинам и закупила хорошего чая, кофе и много, много других, когда-то привычных продуктов и еще остались деньги на то, чтобы оплатить за квартиру, за электричество и внести очередной взнос в «Фонд помощи учителей».

Телефон заработал на следующее утро, и Тамара узнала голос представителя компании «Гольд и Сириус».

- Здравствуйте, уважаемая Тамара Николаевна, вы узнаете меня?

- Да, да! Конечно! Спасибо вам! - выпалила Крошкина.

- Я жду вашего звонка, Тамара Николаевна. Мой телефон г-4-5б. Не следует тянуть время, так как деньги, сами понима-

ете... инфляция съедает.

Тамара прекрасно понимала, что сумма, вырученная от продажи клипсы - это сейчас, сегодня сумма, а через неделю, две - это уже просто мелочь.

- Разумеется, Антон Соломонович.

- Вот и ладненько. Словом, я жду вашего звонка. У меня телефон на автоответчике, так что сообщите мне время и свой адрес, а дальше мои проблемы.

Иван Иванович, вернувшись из «Службы занятости», доложил супруге, что его поставили на учет по десятой категории и выдали бесплатный проездной билет, что такой специальности, как у него, в новом государственном реестре не значится, и потому предложить работу по специальности не могут.

- И что же? - спросила жена, нарезая тоненькими ломтиками ветчину. Из кофейника, накрытого салфеткой, приятно пахло настоящим кофе, в вазочке лежали бутербродики, пусть с минтаевой, но икрой.

- А то, - ответил Иван Иванович, принявываясь к подзабытым яствам, - что мне предложили на выбор работу ночным сторожем и работу грузчиком. Выше этого, - с горечью произнес Иван Иванович, - я со своим дипломом претендовать ни на что иное не могу.

Жена промолчала, а Иван Иванович сказал:

- Куда мне деваться? Завтра пойду себя продавать по указанным адресам.

Он добросовестно показал жене направление из «Службы занятости» и пояснил:

- Три места. Два грузчиком и одно сторожем, через неделю. Сказали, если не устроюсь, выплатят пособие по безработице.

- Хвостами и ушами. - ехидно заметила супруга, но Иван Иванович не заметил в её голосе ехидства и пояснил:

- Нет, сказали, что выплату произведут морковкой и селедкой.

- Чем, чем? - переспросила супруга.

- Селедкой и морковкой, - все тем же ровным и бесстрастным голосом пояснил Иван Иванович.

Тамара расхохоталась. Ее било в смехе до нервного припадка, перешедшего в плач. Крошкин сидел и смотрел растеряно на жену, не зная, что сказать или что сделать. Правда, минут через десять Тамара перестала плакать, пошла в ванную комнату, а вернулась оттуда умытая, и успокоенная.

- Ладно, давай завтракать.

* * *

Иван Иванович намеревался пойти на поиски работы в восемь часов утра. Тамара Николаевна позвонила представителю ФИРМЫ «Гольд и Сириус» в 9 часов вечера. К телефону подошел Антон Соломонович.

- Антон Соломонович, это я, Тамара Крошкина.

- Добрый вечер, Тамара Николаевна.

- Завтра в девять часов утра я вас жду, по адресу: улица Новожилова дом девять, квартира двадцать первая.

- Спасибо за звонок, Тамара Николаевна, с вами приятно иметь дело, вы обязательный человек, да, чуть не забыл только ради вас. У меня хорошая новость, цены на ваш товар немного, но выросли. Конечно, я бы мог и промолчать, но у нас солидная фирма с безупречной репутацией, так что отставшая сумма вашего вознаграждения немного, но увеличилась, с чем вас и поздравляю.

Весь день Крошкина ходила в приподнятом настроении и мысленно хвалила себя за то, что втайне от мужа покупала драгоценности. «Как-нибудь переживем это лихолетье, - думала она, - ведь когда-то все должно утрястись, образоваться, жаль толь-

ко одного, что ничего не выгорело с приватизацией».

На радостном небосводе ее чувств было одно только облачко - это дочь Ольга, но это облачко не могло омрачить перспектив постепенного сбыта драгоценностей такому милому и обходительному человеку, каким показался ей Антон Соломонович.

В это же время, Иван Иванович брел по заснеженным улицам, шарахался от сигналов машин в сугробы и через каких-то двадцать минут почувствовал, как у него начинают замерзать ноги.

Обувь Ивана Ивановича, не была приспособлена к длительным вояжам по зимнему городу. Она была достаточно легкой и практичной, чтобы выбежать утром из теплой квартиры и нырнуть в такое же теплое чрево служебного автобуса, а из автобуса в фойе и по винтовой лестнице в тихий и уютный кабинет, где Иван Иванович имел привычку, переобуваться в парусиновые туфли.

Несмотря на то, что под пиджак Крошкин одел теплую фланелевую рубашу, стала мерзнуть спина, особенно когда он шел по ветру, а когда приходилось идти против, то было еще хуже, легкомысленный шарфик, шелковый, в синюю полоску, не защищал его шею, правда, неизменный галстук немного выручал его.

Неожиданно для Ивана Ивановича мысли потекли по непривычному для него руслу, вероятно, под воздействием холода, ветра и не очищенных от снега дорог. Но, кто его знает, может быть, от только что съеденных хвостов и ушей?

- Сколько себя помню, - размышлял Крошкин, - а с дорогами всегда сущая беда творилась, зима-то еще никого, никогда не обманывала, она всегда вовремя приходила: с морозами, снегопадами, какая бы революция ни шла, но вот что поразительно, Иван Иванович на этой мысли провалился по пояс в

очередном сугробе, куда кинулся от бешено мчавшейся навстречу ему машины.

- Да, поразительно, - снова подумал Крошкин, выбравшись на твердое место, - все время получается так, что зима - это стихийное бедствие, о котором все знают, но всегда думают, что пронесет на этот раз.

Он еще подумал о русском «авось, небось да как-нибудь». И тут навстречу ему стал грозно приближаться автогрейдер. Иван Иванович теперь уже заранее облюбовал место отступления и даже пробежал немного навстречу грейдеру, чтобы выбежать на заранее облюбованное им «плотное место».

«Плотное место» образовалось естественным образом, то есть по законам аэродинамики, в этом «месте» ветер выдул снег до черной земли. Пока приближался грейдер, надсадно, железным нутром завывая, Иван Иванович, снова думал и снова мысли текли какие-то неподобающие, не лояльные к властям мысли, чего никогда не позволял себе Крошкин.

- Во-о-от, прижмет снег к обочине, а куда же прижимать-то? И так дорога превратилась в корыто, - подумал Иван Иванович и удивился тому, что такой пустячный факт заставил его думать.

Грейдер прошел, обдав Ивана Ивановича чадом не сгоревшего в двигателе соляра, а Иван Иванович зашагал по проезжей части дороги, потому что все другие «части» были непроходимы, и тут он вспомнил, как в былые годы на борьбу со снегом поднимали граждан с лопатами. Поднимали по тревоге воинские части, а начальство рапортовало по «инстанциям» о том, сколько тонн соляра «освоено в этом месяце на расчистке дорог», сколько «человеко-лопат приняло участие в разгребании снежных заносов». Профессиональная память Ивана Ивановича из своих глубин подсказывала ему умопомрачительные цифры.

- Н-да, - Иван Иванович опять критически помыслил и опять удивился такому, весьма неожиданному качеству своего ума, — а толку-то? А толку никакого, потому что снег с улиц, как и мусор из квартиры, нужно не расталкивать по сторонам, а вывозить! Вот ведь, что важно - вы-во-зить! Власть сменилась, снег по-прежнему расталкивают по обочинам, следовательно, никакой у них новой власти не получится! А получится власть прежняя, хоть и гимн сменят, и флаги другие повесят, и других истуканов вместо прежних поставят, и напечатают новые деньги. Может быть, рыбу начнут чистить иначе, не как сейчас с хвоста, а с головы, но когда почистят, в уксусе вымочат, то обнаружат, что «новая рыба» ничем не лучше прежней, даже хуже, поскольку «чистили и вымачивали» люди не опытные, а полные энтузиазма.

Эти мысли так потрясли Крошкина, что он остановился, хотя останавливаться, особенно на перекрестке, нельзя ни в коем случае, перекресток нужно перебегать и чем скорее, тем надежнее, и не важно в какую сторону, главное быстро, а когда выбран ориентир, то стремительно броситься ему навстречу. Если ориентир выбран правильно, если стремительность соответствует остроте момента, то все будет хорошо, однако, как мы уже сказали, Иван Иванович остановился на перекрестке, за что немедленно был наказан, правда, наказан относительно легко, хотя и болезненно. Накренясь в колее в сторону Крошкина, автобус слегка чиркнул по плечу Ивана Ивановича. Чиркнул задом и чиркнул не умышленно, а потому, что на таких дорогах, при поворотах, машины заносит.

Когда Иван Иванович поднимался и когда ощупывал ушибленное плечо, он не понимал что получать ссадины и увечья от мимоидущих и мимоедущих это удел всех философствующих на перекрестках дорог. А если бы понял, то, наверное, гордился бы своей участью стоять в одном ряду в галерее му-

чеников, обычных мучеников, вздумавших размышлять о жизни в самой гуще её.

Так, размышляя о бренном и общественном, он добрел до указанного адреса и взору его представилось вывеска, на которой значилось ООО «КРУМП». Он вошел в помещение и огляделся: прямо перед ним была широкая лестница, ведущая на второй этаж. Иван Иванович припомнил, что он как-то бывал здесь, по какому-то торжественному случаю, очень давно. Привычка все помнить, сработала и сейчас, Крошкин вспомнил, что был здесь по случаю открытия первого в городе детского сада с плавательным бассейном. Ему навязали сказать приветственное слово и он блестяще провалил эту почетную миссию. После его уже никуда не посылали говорить высокие, торжественные и, наверное, правильные слова, из которых уже вытрясли все смыслы и остались одни звуки. Эти элегические воспоминания прервал вопрос:

- Вы к кому?

Иван Иванович вздрогнул и оглянулся. Слог «му» еще висел в воздухе знаком вопроса, а Крошкин уже увидел сурового человека в полувоенной одежде. И что странно, Крошкину показалось что его губы продолжали тянуть этот слог – «му». По всему было видно, что он имеет право спрашивать.

- Я, вот... - и Крошкин протянул направление. Человек внимательно оглядел бумагу, даже провел кромкой листа по рыжеватой щетинке своих усов и сказал, будто майский жук прожужжал:

- Тогда вам туда, по коридору последняя дверь, к Зумажихину.

Он показал направление движения Крошкину взмахом руки, отрезающей все иные направления его движения. Человек с редкой фамилией Зумажихин сидел за столом и пил кофе со сливками, закусывая заграничным пирожным «Рафаэлло». Название запомнилось Ивану Ивановичу потому, что его жена

сегодня утром подала к кофе точно такое же пирожное. На нем и было написано - «Рафаэлло».

- Здравствуйте, - робко сказал кроткий Иван Иванович, протягивая направление.

Зумажихин как-то неопределенно кивнул головой, что вполне могло означать и «здравствуй» и «катись отсюда». Он вяло и нехотя протянул руку с удивительно толстыми, как свиные сосиски, пальцами в направлении документа под названием «Направление на трудоустройство Крошкина Ивана Ивановича». Иван Иванович вложил направление в протянутую руку. Зумажихин бегло посмотрел направление, а потом недоуменно посмотрел на Крошкина.

- Они что, смеются что ли? - реплика явно относилась не к Ивану Ивановичу, а к тем, кто дал ему это направление, на этот раз Зумажихин очень внимательно, почти пристально посмотрел на Крошкина и, тяжело вздохнув, спросил:

- Папаша, ты когда-нибудь поднимал, что-нибудь тяжелее авторучки?

Крошкин припомнил, что осенью, на даче, ему приходилось поднимать мешки с картошкой до четырех ведер, а больше - ему помогала Тамара.

Иван Иванович от этого вопроса как-то сник и стал еще меньше, чем был. Зумажихин покачал головой и сказал:

- У нас, папаша, не благотворительное общество, у нас складское хозяйство и в сутки мы перерабатываем до двадцати тонн разнообразных грузов.

- Так это... - начал было Иван Иванович, но Зумажихин оборвал его:

- Не так, и не это.

Он решительно взял направление и начертил на нем: «Не требуется», - потом протянул его Крошкину.

И опять Иван Иванович месил подтаявший снег на доро-

гах и шарахался от машин и брел, брел...

В следующей конторе все повторилось, как и в прежней, только мужчина, принимавший Крошкина, оказался грубым и циничным:

- Это тебе не титьки у бабы поднимать, не юбку, а металлопрокат ворочать.

Следующая организация, которой нужен был ночной сторож, находилась на другом конце города, и Иван Иванович понял, что до конца рабочего дня туда ему не поспеть, он решил попытаться счастья устроиться сторожем, завтра, с утра.

Возвращался он домой на автобусе и тут случился конфуз - автобус оказался каким-то особенным, на который не распространялись льготы. Иван Иванович вознамерился, было выйти из него на следующей остановке, но получилось так, что вместе с ним сели двое таких же, как и он, безработных. Они, в отличие от Крошкина, имели вид агрессивный, были плечисты и высоки ростом.

- Сиди, папаша, где сидел, - сказал один и придавил поднимающегося Крошкина ладонью в полпуда весом к сидению.

- Ты, блядь, - сказал он кондукторше, - прижми зад, пока я не вдул в него туза забубенного!

Второй расхохотался:

- Да она, Степан, может всю жизнь об этом мечтала, да никто не предложил.

В салоне автобуса враз наступила звенящая тишина. Людей, сидящих у окон, страшно заинтересовал пейзаж за окном и они стали проскребать и протаивать в замерших окнах «глазочки», а те, кто сидел в проходе опустили головы, словно их охватила дремота.

Кондукторша взвизгнула и обратилась к водителю:

- Коля, останови автобус, тут не желают оплачивать проезд! Автобус резко тормознул и его немного занесло, отчего

стоящие пассажиры уселись на колени сидящим, все это вызвало легкую склоку. Шофер Коля выглянул в салон и грозно сказал:

- Кто там по черепку захотел получить? Вмиг отоварю. Автобус частный - плати, или иди пешком.

- Автобус частный, - сказал один из мужиков, - а город общий, мой. Покойный отец эту дорогу строил, понял?

И напарник его не остался в долгу, откликнулся на предложение шофера Коли:

- Эй, ты? Чмо! Я хочу, просто горю желанием, чтобы ты мне по черепку заехал!

Шофер не ответил на это вызов и резко бросил автобус вперед, люди опять попадали и кто-то выкрикнул:

- Не скотину везешь!

Враз проснулись дремавшие, а созерцатели пейзажей осмелели и загалдели:

- Безобразие, я за проезд оплатил, так будь добр вези по-человечески!

И тут чей-то дребезжащий тенорок, ни к селу, ни к городу выпалил:

- Четвертая революция идет, а трубопроводы рвутся, как и рвались в первую, вторую и третью. И отопление не греет, а бздит.

Мужики загоготали:

- Во, дает! Так ты у бабы своей под задом и грейся, только ржанухой корми, чтобы отопление работало, как следует!

- А зря ты, бугай, хохочешь. Ежели каждую зиму в квартире валенки не снимаешь, тут не до смеху. Тут в эскимоса из русского переродишься.

- А ты палатку посреди комнаты поставь, - посоветовал ему «бугай», - а лучше возьми кирпич поувесистей и звездани им по окнам нынешних господ, чтобы морозного воздуха глотнули.

Теплее в твоей квартире не станет, да хоть не обидно будет.

- Эй? Ты того? - крикнул мужчина в каракулевой шапке.
Говорить-то говори, да не заговаривайся!

Иван Иванович видел этого мужчину. Каракулевая шапка была низко надвинута на лоб, а лицо скрыто в поднятом воротнике. Он и выкрикнул предостерегающие слова куда-то вниз, в глубину полушубка и оттого голос как бы растворился среди пассажиров.

- А то что? - осведомился «бугай» и стал вертеть головой, чтобы увидеть того, кто сказал такие слова, но народу было битком, а гражданин, «предупредивший» не пожелал открыть свое инкогнито. Ивану Ивановичу сильно, просто нестерпимо захотелось показать, на гражданина в каракулевой шапке, но подоспела очередная остановка и снова всех сбило в кучу. Видно «по-человечески» у шофера не получалось, по крайней мере, до тех пор, пока из автобуса не вышел Крошкин.

Тамара не особенно огорчилась, когда муж рассказал за ужином о результатах трудоустройства, только заинтересовалась, пойдет ли он завтра и во сколько?

Крошкин сказал, что как обычно пойдет часов в восемь, потому что на «Гурманку», так звали ту часть города, где находилось «ИЧП ДРОЗД», ходит автобус, и рассказал, что произошло по дороге домой.

- Хорошо быть сильным, - сказал Иван Иванович и добавил. - Если у тебя нет власти, конечно.

Он немного подумал и закончил эту мысль неожиданной для него сентенцией:

- А если подумать, там, где сила, там и власть. У меня вот вроде и была власть, приходили ко мне, трепетали, а вся настоящая сила была у моего непосредственного начальника. Скажет, бывало: «Ты там тресту Кузбасстрой обнули показатели – и баста!» И такое сотрясение во всем нашем медвежьем углу

происходит от моего крохотного движения пера, от чуточной цифири в квартальном отчете. А сам этого сделать не могли – пробкой вылетишь! Знал, знал сверчок свой шесток, а вот революции этой не нужен стал. Думаю, других набрали, помоложе и поглупее. Ну, так ведь и надо, на первых порах, копытами землю рыть! Начальству свое рвение показать, а вот год-другой пройдет и все затянется, как на моих стеллажах, паутиной.

Тамара хмыкнула и скептически поглядела на мужа. В первый раз за всю свою долгую совместную жизнь она увидела невзрачность Ивана Ивановича и неожиданно подумала, что прожила эту единственную жизнь рядом с каким-то уродцем.

«Словно, какая-то пелена скрывала от меня мир? Почему я вышла за него замуж? Почему ни разу в жизни ему не изменила?» Мысли наворачивались одна на другую и вскоре от приподнятого настроения осталась одна злость и раздражение на мужа.

- Делать нужно что-то, крутиться, а не ходить, сопли распустив! - выкрикнула она.

Иван Иванович изумленно поглядел на супругу, а потом, тяжело и глубоко вздохнув, ушел в спальню и улегся в постель. Тамара забеспокоилась, уж не случилось ли с ним то же самое, что было недавно? Ведь завтра, в десять, придет Антон Соломонович. Она подавила в себе злость и раздражение, вошла к мужу в спальню, села на краешек кровати и погладила его по голове:

- Прости меня, Иван, сорвалась я.

- Да ладно, - ответил муж, - я же понимаю. - И неожиданно жарко зашептал, - Мне бы помереть, Тамара, зачем жить, когда тебя на каждом шагу унижают? Ведь бывает же так – раз и инфаркт! Был человек, и нет его. Никого болезнью своей не мучил, никому ничем не докучал, - он сглотнул комоч слез и тихо прошептал:

- Бывают же такие счастливые люди, что умирают сразу и

вовремя.

- Да ты что, Иван? - крикнула жена. - Ты эту дурь из головы выбрось! Смерть сама придет и нас не спросит. Хитрое ли дело. умереть? Вот выжить - это да!

Но муж ни как не отреагировал на эмоциональный всплеск жены, и это очень обеспокоило Тамару:

- Ты завтра непременно сходи. Мало ли... Ну, сторож, ну и что?

- Куда деваться, - глухо ответил муж, - конечно, пойду.

- Вот, вот! И не кисни! Хочешь, я тебе в постель кофе со сливками подам?

- Спасибо, не надо, - ответил Иван Иванович, - я лучше посплю.

- Нет, не лучше; - возразила жена. - Виданное ли дело в семь часов укладываться спать? Телек бы посмотрел!

Ивану Ивановичу ничего не оставалось делать, как облачиться в теплый стеганный халат и сесть в зале перед телевизором. Он с интересом посмотрел программу «В мире животных».

И пробурчал, что, слава богу, хоть это оставили и не подвергли «новой революционной редакции», однако вслед за передачей началось нечто невообразимое для психики Ивана Ивановича, какая-то «получерная девица» начала объяснять премудрости техники секса, а приглашенная дама средних лет комментировать теоретическую часть личным практическим опытом. Было предельно стыдно, тошно и старо, как весь этот мир от Адама и Евы.

Тамара возилась в ванной и Иван Иванович убавил звук, а потом, не заметив как, уснул прямо в кресле. Потом пришла дочь и он проснулся.

Дочь сообщила новость, что в Госсовете рассматривается новый Уголовный кодекс по этому кодексу, чем выше у человека должность, тем меньше ответственность за совершенные

им преступления, если они не связаны с уголовщиной.

- Президент и члены его семьи абсолютно неподсудны!

Эта тема на какое-то время заинтересовала Ивана Ивановича и он заметил:

- А вот в Библии сказано: «Кому много дано с того и больше спросится», а тут получается все наоборот?»

Вопрос был адресован в пустоту, мать и дочь только переглянулись. Тамара подумала: «Эвон куда его понесло, в Библию!».

Такие книжки в руках мужа она не видывала: «Услышал, наверное, где-то...».

Разговор шел в зале, при включенном телевизоре и так совпало, что как раз, в это время, показывали церемонию освящения вновь построенного храма. Присутствовали члены правительства и сам президент. Пел церковный хор, певчие сладкоголосыми голосами выводили непонятную, тревожащую сердце песнь. Все было так ново, так неожиданно и непривычно, что завораживало своей непривычностью и новизной, а может еще чем-то. Дочь Ольга – фыркнула и ушла в свою комнату, «включилась» в плеер.

Следом за освящением храма показали драку в Госсовете. Потом пошло какое-то шоу то ли «Два на один», то ли «Один на один» и в пылу дебатов политик опруденил ведущего. Это было смешно и натурально

Позже показывали, как грабители пытали бизнесмена электрическим утюгом. Этот сюжет немного смутил Тамару Николаевну, но мало ли что показывают? Вот и о Боге говорят, а кто его видел? Однако смущение от этого сюжеты не стояло в одном ряду с проблемой Бога, но, тем не менее, Тамара Николаевна гнала всяческие, смущающие обстоятельства с яростью священника изгоняющего из храма беса!

Утро следующего дня не принесло неожиданностей: Иван Иванович оделся и ушел, следом ушла Ольга, а потом позвонил Антон Соломонович и сказал, что он захватил с собой оговоренную сумму денег и уже выезжает.

Звонок в дверь был резким, требовательным и, приодевшись к визиту. Тамара Николаевна, бросила на трельяж пуховку и побежала открывать дверь, в дверях стоял Антон Соломонович, но не один, рядом с ним были еще двое - мрачного вида мужчины.

Тамара хотела спросить, кто это, но Антон Соломонович, а вслед за ним и мужчины решительно вошли в комнату и закрыли за собой дверь на ключ. Тамара Николаевна имела привычку оставлять ключ в дверях, если была дома.

- Здравствуйте. Тамара Николаевна, - сказал Антон. - Вы уж извините, что не один.

И, не дожидаясь приглашения, хозяйски прошел в зал, сел в одно из кресел, заложив ногу за ногу. Дурные предчувствия комом поднялись с низа живота и застряли посреди груди Крошкиной.

Испуганная таким вторжением, Крошкина села рядом, вплоборота к Антону Соломоновичу, в такое же кресло. Пришедшие с Антоном мужчины остались в коридоре.

- Итак, Тамара Николаевна, буду с вами предельно откровенен, - он поглядел в глаза Крошкиной холодным, почти ледяным взглядом, ничуть не похожим на тот, которым он смотрел на нее там, на базаре, да и сейчас, перешагивая порог её квартиры. От этого взгляда холодок пробежал по спине Тамары.

- Так вот, вы сами, так сказать, добровольно отдадите нам драгоценности, или мы их возьмем у вас, но сделаем вам больно?

Первый порыв Тамары был - закричать истошным голосом: «Грабят!» Но она не закричала, а пробормотала, что у нее

нет ничего, кроме той клипсы.

- Надо же? - ехидно сказал представитель международной компании, и голос его окончательно парализовал Крошкину. Как-то сразу потерялась всяческая воля к сопротивлению, к защите, словно всю пронизала некая магия, обессиливающая все тело.

Когда-то, давно, ей делали операцию по удалению аппендикса и перед тем как дать наркоз, ввели релаксант, так вот, сейчас было что-то похожее с этим состоянием: внутри все кипело и кричало, а сил пробиться наружу не было.

Между тем Антон Соломонович продолжал:

- Только, умоляю вас, не говорите, что нет ничего? Ну, зачем вам нужно ради этого презренного металла, который вы в любом случае отдадите, терпеть муки?

Тамара молчала, представитель фирмы «Гольд и Сириус» глубоко вздохнул:

- Боже, до чего глупы люди? Везде и всегда одно и то же.

- Шеф, - сказал один из парней, - чего резину зря тянуть, - и гоготнул: пора бы из этой дамочки нервы потянуть, хотя бы «магнеткой», или попроще - сигаретой и к сиське.

- Это тебе, Смурной, нравится бабам титьки сигаретой прижигать, а мне нет,

- Твое дело, ты хозяин, - согласился тот, кого он назвал Смурной. - Только так быстрее.

- Тамара Николаевна, хотите я скажу, где вы прячете золотишко? - Антон внимательно оглядел комнату и ткнул пальцем в сервант. - Там?

Какая-то сила вскинула Крошкину с кресла и она ринулась к серванту, но Антон на лету схватил ее за кисть руки и, не вставая с кресла, слегка повернул ее. Тамара, описав широкий полукруг по залу вокруг сидящего в кресле Анотона Соломоновича и, как-то безобразно, некрасиво вскинув голые ноги так что мелькнули кружевные трусики, ударилась голо-

вой о то же кресло с которого только что соскочила.

- Давай, - приказал Антон, обращаясь к Смурному. Тот вытащил из-за пазухи кожаной куртки две полоски железа, загнутые с обоих концов наподобие монтировок, и шагнул к серванту.

- Ах, Тамара Николаевна, Тамара Николаевна. Вот видите, как все просто, а вы хотели все усложнить да еще, чтобы я взял очередной грех на душу?

Через минуту Смурной хмыкнул.

- Что? - спросил Антон.

- Да так, - ответил тот, - загадка для идиотов. Сервант, понимаешь, серийный, но, видно, потаенный ящичек сделан на мебельной фабрике по заказу.

В серванте что-то хрустнуло и Смурной сказал:

- Вот оно.

В руках его была шкатулка палехской работы.

- Жалко портить, может быть гражданка отдаст ключик?

- Слышите, Тамара Николаевна? - Антон дотронулся до её плеча; - Ключик Смурному требуется, чтобы не портить труд художника.

Крошкина отвернулась от Антона и, достав из лифчика маленький ключик, швырнула его к ногам верзилы.

- Ну зачем же вы так, как собаке кость, Тамара Николаевна, человек может, обидиться и сделать вам больно, верно я сказал, Смурной?

- В точку, хозяин, - ответил тот, поднимая с пола ключик. - Всю жизнь мне швыряли на пол, еще с детдома, как псу бездомному, вот такие, с позволения сказать, господа.

- Ого? - удивленно прокомментировал Смурной то, что увидел в шкатулке. Антон, не вставая с кресла, протянул руку. Смурной подошел к нему и неожиданно, даже для Антона, плюнул в лицо Тамары. Плевков был сильным и обильным. Крошкина вскрикнула и принялась утираться рукавом платья, потом вско-

чила, но все тот же Смурной тычком ударил её в грудь:

- Сиди, блядь, и не рыпайся.

Крошкина затихла в кресле. Антон перебирал драгоценности, иногда вынимал их из шкагулки на свет, потом закрыл ее на ключ и передал Смурному. Встал, потянулся и посмотрел на Тамару,

- Была у вас власть, было у вас и золото, что справедливо, ибо это глупо. Теперь власть наша и золото наше, что достоверно, ибо это нелепо. Так вот, не знаю, поймете ли вы, Тамара Николаевна, глубину этого силлогизма, скорее всего не поймете, но рекомендую понять одно: не пытайтесь куда-нибудь звонить, или что-то предпринимать. Во-первых, это бесполезно, во-вторых - хлопотно, и в-третьих, если надоедите, то и опасно для вас. Когда я говорю - для вас, то имею в виду не только вас лично, но и вашего мужа, и вашу дочь в особенности. До свидания, Тамара Николаевна, я был очень рад знакомству с вами, не разочаровывайте меня какими-нибудь, глупостями, Телефончик, кстати, будет у вас работать и оплачен за три месяца, вот так-то.

И уже закрывая за собой дверь, сказал:

- Всего вам доброго, не теряйте самообладания. С золотом нужно расставаться без истерик, легко, как и с властью. — И уже на пороге добавил: - Впрочем это одно и то же.

Такого глубокого унижения Тамара Николаевна еще не испытывала. Как ни странно, но потеря драгоценностей не так потрясла, как плевок этого верзилы, да и не сам плевок, а то с каким глубоким, с каким искреннем презрением он это сделал, словно она была хуже «мокруши» или «уховертки». Она чуть ли не до крови терла мочалкой свое лицо и поняла, наконец, что этот плевок никогда в жизни не смыть, что он навечно запечатлен на ее лице, как клеймо на теле разбойника.

Когда пришел ее муж. Тамара ничем не показала, что в

доме произошло ограбление, держалась она внешне спокойно, но то и дело хваталась за лицо и впивалась ногтями в то место, на которое упал плевков,

- Что, зубы болят? – спросил муж, заметив эти движение.
– Нынче зубы лечить, так лучше сразу утопиться.

- А? Что? - спросила Тамара, так и не поняв, о чем её спросил Иван Иванович.

- Я спрашиваю: зубы болят?

Вопрос мужа показался настолько странным и нелепым и в то же время соответствующим истине, хоте болели не зубы, а душа, но боль от этого была не меньшей. И эта боль проецировалась на её лице. Тамара засмеялась пугающим, квакающим смехом, а потом убежала в спальню и не выходила из неё до тех пор, пока Иван Иванович не отправился в свой очередной поход в ИЧП «Дрозд». Вернулся он после обеда с тем же плачевным результатом. В ИЧП «Дрозд» принимали на работу лиц, отслуживших в ВДВ или частях особого назначения. В крайнем случае, принимали бывших работников милиции, имеющих опыт сысской работы.

* * *

Три направления, теперь уже с резолюциями «Не требуется» и «Не нужен» лежали в кармане пиджака. На следующей неделе Ивану Ивановичу дадут новые направления и, кроме того, выдадут обещанное пособие по безработице.

Ничего примечательного не произошло в эти дни, разве что цены на товары продолжали неудержимо расти и во все больших объемах выплачивали зарплату продуктами и товарами первой необходимости. Когда-то казавшиеся смешными предложения типа: «Меняю - шило на мыло», - стали обычными. Иногда раздавался звонок в квартире и кто-то предлагал: «Меняю ведро картошки на полведра свеклы. Могу при-

нять ваши предложения, по натуробмену, но только не предлагайте книги».

Ивану Ивановичу выдали на неделю пять кило морковки. Морковка была хорошей, твердой и сочной, а вот селедка была мелкая, худосочная и с ржавчиной, мясо само отставало от костей, даже мелких.

Тамара сидела дома, в подавленном состоянии, а Иван Иванович бегал по новым организациям и привычно уже получал отказы.

Так прошла еще одна неделя, Ивану Ивановичу сказали в «Службе занятости», чтобы он самостоятельно искал работу, пояснив, что через месяц ему пособие наполовину урежут, а еще через два месяца ополовинят оставшуюся половину. А через три месяца совершенно снимут с учета и живи, как сможешь.

На этот раз Иван Иванович принес в дом три кило сосисок.

Жены дома не было. Иван Иванович самостоятельно отварила пару штук и с жиденьким чайком принялся есть. Сосиски были невкусными, в них все время попадалось что-то похожее на хрящики и Иван Иванович, обильно поливал их ароматизированным уксусом... Не успел он доест, как пришла жена.

- Вот, - сказал Иван Иванович, - сосиски принес.

Но Тамара, бросила на стол какой-то листок.

- Читай, - сказала она.

Иван Иванович, взял листок и прочел следующее: «Письки, сиськи - все в сосиски».

Лицо Крошкина посерело и затвердело, но он продолжал пережевывать сосиски, словно превратился в автомат. Разумеется, Тамара к ним не притронулась, а Иван Иванович с мрачным, отрешенным видом ел. Ел так, как будто давил какую-то гадину и в этом видел смысл и цель своей жизни. На следующий день по местному радио мэр города Гаран Великолепный, разразился бурной речью о происках антидемократичес-

ких сил, расклеивших в общественных местах паскудные, лживые листовки. Он и божился, и клялся, что сам и вся его семья любят сосиски местного мясокомбината. Потом по местному телевидению был показан сюжет на эту же тему и мэр на глазах всех телезрителей смачно расправился с целой сосиской.

- Мы не позволим, - сказал мэр, - чтобы всяческая шелупонь дискредитировала власть. - Затем он принялся отчитывать несознательных граждан, которые рубят елки в городских парках и скверах, ссылаясь на нехватку дров для растопки печек.

Приближался новый год. Заканчивался третий месяц со дня начала «Четвертой революции», теперь уже названной во всех публикациях - «Демократически-победоносной».

* * *

За десять дней до начала Нового Года какая-то властная, неодолимая сила потянула Тамару Николаевну на городской рынок. Эта сила разрывала её душу надвое; ей хотелось забыть смертным сном все, что произошло в этой комнате и особенно плевков Смурного, клейкий, пахнувший, гадкий. Тамара дала себе клятву, что ноги ее не будет в этом проклятом месте, но как часто наши клятвы являются столь же сильнейшим желанием нарушать их! Тамаре Крошкиной до сновидений, до слуховых галлюцинаций хотелось увидеть обворожительного и галантного Антона Семеновича.

Но, как оказалось впоследствии, в ней жила сила куда большая, куда более безумная, чем могла прийти в это по сути хрупкое существо, в простую русскую бабу. Сила мщения! И как ни странно, вся эта «немезидина» мощь сосредоточилась только на образе Смурного.

* * *

В один из рыночных дней Тамара пришла на базар без четких и ясных намерений, как бы спонтанно ведомая некой посторонней силой. Она почти сразу же увидела представителя компании «Гольд и Сириус» с табличкой на груди: «Куплю золото». Сердце подскочило и стукнуло у самого горла. Тамару бросило в жар и тут случилось странное: Антон завертел головой, словно почувствовал её присутствие и через минуту-другую их взгляды встретились.

Сложная гамма чувств отразилась на его ухоженном лице

Вначале он поглядел зло и настороженно, но это было мгновение. Он умел контролировать свои чувства и вот - широкая добродушная улыбка поползла по лицу Антона. Он приветственно помахал рукой и пошел к ней.

- Здравствуйте, Тамара Николаевна, - Антон сделал попытку поприветствовать её и чуть-чуть склонил голову в полупоклоне. - Надеюсь, вы уже пережили горечь утраты?

- Вашей наглостью, но не Вашими молитвами, - холодно ответила Крошкина,

- Ну.. - неопределенно протянул Антон. - А я, знаете, рад видеть вас в добром здравии. Поди, еще золотишко имеется, продайте-с.

- Бросьте врать-то, господин представитель совместного предприятия, или как там его?

- Предприятия, предприятия, голубушка, тут без дураков, - он как-то неловко полез в карман, вытащил из него пачку мелких бумаг, переложил их в другой карман, а потом вроде как опомнился - к чему суэта перед этой бабой? Однако сила инерции вела его все в том же ключе - оправдательном.

- Нет, я на самом деле рад. Видите ли, по роду своей деятельности мне приходится иметь дело с людьми, скажем так, в экстремальных ситуациях, так вот, нужно отметить, что вы

вели себя не самым худшем образом.

- Спасибо за комплимент, - Тамара горько усмехнулась, - а этот, ну тот что плюнул мне в лицо? - неожиданно для самой себя спросила Крошкина. И тут же поняла, что именно жгучая обида была той силой, которая привела ее на это злосчастное место, а вовсе не желание увидеть Антона Соломоновича.

- Ах, этот? - Антон пренебрежительно махнул рукой. - Что о нем говорить? Так, рядовой сотрудник.

- Я могу его увидеть? - спросила Тамара, еще не понимая, зачем.

- Да зачем он вам нужен, голубушка?

- Это мое дело.

- Да вот он, где-то здесь ходит, - Антон оглядел толпу. - **Точно! Вон у пивного ларька стоит.**

И показал Крошкиной. Тамара ничего не сказала Антону, а стала сквозь толпу пробираться к пивному ларьку. Хотя Смурной стоял вполоборота к ней, но Тамара узнала его. Антон шел рядом с ней и все спрашивал:

- На кой ляд сдался ей этот дегенерат.

Крошкина решительно пробивалась, несмотря на толчею, к пивному ларьку. Когда Тамара стала напротив Смурного она крепко вцепилась в его плечо и рывком развернула его лицом к себе.

Тамара плюнула ему в глаза. Слюна обильно скапливалась, пока она шла и ждала этого мига.

Смурной дико взревел и бросился на Тамару, но Антон едва уловимым движением руки опрокинул его на землю и тут же отпустил.

Смурной вскочил на ноги и стал дико озираться, не понимая, кто опрокинул его на землю

- Я, это, я, Смурной! - Антон схватил его пальцами за щеки и почти в упор смотрел прямо в дикие, навывкат глаза. - Я это,

понял?! Я, твой хозяин! Понял? – вдалбливал Антон ему одно и то же, стараясь не привлекать внимание посторонних.

- Хозяин, - прохрипел Смурной, - разреши, я разорву эту сучку.

Тамара стояла бледная, неподвижная, как соляной столб, в который Иегова превратил жену Лота. Моментаально вокруг них образовалось пустое пространство, но появился еще один прежний, молчаливый знакомец Тамары. Он тогда всю операции простоял возле входной двери и, кажется, не обронил ни слова.

- Арчул, – обратился к нему Антон, - уведи Смурного и втолкуй ему, что на части рвать он может только по моей команде. И еще одно вдолби в его голову, что я строго-настрого запретил ему на сто метров подходить к этой, - он кивнул на неподвижную Тамару, - гражданке. Если что, то ты меня знаешь, Арчул. Втолкуй так, чтобы понял.

- Хорошо, хозяин. - Тамара в первый раз услышала его голос, странный строй звуков речи и они показались ей сущей музыкой жизни. Оказывается, страх пережитый только что, изменил все краски мира.

- Эй, - сказал Арчул, трогая Смурного за плечо. - Эй, пошли, слышишь? Люди смотрят, а ты стоишь на коленях перед Антоном Соломоновичем. Неудобно как-то.

Смурной бросил на Тамару полный ненависти взгляд и нехотя пошел рядом с Арчулом. Когда они скрылись в толпе, Антон выдохнул из себя:

- Ну, ты даешь, - и добавил, - он же тебя действительно на куски бы разорвал и никто, заметь это – никто не заступился бы, а напротив – все враз отвернулись, оглохли бы и ослепли!

- Ну и пусть, - сказала Тамара и провела рукой по щеке. Это она делала уже в тысячный раз и все время ладонь чувствовала вязкую слюну Смурного. На этот раз она ничего не почувствовала и, вздохнув с облегчением, ответила Антону:

- После такого, зачем жить?

- Вот оно что! Ты за этим сюда пришла? А я, дурак, не догадался! - Антон был удивлен.

- Не знаю, - ответила Тамара, - получается, что за этим.

- Слушай, - сказал Антон, что-то решив для себя, - ты же, как и твой муж, сейчас нигде не работаете? Кушать, наверное, нечего?

Тамара пожала плечами, мол, как все сейчас и многозначительно посмотрела на своего грабителя.

- Знаешь, в тебе есть что-то от человека - это редкость, обычно люди, как тля. А я люблю редкие экземпляры, будь то люди или камни. У меня есть магазин, поработаешь там продавщицей, а потом посмотрим. Больших денег не обещаю, но с голоду не помрешь, а твоего мужа пристрою где-нибудь сторожем.

Тамара плохо понимала, о чем идет речь, перед глазами стояло перекошенное от ярости и удивление лицо Смурного, хотя его давно увел Арчул. Антон Соломонович ни чуть не меньше был удивлен поступком Тамары и задавался в общем-то глупым вопросом: «Интересно, каков же муж у такой женщины?». Наконец, не преодолев в себе искушение, спросил.

- Что? - Тамара вопросительно посмотрела на Антона. Она не ожидала такой вопрос и в такую минуту.

- Муж у тебя какой, спрашиваю, поди верзила подстать Смурному и ему палец в рот не клади? - повторил Антон свой вопрос.

- Да уж... - и в это «да уж» Крошкина вложила все накопившееся за долгие годы презрение к мужу.

- Бывает... - Антон дотронулся до плеча Тамары, словно удостовераясь в том, что такое и вправду «бывает». Вот женщина совершившая поступок который иному мужику слабо будет сделать и где-то там, дома муж, невзрачный, из породы телков. «Интеллигент наверное», - подумал Антон, словно сам

себя вычеркивая из этого ряда.

За два века, как в России появилось это слово, значение его расплылось, огромным пятном охватило всех: от дьячка, умевшего прочесть псалтырь, до социалиста, прочитавшего всех французских мыслителей Просвещения. А уж инженер путей сообщения или телеграфист, – само собой, интеллигент! Без сомнения в интеллигенты попадали хорошенькие артистки и артисты, начальники департаментов и чины полицейских-милицейских органов. Россия в таком широком понимании была – и царская, и советская – сплошным обществом интеллигентов. Партийные интеллигенты периодически сажали в лагерь своих партийных товарищей, а взамен им, как по конвейеру на птицефабрике, из недр комсомола, с запасных складов партийной бюрократии, шла новая смена интеллигенции, иначе называемой номенклатурой.

Больше Антон ничего не стал спрашивать, только назвал номер магазина и сказал, к кому там обратиться.

Так, за пять дней до начала Нового года, Тамара устроилась на свою первую в жизни работу в продуктовый магазин.

* * *

Перед Новым годом Ивану Ивановичу выдали пособие: бутылку плодово-ягодного вина, комок слипшихся фиников, полкило сахара, полкило муки, пачку молочного маргарина и горсть карамели.

Новогодний подарок Тамары был куда богаче, чем пособие Ивана Ивановича.

Когда Тамара пришла в магазин, на работу, то директриса долго и пристально рассматривала её, удивляясь, что в ней такого нашел хозяин. А ведь не с бухты бархаты позвонил, причина была.

Пока Тамара писала заявление, она ломала голову над этим

вопросом и пришла к заключению, что тут дело не в любовном романе, а в чем-то другом, это другое, очень пугало Анну Николаевну, так звали директрису, и она решила присмотреться к новенькой. Но и Тамара Крошкина на мучивший Анну Николаевну вопрос ответа не имела.

* * *

Как-то в магазин забежал ее «благодетель» Антон и Тамара, набравшись смелости, спросила:

- Антон Соломонович, что вы во мне нашли?

Тот удивленно посмотрел на нее, а потом лицо растеклось в улыбке:

- Человека нашел, дорогуша, а это такая редкость! Ну, и «во искупление грехов молодости», дорогая Тамара Николаевна, во искупление... К тому же я не хотел, чтобы женщина с таким темпераментом и с таким маниакальным упорством, как у вас, устроила на меня охоту...

- Вы серьезно полагаете, что я могла бы?

- Вы бы посмотрели на себя тогда, на базаре - это убеждает, что можете... Меня Вы убедили. А, если совсем по честно-му, по правде, то и сам не знаю, почему вы мне приглянулись. Я, Тамара Николаевна, человек интуиции, порыва, своего рода художник и оставим этот разговор.

Вечером 31 декабря позвонили в дверь, открыла дочь Ольга и крикнула матери: «Мама, тут тебя спрашивают!» Тамара вышла из кухни в фартуке с заляпанными тестом ладонями. В коридоре стоял Арчул и держал в одной руке букет хризантем, а в другой увесистый пакет. Ольга с интересом рассматривала его.

- Совсем, скажу я, замерз, - он кивнул на букет, - холодный вода ставить нужно, в теплый нельзя совсем. Хозяин послал.

Тамара приняла из рук Арчула подарки и сказала:

- Проходи, обогрейся, гостем будешь. Через полчаса пель-

мени приготовятся.

- Нет, - Арчул развел руками, показывая тем самым, что он не против бы, - нет, дорогая, хозяин будет недоволен. Пусть будет в этом доме мир и спокойствие, - сказал Арчул и вышел.

- Кто это? - С любопытством спросил Иван Иванович, он вышел из кухни, где лепил пельмени, на незнакомый голос.

- Так, один, с нашей работы, - ответила Тамара. Иван Иванович понимающе кивнул головой, Ольга дернула мать за рукав.

- Ты чего? - спросила Тамара. Дочь жарко зашептала ее на ухо:

- Это, мама, не с твоей работы, это, это...

- Что - это? - Тамара была напряжена, как струна, и боялась, что дочь скажет что-то ужасное и это ужасное начисто разобьет, кажется, уже складывающуюся жизнь.

- Ты ничего не понимаешь, мама! Это доверенное лицо Самого!

- Фу ты, - Тамара глубоко выдохнула. - Конечно «самого», ведь я устроилась на работу в частный магазин.

Дочь поглядела на нее с недоверием. Родители, как всегда, ничего не понимают в реальной жизни. А между тем Ольгу занимала одна мысль, что же такое случилось с ее мамой, если могущественные силы, могущество которых едва разгадывалось, поспособствовали не только трудоустройству на теплое местечко, но и посылают такие презенты? Мало того – Ольга могла бы поклясться, что однажды вечером какой-то человек с нерусским акцентом остановил одного настойчивого преследователя из дискотеки. И ей даже припоминается, как будто, странное имя - Смурной. Дочь этой тайной матери была заинтригована, чего не скажешь об Иване Ивановиче Крошкине. Жизнь вроде налаживается, вот и он уже три ночи отдежурил на дровяном складе и даже нашел в этом много хорошего. Он, например, впервые увидел звездное небо во всей

его потрясающей глубине и страшной красоте. Именно страшной – на этом бы Иван Иванович стал упорно настаивать, ведь каждая блеска на этом небе – звезда! Солнце-то вон, когда войдет в ярость – спасу нет, а тут тысячи тысяч звезд! Приглядишься – цветные, как карамельки, но в середине, в середине есть нечто такое, чего глаз Ивана Ивановича выдержать не мог, его словно раскаленной иглой протыкали. Посмотрит мельком, удивится и ужаснется миру небесному и начнут приходить в голову мысли разные, подхваченные ранее на дорогах жизни. Хотя какая такая дорога была у Ивана Ивановича? Да почти что никакой! И все-таки даже на этой дороге, оказывается, были обронены случайные мысли.

Вот, например, если вечность, то значит ли это, что в вечности нет разницы когда умер Тутанхамон или когда умрешь ты? Что в ней все одно, что вчера было, что сегодня есть, что завтра будет?

* * *

Новогодние праздники растянулись на три дня и все это время в квартире Крошкиных были хлеб, соль и вино. Иван Иванович позволил себе даже двести граммов коньяка, после чего ему показалось, что не все так уж плохо в новой революционной ситуации. Под пьяненькие мысли думалось легко и нестрашно, просто думалось. Вот когда бы он мог представить себе, что его жена Тамара так быстро и так эффективно приспособится к новым обстоятельствам? А эти самые собственники все-таки не черти, не монстры какие-то, а вполне приличные и заботливые люди, вот и под Новый год не забыли, и цветы – это же сколько стоит?

Иван Иванович задумчиво поглядел в потолок, пытаясь вычислить сумму, но у него ничего не получалось, поскольку новые цены были непредставимы для него, а старые цены и

вовсе вводили в крайнее заблуждение. Хлеб, к примеру, или соль стоили копейки, а сейчас? Иван Иванович глубоко вздохнул и оставил это безнадежное занятие. Рука сама потянулась к стопке и добрая порция коньяка и вовсе разрешила всё неразрешимое ранее.

* * *

В первый рабочий день после Нового Года когда Тамара и дочь ушли, зазвенел телефон. Иван Иванович с опаской поднял трубку, мало ли что? Женский голос спросил:

- Это квартира Крошкина Ивана Ивановича?

- Да, - ответил Крошкин.

- Вас приглашают на завтра к десяти часом, для собеседования в органы, - Голос сделал паузу и добавил: - Куда следует.

Иван Иванович враз покрылся холодным липким потом. Он тут же лишился сил и не смог даже уточнить, по какому вопросу. Весь день он метался по квартире, не зная, что предпринять и о чем подумать. Пришла дочь Оля и спросила отца:

- Папа, что случилось? На тебе лица нет.

- Вызывают, - Иван Иванович виновато улыбнулся и развел руками, мол, видишь, как все оборачивается.

- Куда вызывают? - переспросила дочь.

- Куда следует, - ответил отец, это была магическая фраза, которая вмещала в себя такое количество смыслов и оттенков смысла, что стороннему человеку, не пережившему «трех революций», тайну ее вовек не понять, она понималась не умом, а нутром. Это было «нутряное знание», наследственное, закодированное в генах еще во времена первой революции.

Официальные лица говорили «Куда следует», например: «Обратитесь куда следует». В этом не было ничего страшного и опасного. Совершенно иной смысл приобретала фраза «Где следует, там с вами разберутся».

В этом случае появлялся особый, трагический смысл, поскольку «куда следует» означало страшные и таинственные в своей бездонности тайны, туда, «куда следует», в разные периоды революций «проследовали» десятки миллионов, а оттуда вернулись десятки тысяч. Чаще эти учреждения с многочисленными сообщающимися подразделениями, назывались - органы. На официальных бумагах красовались аббревиатуры органов, но их можно было только созерцать глазами, как буддийскую мандалу, а произносить считалось дурным предзнаменованием. Так и говорили: «Накаркал?». Поэтому можно было понять растерянность Крошкина и всю глубину виновности его перед семейством.

- Папа, да не тьяни ты, говори толком, зачем?

- Для собеседования, - сказал Иван Иванович и чтобы прекратить дальнейшие вопросы добавил, - а больше я не знаю. Не сказали.

Дочь на минуту задумалась, а отец стоял перед ней, как школьник перед учителем и ждал, какой вердикт вынесет ему его же дочь, наконец, она посмотрела на отца и сказала:

- Успокойся, папа, видимо, ничего страшного, они по ночам приезжают, если что серьезное, а тут звонок. Только ты там не очень-то распространяйся, хвали власть нынешнюю и ругай прежнюю, но в меру, они это любят. Может, насчет работы, служба какая. У них с кадрами напряженка.

Иван Иванович крепко задумался и особенно о том, что «приезжают ночами». За тридцать лет безупречной работы и спокойного бытия все как-то позабылось и казалось страшной сказкой, рассказанной шаловливым детям на ночь, чтобы скорее угомонились и уснули. Страшной сказкой, как подъезжают к домам «черные маруси» и из них выходят суровые люди в длиннопольных плащах, хозяйски поднимаются по лестничным маршам... Но сейчас все вспомнилось, и от этого —

«вспомнилось», ему стало жутко. Чтобы как-то отвлечься, Крошкин включил телевизор и в комнату ворвалась раскаленная атмосфера политических страстей столицы.

«Демолобы» обвиняли «демофилов» в предательстве интересов «Четвертой революции», а какой-то политик из числа приверженцев «всеобщности и равенства» истошно орал на площади, призывая всех «к всеобщему и поголовному неповиновению». Выражение «поголовное» любили все политики со времен еще первой, кажется, «Февральской революции».

Где-то бастовали. Где-то стреляли, взрывали, убивали, брали в заложники, торговали всем, чем только можно, от коровьей до человеческой печени. От зародышей овец и баранов до новорожденных младенцев. Какой-то человек суетливо спрашивал всех и каждого, встряхивая своей челочкой «а ля фюрер»: «Вам нечего продать? Нет, Вам действительно нечего продать? Неправда – Вы лжете. Лжете, Лжете! У Вас есть парные органы. Знаете что такое парные органы? Ах, знаете! Тогда прекрасно! Тогда нам есть, что предложить на мировые рынки кроме газа, нефти и сыворотки крови! Так что не пропадем господа! Да! Не пропадем!».

А над всем этим срамом на радужных крыльях в свете софитов и лазерных лучей плыла реклама: подхихивающая, подмигивающая, притопывающая, припевающая, пританцовывающая, обнажая девичьи попки и пупки. Реклама! Реклама! Косяками, густо! Назойливо и от того предельно противно. Иван Иванович, плюнул и выключил телевизор.

Пришла жена, и он сообщил ей неприятную новость, что его вызывают «куда следует». Тамара вяло отреагировала на нее. С непривычки вставать рано и целый день стоять за прилавком, у нее разболелась голова и «гудели» ноги.

Вечер прошел тихо, полусонно, Ольга «включилось» в плеер и сидела блаженно закатив глаза, Тамара смотрела мекси-

канский сериал «Они тоже плачут». Иван Иванович пристрастился к чтению и уткнулся в очередной роман Ивана Ефремова. Сквозь перипетии сюжета, нет, нет, да и проступала сосущая сердце тревога по поводу вызова в органы.

* * *

Здание грозного и всемогущего учреждения органов находилось на проспекте «Валино» в пятиэтажном здании, облицованном «под шубу» и покрашенном черной краской. Все это создавало особое, гнетущее впечатление на тех, кто приходил сюда не по собственной воле. Новая революция только сменила эмблемы на дверях да флаг на крыше, но не тронула внутреннего содержания и, самое главное, традиций этого заведения.

Иван Иванович вошел в приемную на «ватных ногах», едва держащих его трепещущее тело, дежурный - мужчина в гражданской одежде, но с офицерской выправкой, сверился со списком вызываемых, затем вызвал сопровождающего и Ивана Ивановича повели по длинным и узким коридорам, по переходам в само чрево учреждения. Наконец они достигли дверей с золотой надписью «Приемная». В этой приемной, на кожаном диване с высокой спинкой сопровождающий оставил Ивана Ивановича под надзор другого «гражданского человека». Но Иван Иванович посидел на кожаном диване не более трех минут. Раскрылась двойная, моренного дуба, тяжелая дверь и проглотила Крошкина.

Теперь он сидел уже на неудобном стуле, узком и высоком, ноги не доставали пола, напротив розовощекого, седоватого, подтянутого мужчины. Тот отложил в сторону какую-то папку и посмотрел на Ивана Ивановича. Взгляд был пронзительный, прожигающий щуплое тело Крошкина. Как бы вместо человека был живой рентгеновский аппарат, нацеленный не только «просветить» содержимое Ивана Ивановича, но и

прижечь отдельные места оного. От этого взгляда невозможно было бы скрыть даже проглоченную ненароком пуговицу, не то что мысли, которые начертаны были на лице Ивана Ивановича аршинными буквами.

- Страшно, да? - осведомился мужчина.

Иван Иванович пролепетал, что-то похожее на:

- Есть такое.

- Если страшно, то значит есть и вина, верно ведь? - и не дождавшись ответа Крошкина, сказал: - Зовите меня Петром Петровичем.

Крошкин воспользовался случаем и начал свою оправдательную речь. Начал сумбурно, непоследовательно, но кто бы на его месте смог бы защищать себя так же, как защищался Цицерон против нападок заговорщика Каталины.

- Я всегда был лоялен к властям. Я работал и ничего, кроме работы, не знал. За что меня сюда вызвали?

Возникла пауза, которую нарушал только громкий ход напольных часов. Петр Петрович спросил Крошкина:

- Разумеется, вы не догадываетесь, зачем вас вызвали сюда? И Зумазжихина вы не знаете?

- Нет, Зумазжихина я знаю, – обрадовался Иван Иванович, что хоть что-то он знает. - Он пьет кофе с печеньем «рафаэлло».

Иван Иванович как-то несолидно шмыгнул носом. Возможно, от волнения у него размякло в носу.

- Значит, Зумажихин пьет кофе с «рафаэлло». Так?

- Истинно так, товарищ...

- Ну, я же просил просто: Петр Петрович. Ладно, бог с ним с Зумазжихиным. А вот как вы отнесетесь к тому, чтобы вспомнить ваше детство? – Петр Петрович сделал многозначительную паузу, откинулся на спинку кресла и стал вертеть в руках остро отточенный карандаш. - Рассказы Вашей покойной матушки не припомните?

Опять возникла короткая пауза, Иван Иванович напряженно думал, о чем следует вспоминать, а о чем не следует. Да и по правде говоря, вспоминалась всяческая ничтожная подробность. Например, такая, что от постоянного мытья пола водой с песком и шорканья его голиком у них в доме на одной половичке образовался сучковый желвак. А дядя Гоша, соседний плотник, как-то сказал, показывая на него пальцем: «Помирать буду, а скажу: всем прощаю, но пихтовому сучку нет моего прощения».

Петр Петрович открыл папку и спросил:

- Иван Иванович, вам ни о чем не говорит такое имя: Ганс-Дитрих Хуберт? - И увидев, как вздрогнул Иван Иванович, удовлетворенно сказал. - Вижу, что оно вам известно.

Петр Петрович облегченно откинулся на спинку сидения и очень доброжелательным тоном, произнес:

- А мы думали, что опять пустышку вытянули! Ан нет! Чистый выигрыш и ни чей, а наш!

Потом с изрядной теплотой в голосе, если вообще его голос был способен настраиваться на такие тембры, сказал:

- Послушайте, Иван Иванович, что это мы сидим с вами как на допросе каком? Может быть кофеёчка с коньячком, а?

И, не дожидаясь ответа Крошкина, произнес в микрофон

- Кофе с коньячком, на двоих.

Он широко и приветливо улыбнулся Ивану Ивановичу и жестом пригласил к небольшому, низенькому столику.

- Пройдемте, нам там будет удобнее продолжить наш приятный разговор. Дитрих Хуберт, - и заметив недоуменный взгляд Крошкина, засмеялся и сказал, - Вот увидите, что разговор для вас, Иван Иванович, будет самый что ни на есть приятный. Ну и для нас, конечно. Мы нашли Вас, следовательно, заслуживаем... гм... некоторого поощрения по службе.

Не успели они расположиться в креслах, как в комнату во-

шел молодой человек с той же офицерской выправкой, какие, по всей видимости, только и водились в этом учреждении. В руках у него был поднос, сервированный к десерту. Заходил он два-три раза, незаметный, как тень, и ловкий, как фокусник. И тихо, почти незаметно исчезал.

- Ну вот, мы и одни, Иван Иванович, а правильнее, наверное, было бы сказать: Иван-Дитрих Хуберт или Иван-Ганс-Дитрих Хуберт, не знаю уж, как правильно будет. Вашего отца звали-величали именно так: Ганс-Дитрих Хуберт. Знала ли ваша мамаша, нарекая вас именем Иван, что в переводе на немецкий и есть – Ганс.

Крошкин поперхнулся кофе, а Петр Петрович услужливо протянул ему салфетку, словно работал не а органах, а в фешенебельном ресторане. Впрочем, есть люди, утверждающие, что лучших лакеев, чем средний персонал спецслужб, трудно отыскать: они дисциплинированы, выдержанны, сметливы и в них есть аристократизм, воспитываемый в воинском строю.

- Ну, не стоит так волноваться, господин Крошкин-Хуберт. Жизнь, война.... Словом, вселенский катаклизм и на фоне его обычная, земная, так сказать, любовь простой русской девчушки из глухого сибирского села к военнопленному пареньку... Это так понятно, так по-человечески.

Он замолчал, ожидая реакции Крошкина, но тот сидел в ошарашенном состоянии непонимания, что к чему и что зачем?

- Н-да... - с чувством произнес Петр Петрович. - Ну что же, не стану тянуть кога за хвост, Иван Иванович, если угодно вас так называть. Дело в том, что по международным каналам... словом, есть такая в Германии организация, которая разыскивает, точнее, устанавливает судьбы бывших военнопленных немцев в России...

Петр Петрович сделал глубокую паузу и отхлебнул кофе. Заметив, что Крошкин не пьет, а вытаращил глаза и смотрит

на него, как на фокусника, рассмеялся:

- Да пейте, пейте же, Иван Иванович, что вы меня рассматриваете, как экзотическую невидаль?

Выждав с полминуты и убедившись, что Крошкин сделал пару глотков кофе, он сказал:

- Должен вам сказать, что у них, там, на Западе, несколько иное представление о демократии и правах человека, чем у нас. Конечно, представления во многом ложные и даже нелепые, но... Так вот, наш президент перед их Рождеством встретился с их президентом и они подписали ряд договоров, в том числе и о правовом сотрудничестве, но это, так сказать, гарнир к главному, а главное...

Голос Петра Петровича достиг самых доверительных ноток на которых он был способен:

- Только возьмите себя в руки, Иван Иванович....

Петр Петрович налил вместо кофе полную чашку коньяка:

- Вам лучше выпить вот это и залпом, поверьте мне, это помогает.

Завороженный голосом и обескураженный таким приемом Иван Иванович, как марионетка, взял в бокал с коньяком и выпил, как советовали ему, залпом. Коньяк обжег пищевод и тут же растворился в крови. Приятно закружилась голова и отступил куда-то страх, исчезло напряжение от странной речи самого председателя учреждения органов.

Тот, выждав минуту-другую, продолжил:

- Я могу вас поздравить, Петр Петрович, вы теперь очень состоятельный человек. Даже по меркам Запада. Ну, а по нашим... - Он воздел руки к потолку. - Я даже боюсь сказать, как вы богаты.

Если бы бомба разорвалось за окном, то этот взрыв не мог бы потрясти так Ивана Ивановича, как потрясло только что услышанное, вихрь противоречивых чувств охватил его, в

голове пролетали одни за другими различные видения и сквозь это едва слышно пробивались, как журчание горного ручейка, слова его собеседника.

- Полный текст завещания хранится у нотариуса в Дрездене, но сумма наследства нам известна, что-то в пределах ста миллионов дойчмарок наличными и примерно столько же в ценных бумагах, а также усадьба где-то на границе с Францией. Вам чертовски повезло, что у вашего деда был единственный сын Ганс, а всех других близких родственников господь Бог прибрал много раньше, чем умер ваш дед. Словом, нотариальная контора сумела подсунуть через своих лоббистов в аппарат канцлера запрос о судьбе Ганса-Дитриха Хуберта. Наши органы по поручению президента проверили прохождение военнопленного с такой фамилией. Как выяснилось, в архивах наших органов был зафиксирован роман Ганса Хуберта с одной особой в сибирском селе Калары.

Он вскинул на Крошкина свои совиные глаза и спросил:

- Вы же оттуда родом? Так вот, из оперативного донесения следовало, что у него был короткий роман с вашей матушкой, Крошкиной Еленой Ивановной, итогом которого стали вы, уважаемый Иван Иванович. - он отхлебнул уже остывший кофе и потянулся за бутылкой с коньяком:

- Может еще? А Иван Иванович?

Домой Крошкина привезли на служебной машине с мигалкой и с пронзительным воем сирены на крыше «Тойоты».

Два молчаливых сотрудника проводили пьяного в дым Крошкина до дверей квартиры и помогли войти в нее. Обомлевшая и даже испуганная дочь принялась раздевать отца. За свои пятнадцать лет она впервые видела его таким пьяным, он бормотал что-то несурзное, вскакивал, размахивал руками, кому-то грозил свернуть шею, растоптать и смешать с грязью. Или принимался плакать, повторяя: «Мама, мамочка ты моя».

Словом, пока не уснул на диване, Ольга намаялась с отцом. Тамара пришла как всегда поздно, уставшая, с пакетом, в котором приносила продукты. Ольга рассказала ей, что отца привезли пьяным из того самого учреждения, что его завели в квартиру сотрудники, что отец нес какую-то чепуху и все время говорил, что они уедут в Германию, в Фатерланд.

Тамара, сгораемая жгучим любопытством, попробовала разбудить Ивана Ивановича, но тот только мычал и взбрыкивал ногами. Утром, когда Тамара собиралась на работу, он прошел в ванну и долго из ванной слышались стоны и плеск воды. Тамара, достала из серванта (из того самого, развороченного Смурным) початую бутылку водки, налила полстакана и приготовила несколько бутербродов с минтаевой икрой. Когда Иван Иванович вышел из ванны она сказала ему:

- Эй, гуляка, иди, опохмелись.

Иван Иванович, покачал головой:

- Не могу.

- Иди, иди да заодно и расскажешь, где и по какому поводу напился, как зюзя.

Крошкин, все так же постанывая, прошел на кухню, он ни грамма не верил в то, что ему рассказали, приписывая все действию алкоголя и собственному воображению, вот только, как понять, отчего, зачем его поили коньяком в этом учреждении. А то, что он пил там с этим, как его, Петром Петровичем - это отлично помнил. Да и голова, все его внутренности говорили о том, что действительно пил и так много, как никогда за все свои пятьдесят четыре года.

Тамара таки настояла на том, чтобы он выпил, водка не шла. Первый глоток вызвал взрыв обильной и глубокой рвоты, ему показалось, что его рвет уже чем-то позавчерашним. С третьей попытки он допил водку и ему сделалось хорошо. Сознание прояснилось и многое из того, что говорил Петр

Петрович, вспомнилось,

- Ну и о чем тебя там спрашивали? - Тамара поглядывала на часы, ей пора было уходить на работу

Крошкин бухнул сразу: - Я миллионер, Тома!

- Пока ты дурак, пьяный и больной с похмелья дурак! - ответила жена, одевая пальто. - Ты говори толком, мне некогда выслушивать твои пьяные бредни.

- А я не брежу! - вдруг взвизгнул Крошкин. - Не брежу, черт бы вас всех побрал!

Тамара так и села на табурет, не зная, что и подумать, она никогда не видела мужа в таком состоянии. Тамара жалобно сказала: - Иван, мне действительно пора уходить, что там произошло?

Но Крошкин все тем же, невесть откуда взявшимся у него визгливым голосом выкрикнул:

- Что слышала! Я же тебе русским языком сказал: я миллионер!

«Ну вот, - подумала Тамара, - ну вот оно и вылезло. что же делать-то? Как же его одного оставить? А я, дура, ему водки подсунула».

Крошкин словно догадался, о чем она думает и уже обычным, не чужим и визгливым голосом, а своим сказал:

- Ты, наверное, думаешь, что я с ума сошел? Так нет, хотя с ума сойти вполне возможно. У меня... У нас, - поправился Иван, - объявилось наследство в Германии, вот меня и вызвали, чтобы об этом сообщить.

- Но, как же это, Иван? - Тамара была потрясена. - Как же? Откуда?

- Я, оказывается, вовсе не Крошкин, а Иван или Ганс, что одно и то же, Дитрих Хуберт, вот так.

Сказал он и тем еще больше озадачил жену. Ведь за всю жизнь он ни разу не помянул Тамаре о материнской тайне. Ни

разу! Уйти на работу и не выяснить все стало делом невозможным. «Черт с ней, с работой, - подумала Тамара, - как-нибудь выкручусь, да ведь не на целый же день, ладно, можно и позвонить этой надутой индюшухе, ничего, проглотит». Она не стала задавать вопросов мужу, а подсоединила телефон к розетке и набрала номер магазина. Сказала, что муж заболел и она вызвала скорую помощь и ждет, придет, как только все уладит.

Директрисе это не очень понравилось, но Тамара не стала вдаваться в дискуссию и решительно положила трубку. Она разделась, вздохнула, вытщила из серванта остаток водки и, обращаясь к мужу, сказала:

- Пошли, Иван, посидим и ты мне все по порядку, спокойно расскажешь.

Когда водка была допита, а муж рассказал все, что знал и что запомнил из рассказа Петра Петровича, Тамара не только поверила, но в голове ее созрел план:

- Все! Ни дня, ни месяца не останусь здесь! - заявила она. - Проклятая богом страна, проклятые революции, все будь оно трижды, на три ряда, проклято! Завтра же продаем квартиру, дачу, все манатки, получаем загранпаспорта и уматываем отсюда! Уматываем, Иван! Уматываем!

В эту эмоциональную тираду вплелся телефонный звонок. Тамара подошла к телефону, кто-то спрашивал Ивана Ивановича.

- Это тебя, - сказала Тамара и положила рядом трубку.

- Здравствуйте, с вами говорит председатель фонда помощи животным. Семипов Сергей Никодимович. Вначале разрешите мне от всей души, от всего сердца, так сказать, поздравить вас с обретенным наследством и наше общество с благодарностью приняла бы вас, господин Крошкин, почетным членом нашего чисто экологического общественного движения...

Он еще что-то говорил, долго и воодушевлено. Иван Ива-

нович все это выслушал с завидным терпением, поскольку, что бы там не говорили, а все-таки приятно слушать дифирамбы, тем более, если они обращены к тебе. Такой наплыв почтения и почитания был для Ивана Ивановича внове, ему никогда в жизни не приходилось выслушивать зараз столько лестных слов о своей особе. Телефонная трубка то и дело источала мед и бальзам на душу Крошкина, и душа его утомилась, объелась меда и бальзама в тот день и вечер. На следующий день, уходя на работу, Тамара сказала мужу:

- Ты никому ничего не обещаешь, вишь, как их разобрало, разинули рты на чужое, теперь косяком пойдут.

И она была права, телефон то и дело звонил, кажется, десятки фондов и благотворительных организаций встали в очередь к телефону Крошкина. После обеда утомленный Иван Иванович выдернул телефон из розетки. Ушел в спальню, разделся, мечтательно посмотрел в потолок и умиротворенный уснул.

Вечером состоялся совет, мечтания матери и отца охладила дочь:

- Папа и мама, - сказала она, - пока мы не имеем на руках ни клочка юридической бумаги, так что губы раскатывать пока рано.

- Что же ты предлагаешь? - спросила Тамара

- Набраться терпения и ждать, - ответила дочь. - Если уж нашли папу эти самые юристы из Дрездена, то они же и дадут о себе знать, они не отступят, потому что и им обломится с папиного наследства.

На удивленный взгляд отца и матери, она ответила:

- Вы что же думаете, они там из любви к нам стараются? Как бы не так!

- Да откуда ты это все знаешь, дочь? - воскликнула Тамара.

- Знаю, - ответила Ольга таким тоном, что переспрашивать отпала охота.

- Как же ждать-то? - спросил Иван Иванович неизвестно кого. - Тут телефон пришлось отключить, все требуют, просят, умоляют помочь. Разве такое долго выдержишь?

- А ты, папа, помоги, если просят, - посоветовала дочь и спросила:

- У тебя уже есть чем помогать? У тебя уже валютный счет в банке с миллионами имеется? Ты уже в наследство вступил?

Словом, дочь спустила родителей с небес на землю и оказалось, что на земле стоять не так уж и плохо, по крайней мере, привычно. Прошла неделя, Иван Иванович сидел дома с отключенным телефоном, поскольку как только включал его, так начинались звонки от незнакомых, полужнакомых людей и от общественных организаций. Однажды позвонили даже из приемной самого мэра, поинтересовались, не нуждается ли в чем господин Крошкин?

Петр Петрович уже ни в чем не нуждался. Тамара ежедневно приносила с работы продукты, которые брала «под запись», словом, Крошкины ждали и дождались.

Однажды, уже весной, к их дому подъехало сразу три машины и из них вышла целая делегация. Правда, в квартиру вошли только четверо: замглавы администрации по социальным вопросам господин Березовский Абрам Самуилович и два иностранца с переводчицей.

В квартире был один Иван Иванович, к тому же одетый по домашнему, отчего чувствовал себя крайне неловко. Гости прошли в зал и Березовский, видя смущение Ивана Ивановича, посетовал на то, что не мог дозвониться и вот пришлось заявиться без предупреждения. Иностранцы, а это были немцы, держались подчеркнуто строго, даже сухо, говорил по сути дела только высокий, худощавый немец, девушка переводила с задержками и потому монолог доктора Рудольфа Фон Кроница изрядно затянулся. К тому же у этого доктора была нудная при-

вычка, говорить обстоятельно с отступлениями от темы.

Представившись как поверенный нотариальной конторы «Кронос и К» и показав соответствующие документы Крошкину, он изложил суть своего визита. Суть заключалось в печальном факте, что, по всей видимости, дед клиента, господин Густав Хуберт (он специально помянул несколько раз о том, что родство Крошкина с умершим миллиардером вероятно, но еще не достоверно), так вот предполагаемый дед Крошкина завещал все свое наследство «возможному ребенку мужского пола, единственного своего сына Ганса-Дитриха Хуберта». Как истинно верующий человек, завещание после ужасной катастрофы с сыном Гансом он не стал переписывать. По всем имеющимся у нас сведениям, Ганс-Дитрих Хуберт захоронен на специальном кладбище НКВД в поселке Калары.

Доктор продолжал говорить – монотонно, не ускоряя и не замедляя свою речь, обеспокоенный единственным - верно ли переведены его слова на русский.

- Следующий пункт завещания, – продолжал доктор, - определяет порядок вступления в наследство. Этот порядок обременен условиями. Я обязан особо сказать об этих условиях. Первое: наследник принимает гражданство Федеративной республики Германии. Второе: имеет местом постоянного жительства территорию Германии. Третье: в совершенстве владеет разговорным и литературным немецким языком. Четвертое: он и его дети принимают полную родовую фамилию отца.

Доктор Рудольф передал Ивану Ивановичу копию текста завещания, переведенного на русский язык, а также оставил номера телефонов своего представительства и германского посольства, сказав при этом, что в случае каких-то затруднений им там помогут.

В заключение почти часового разговора молчавший до этого времени второй немец положил на колени дипломат и вы-

ташил из него три пачки странной, не виданной до этого Крошкиным валюты, а также лист гербовой бумаги.

Переводчица, выслушав долгую речь второго немца, перевела Крошкину, что нотариальная контора понимает, в каких сложных условия находятся граждане великой державы и потому посчитала возможным выделить часть средств из тех, что перейдут впоследствии господину Хуберту-младшему в качестве наследства. И пояснила, что с этой суммы все сборы и налоги уже уплачены.

Немец ткнул авторучкой в бумагу и Иван Иванович понял, что в этом месте он должен поставить свою подпись. Одно его смущало, как расписаться, как обычно, или по-новому - Хуберт? Переводчица тоже не знала и стала спрашивать у представителей нотариальной конторы. Потом сказала Ивану Ивановичу, что поскольку он еще не сменил фамилию и не является гражданином Германии, пусть распишется так, как он это делает всегда. Часа через два посетители ушли, а замглавы города, не поняв, зачем, с какой стати долго тряс руку Ивану Ивановичу, приговаривая:

- Поздравляю, поздравляю, душевно рад, рад...

Казалось, если бы полгорода выехало в Германию на постоянное местожительство, он был бы рад безмерно!

* * *

Вечером Тамара пришла не одна, а с молодым человеком. Он представился Ивану Ивановичу Антоном Соломоновичем. Тамара была явно смущена и в десятый раз повторила мужу, что это хозяин магазина, в котором она работает. Антон Соломонович пришел не с пустыми руками и пока Иван Иванович и их гость обсуждали погоду и прогноз на будущий урожай, Тамара накрыла на стол и позвала мужчин.

Как оказалось, история появления на свет Ивана Ивано-

вича под фамилией Дитрих не была секретом для Антона Соломоновича, что и выяснилось после первой же рюмки превосходного армянского коньяка, выпуска еще прежней революционной эпохи,

- Между прочим, - сказал Антон Соломонович, посасывая дольку лимона, - мы все, по крайней мере, европейцы, являемся родственниками и довольно близкими. Это строго установленный научный факт, даже не генетический, а чисто арифметический, как в той древней индийской легенде о шахматах.

Он прервал свой монолог и поглядел на Тамару, Ольгу и Ивана Ивановича и сокрушенно покачал головой:

- Простите меня, занесло бог весть куда.

- Отчего же, интересно, - Тамара попыталась сгладить неловкость, правда, в математике мы не сильны, но наверное так оно и есть.

- А ладно. - махнул рукой Антон. - Я, собственно, вот по какому делу зашел, Иван Иванович.

Крошкин поглядел на него непонимающе, какое дело может быть у Антона и его? Тот прекрасно понял этот взгляд и ответил:

- Может, может, господин Крошкин! Еще как может, я так понимаю, что вы уезжаете в Германию?

- И как можно скорей. - буркнул Иван Иванович, явно томясь присутствием этого человека, который знает о нем больше положенного постороннему. Он несколько раз уже бросал сердитые взгляды Тамаре, но та не замечала их, или делала вид, что не замечает.

- У фирмы, которую я представляю, есть в Германии коммерческие интересы и мне бы хотелось иметь там своего человека, так сказать, родственного по духу, - Антон сделал многозначительную паузу и продолжил. - Конечно, я не требую к себе любви и других высоких человеческих качеств, меня уст-

роит, пусть Вам не покажется странным и диким, но это так, – честное слово.

Заметив удивленный взгляд Ольги, он спросил её: - Вы не верите в «честное слово»?

- Не верю, – ответила Ольга, прямо смотря в глаза Антону.

- И напрасно! Напрасно! Есть люди, которым можно верить. Вот взять Арчула – грузин из какой-то горной деревушки, почти безграмотен, но у него в крови каленым железом прописано – умри, а свое слово сдержи. Среди кавказцев много таких. И не дай Бог изменить состав крови, даже на чуток, даже невольно и всё – там, где была честь моментально место занимает нечисть!

- А вы всегда держите своё слово? – спросила Ольга.

- Сложный вопрос. Очень сложный. Если я скажу «да» – я совру, если я скажу – «нет» и это будет ложью. Я офицер, бывший офицер и сын офицера, так что честь для меня не пустое слово, но быть честным везде, со всеми – это юродство. Это, Ольга Ивановна, если хотите, святость. Помните у Пушкина: «Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его...»

Крошкин молчал. Антон почувствовал натянутость в отношениях с хозяином дома и стал прощаться.

- Спасибо за хлеб-соль, прошу покорно простить за причиненное беспокойство, может, что сказал не так.

Пожимая руку Ивану Ивановичу, сказал:

- А над моим предложением советую хорошенько подумать. Германия – великая страна и Вам, уважаемый, не дадут сидеть просто так с таким капиталом. Он запросится работать! Попомните мои слова, запросится!

Уже на пороге, обращаясь к Тамаре, сказал:

- Тамара Николаевна, я так полагаю, что Вам уже нет никакой нужды стоять за прилавком, я распорядюсь, чтобы вам все документы, ну, там расчешишко какой, сделали. Воистину,

нас сам Господь свел через искушение. Вы так не считаете?

Тамара что-то ответила ему, негромко и коротко, но никто, кроме Антона, не услышал этот ответ.

- Странный человек этот твой директор магазина, – сказал Крошкин, когда за Антоном закрылась дверь. - Мне показалось, он глаз положил на Ольгу.

- Чего ты мелешь? Ольга еще девочка... А ты еще рюмку дерни, так, может, еще чего-нибудь покажется. Привык сидеть в своей конторке, как жук-древоточец в ножке стола, а тут мир, огни, общение...

- Вот это-то меня и пугает, - сказал Крошкин и ушел в свою спальню.

* * *

Следующая неделя прошла в бешеном, непривычном для семьи Крошкиных темпе. Даже дочь Ольга перестала ходить в школу и включилось в процесс продажи квартиры, дачи, домашнего скарба, получения заграничных паспортов, обмена дойчмарок на рубли, покупки билетов на самолет до Москвы. Все это на фоне каких-то, ни к чему не обязывающих визитов и незнакомых визитеров.

* * *

И вот настал день отлета. Потянулись томительные часы ожидания в опустевших голых стенах с тремя чемоданами на полу, в которых было то, с чем расстаться не было сил. Ждали прихода такси.

- Иван, - сказала Тамара, вставая с чемодана, - я забыла купить минеральную воду.

- В аэропорту купим, - ответил Крошкин, мысли которого были на тысячи километров вдаль от этого сибирского городка, бродили по воображаемым улицам Дрездена, о котором он

ровно ничего не знал. Тамара снова села на чемодан и посмотрела на часы, до прихода такси оставался еще час.

- Стоило за час до выезда вызывать такси? Это твоя придумка, Иван. Жаль, не с раннего утра заказал.

- Ждать да догонять - последнее дело, - сказал Иван Иванович, в десятый раз проверяя в кармане пиджака, все ли в порядке с документами.

- А меня, как на грех, жажда мучает, - призналась Тамара. - Разобрало так, будто селедки наелась. Ты бы сходил в магазин и купил минералки.

- Ладно, схожу, - сказал Иван Иванович, набрасывая на себя элегантную, кожаную куртку, только входившую в моду.

Он вышел из квартиры и как пропал. Прошло полчаса, а его не было. Тамара несколько раз подходила к окну. Потом забеспокоилась и дочь, подошло время прихода такси, а Ивана Ивановича все не было, но и такси не было. Тамара позвонила по телефону в диспетчерскую, ей ответили, что такси вышло еще час тому назад, но при въезде в ваш квартал случилось ДТП и фирма высылает новое такси.

В бывшей квартире Крошкиной началась паника. Ольга собралась пойти в магазин и узнать, не был ли там отец, но не успела она открыть дверь, как зазвонил телефон.

Тамара схватила трубку и задыхаясь от волнения сказала: - Да. Слушаю. Крошкина, - и медленно осела около телефона.

- Мама! - закричала Ольга. - Мама, что с тобой? Что с папой?

Глаза Тамары неестественно закатились под лоб, что делало её лицо страшным, а тело обмякло и стало чудовишно тяжелым.

- А! А? А! - истошно закричала дочь и потащила мать в пустую комнату к трем сиротливо стоящим чемоданам. Она принялась рвать на груди вязаную кофточку и платье, пока не

показались большие, обмякшие груди. Ольга приложилась к ним ухом, как когда-то прикладывалась к ним губами, в надежде услышать биение сердца, но сердце матери ни подавало признаков жизни. У мамы как-то странно, по-чужому, жестко сложились губы и посинели. Дикий вопль разорвал в лоскуты звенящую тишину пустой квартиры.

- Мама! Мамочка ты моя! Родная ты моя! - Ольга бросилась к телефону, трубка висела и в ней слышались короткие гудки: пи-пи-пи...

Пальцы не слушались и номер «скорой» все время срывался, хотя Ольга уже поняла, что «скорой» здесь уже делать нечего. Она положила телефонную трубку на место, накрыла труп матери своей новенькой теплой «Аляской» и села возле телефона на пол, обхватив плечи руками. Она уже догадалось, что с отцом случилось нечто такое же страшное и непоправимое. Это убило ее мать.

Так, незаметно, сидя у телефонного аппарата, Ольга впала в дремоту-забытье, пока не ожил телефон. Звонили из морга и спрашивали, когда изволят забрать труп гражданина Крошкина? Словоохотливая дежурная по моргу, не понимая, с кем говорит и при каких обстоятельствах говорит, рассказывала, как такси сбило мужчину и этот мужчина по дороге в больницу скончался. Не упустила и тот факт, что при нем обнаружили документы, и заграничные паспорта...

Слушать все эти подробности было невыносимо. Ольга опустила телефонную трубку и не заметила, что положила мимо телефона. В трубке несколько раз спросили: «Але, Але...».

Потом раздались короткие гудки. Ольга сидела и не слышала эти бесконечные «пи-пи-пи». В голове было пусто, а сердце сжалось в болезненный ком и, кажется, тоже замерло в ожидании чего-то близкого, страшного и неизбежного.

Ей при живых родителях казалось, что она совсем взрос-

лая, но какой же маленькой, какой заброшенной и несчастной она была сейчас?

Здесь, на полу теперь уже чужой квартиры, рядом с остывшим телом матери Ольгу застал рассвет следующего дня.

В этот день они должны были, так мечталось, так думалось и планировалось, начать новую жизнь в «стране отца», в Фатерланд.

Весна 2002 год

ОТКУДА ТЫ, КОШКА?

Эта трагическая история имеет счастливый конец, что лишает её, строго говоря, права называться трагической, однако трагедия была, и счастливый конец также был. Судите сами: Колька Лавряшин с женой Татьяной жили на поселке «Березовая роща», в собственном доме о двух комнатах, из которых одна была кухней, а другая спальней. Вокруг дома шла обширная веранда на «три стены».

Николаю к описываемым событиям исполнилось двадцать восемь лет, пошел двадцать девятый, а Татьяне двадцать шестой год. Прожили они вместе пять лет, а семья, была бездетной. Вначале, год-два Татьяна просила Кольку: «Сделай мне ребеночка». На что он, со свойственной ему внешней грубостью, отвечал: «А что я делаю?». Потом она перестала напоминать ему о ребеночке, понимая, что муж сам глубоко переживает такую напасть.

Как-то так сложилось между ними, что ни Татьяна, ни Николай эту тему и пути разрешения этой проблемы не обсуждали с тех самых пор как она перестала просить его «сделать ребеночка». И то ли потому, что перестали обсуждать, то ли по другой какой причине, но Татьяна забеременела. Поверила она в это только на третьем месяце, удивилась и обрадовалась тому, как просветлели глаза мужа и расправились его плечи,

когда она сказала о своей беременности.

В положенное время родила девочку, а через шесть месяцев вопреки всем прогнозам забеременела снова. На этот раз она ничего не сказала мужу, а втайне от него сделала аборт.

Девочку назвали Катей и по настоянию Татьяны, хотя муж не замечал за ней религиозных наклонностей, окрестили в ближайшей церкви. Девочка росла крепкой и особых беспокойств у родителей не вызывала. Плакала, как говорила Татьяна, - «по делу». Требовала материнского молока или сухих пеленок, в остальное время лежала смирно, забавляясь погремушкой, а если её рядом не было, то своими пухленькими ручонками.

Ползать, ходить и говорить стала рано, удивляла знакомых чистым, неспешным, даже обстоятельным произношением слов. Создавалось стойкое впечатление, что ребенок прежде чем сказать думает, что сказать.

Участковый врач как-то заметил: «У вас ребенок с удивительно уравновешенной психикой, таких я редко встречал, особенно в наше проклятущее, во всех смыслах, время».

Время было проклятое Господом, шел 1995 год. Так вот, когда девочке исполнилось два года, а было это осенью, в сентябре месяце, она вышла гулять во двор. Происшедшее сама Татьяна не видела, на минуту вошла в дом, чтобы убрать чайник с плиты. Соседка Марта Андреевна рассказывала: «Собачка откуда-то приبلудная выбежала, сбила ребенка с ног. Остановилась над Танюшей на мгновение, лизнула несколько раз языком по лицу и переметнула через ограду».

И действительно, на девочке не было ни царапины, ни ссадинки, но Катя с этого мгновения оглохла и перестала говорить. Через час-два мать поняла, что у ребенка, ко всем бедам, еще и отнялись ноги.

Так началось хождение Лавряшиных по кругам дантова ада медучреждений. К началу зимы выяснилось, что местная

медицина бессильна. а до областной и тем более до столичной добраться у Лавряшиных не было средств. Тем не менее, Николай помимо основной работы электрика на шахте взялся еще подрабатывать в местном ЖЭКе. В конце февраля Лавряшины скопили необходимую сумму денег, и Татьяна уехала с дочерью в область. Вернулась она в середине марта с неутешительными известиями. Областная медицина оказалась бессильной. правда, деньги там брали куда охотнее, чем давали какие-либо гарантии или брали какие-то обязательства на себя.

- Ну что? - мрачно спросил Николай. - Что хоть говорят-то?

- Говорят? - переспросила жена, хотя ясно слышала вопрос мужа. - Говорят: «ума не приложат». Говорят: «никаких органических нарушений нет и девочка должна говорить, слышать и ходить».

- Должна... - Николай сплюнул на пол, чего раньше никогда не делал. На укоризненный взгляд жены ответил:

- Я бы на их «должна» вот так плюнул и растер.

Вскоре в доме появились бабки. Они шептали над девочкой, кропили её святой водой, плавили воск и выливали его в плошку над головой девочки, но всё без толку. Посоветовали сносить в церковь. Татьяна дважды носила, отстаивая на руках с дитём утренние и обеденные службы, но и это не принесло видимых результатов.

Оставалась Москва и Лавряшины стали копить деньги на поездку в Москву, но шахта, на которой работал Николай, в конце апреля закрылась и все их планы в одночасье рухнули.

Дата пятнадцатого мая 1996 года и даже час, где-то в половине четвертого, хорошо запомнился Лавряшиным, особенно Татьяне.

Было по-летнему тепло, даже жарко и Татьяна открыла в комнате, прямо над постелью своей недвижимой дочери окно и вышла на кухню приготовить кашу. Окно выходило в маленький дворик, сплошь поросшей непролазной черемухой.

Вернулась в комнату минут через десять и обомлела от испуга. На груди ребенка лежала здоровенная кошка. Когда Татьяна вошла, кошка повернула голову в её сторону и посмотрела на неё. Вполне допускаю, что Татьяна, рассказывая об этом задним числом, приписала кошачьему взгляду какую-то нечеловеческую мудрость. Этот взгляд остановил её и погасил вспыхнувшее намерение схватить за шкирку и выбросить в раскрытое настежь окно.

Она подошла к кровати и села на свое обычное место у изголовья дочери. Катя спала. Кошка посмотрела на Татьяну, как она говорит, «осуждающе», положила мордочку с белыми залысинами от носа через голову, дугой по ушам и громко замурчала. Татьяна, повинаясь какому-то необъяснимому наитию, инстинкту, встала и вышла.

Вечером пришел Николай, и она сбивчиво рассказала ему, что в спальне на груди их дочери лежит кошка и громко мурчит. Уставший Николай торопился на вечернюю смену, теперь он «дома не жил», а заскакивал только поесть, да и то не всегда, ничего из слов жены не понял и буркнул: «Вышвырни её, еще блох на кровать к ребенку напустит».

Однако Татьяна не «вышвырнула» кошку. Вечером, после ухода мужа, она зашла покормить дочь и сносить её в туалет. Кошка нехотя сошла с девочки и прыгнула на подоконник, а потом и во дворик. Сердце Татьяны ёкнуло и почему-то подумалось, опять-таки со страхом: «А вдруг не придет больше?»

Вообще-то в этот день Татьяна была как бы не в себе и плохо соображала, почему поступает так, а не иначе.

«Это было какое-то наитие, наваждение, - говорила она спустя несколько месяцев. - Я в первый день ходила как не своя, словно во сне. Если бы этим днём все и кончилось, то подумала бы, что все мне приснилась».

Кошка вернулась незамедлительно, едва мать положила ре-

бенка на место, и как в первый раз улеглась на грудь девочки.

«Тяжело же ей», - подумала Татьяна и руки сами потянулись снять кошку, но тут она увидела, что ручонки ребенка уцепились в кошачьи бока и в глазах её стоит страх. Татьяна отдернула потянувшиеся было к кошке руки и увидела - страх в глазах девочки исчез и она стала поглаживать кошку. Раздался глубокий и сильный, во всю комнату, звук мурчания.

На следующий день Татьяна выделила из скромного бюджета семьи часть денег на молоко кошке и больше не делала попыток ни кошку убрать с девочки, ни рассказывать что-либо мужу.

Кошка, когда Татьяна поднимала с постели дочь, вылакивала молоко и уходила во двор по своим кошачьим надобностям и возвращалась вновь, как только мать оставляла девочку.

Так продолжалось недели две. Однажды, когда Татьяна мыла ребенка в ванне и оставила её одну - пусть полежит, Катя согнула в колене одну ногу, **потом другую и вновь распрямила их.**

Это было чудо. Татьяна расплакалась. Подхватила дочку на руки, выбежала из ванны и закружилась с ней по комнате, выкрикивая бессмысленные, переполненные счастьем слова, а Катя вцепилась в волосы матери и та чувствовала через тело дочери, через собственные волосы, что и она радуется вместе с ней.

- Родная ты моя! Родная! Чудо ты мое ненаглядное! Господи! Кровинка ты моя! Ласточка! Счастье-то какое, Господи!

«Мне хотелось в этот момент схватить кошку и целовать её вместе с моей девочкой, - рассказывала она каждый раз, когда только подворачивался повод к этому. - Я обезумела от радости. Но когда на подоконнике появилась кошка и посмотрела на меня... Нет, Вы только не смейтесь! Посмотрела на меня, как строгая нянечка в больнице, у меня намерение поцеловать её исчезло. Легкомысленным это показалось».

Прошли сутки. Муж заскочил на несколько минут пообедать и Татьяна, от чего-то шепотом, поведала ему, что Катя,

кажется, стала поправляться, сегодня ножками стала двигать.

На этот раз до мужа дошла связь между кошкой и выздоровлением дочери и он вознамерился поглядеть на «мохнатого, мурчащего лекаря», но Татьяна воспротивилась его желанию.

- Не мешай ей лечить, - словно и на самом деле эта беспородная, прилудная кошка была известной в поселке лекаршей.

Муж поглядел на жену, подозревая, уж не тронулась ли она от горя. Татьяна поняла его сочувствующий взгляд и спросила:

- Что, уже похожа стала на полоумную?»

- А ты подумай, что ты сказала?

И в это время из комнаты раздался давно забытый голос дочери: «Мама!». Сбивая друг друга, они кинулись в спальню. На кровати сидела их дочь, но кошки рядом не было. Она исчезла.

2005 год.

СМЕРТЬ МАТЕРИ.

Деревня Урядино, где до конца прошлого века проживал Сёмочкин Василий Никанорович, располагалась посреди сибирских лесов, но пахотными местами выходила в черноземную степь. Удобное, во всех смыслах, местопредрасположение села развило в деревенских вкус к жизни и потому дотепроизводство, а также разные подсобные виды деятельности, как-то пчеловодство и огородничество, были в чести у них.

Сёмочкин работал в колхозе на всяких трудных работах и считал, что так оно и должно быть, что работа трудная, а хлебушек сладок. Он видел в работе смысл жизни и потому никогда не отказывался, не уваливал от труда. Колхозное начальство отмечало его труд похвальными грамотами, а Сёмочкин складывал их в стопку в «красном углу» горницы, как

раз под непрозрачной от времени иконкой. Матушка Сёмочкина была верующей, а отца не было, потому как отец героически погиб, защищая от фашистов Москву. Василий еще только пузыри пускал в зыбке и потому в пору своего младенчества не понимал героизм отца. Мать, оставшись вдовой, в одиночку поднимала его на ноги и обучала уму-разуму.

В той же горнице, под стеклом, наклеенные на картонку глядели на Сёмочкина и на его повседневную жизнь родственные ему люди. Сёмочкин настолько к ним привык, что не замечал их взглядов, разве что когда в горнице требовалось побелить стены известью, чтобы свету стало больше и известковый дух перебил запах пыли и тлена. Тогда приходилось все выносить во двор, под солнышко, чтобы оно своим теплом оживила старые вещи, вдохнула в них желание продолжать жизнь. А она протекала неспешно, обычным, искони заведенным порядком: старые люди упокоивались на сельском кладбище, а из роддома привозили новых. Сёмочкину из роддома никто никого не привез, хотя матушка его Пелагея Яковлевна подходила уже к тем годам, когда старые люди присматривают себе место для упокоения.

«Ты, Васенька, - говорила ему мать, - меня под березкой-то не ложи, березка-то из земли сок тянет, а я не желаю, чтобы из меня сок тянули. Ты меня положи в чистом месте, чтобы мне небушко ничто не загораживало, чтобы светло было мне днем, а ночью звездно.»

Сын обещал матери исполнить просьбу и даже уважил старую, сходил на кладбище и там они выбрали место.

«Вот ты, Васенька вовремя не женился, - упрекала его мать за вхолостую прожитую жизнь, - так тебя чужие люди хоронить будут, а уж меня - ты схорони».

С женитьбой у Василия Никаноровича не заладилось сразу, как он пришел из армии. Тягота армейской службы сказалась

на его мужских способностях, а высокое армейское начальство запретило Сёмочкину разглашать «государственную тайну» такой неприятности. Василий, чтобы не иметь конфуза от особ женского пола, избегал их настойчивого преследования, но этот мужской дефект никак не сказывался на его труде, а напротив придавал ему сосредоточенность и упорство.

Когда мать заводила разговор о своей смерти или о том, что сын бобылем живет, очень от таких слов было на его душе пасмурно. Сёмочкин плохо понимал, отчего тягость в душу приходит, когда матушка зачинает такие разговоры разговаривать. Не любил Сёмочкин разговоров, он больше любил чего-нибудь руками делать, а когда рукам дела не находил, то сильно страдал от этого. Другие-то на деревне бражку пили, а кто и водочкой баловался, а уж поговорить или песни какие попеть - таких любителей хватало. По тому, что руки Сёмочкина всегда скучали по труду, то соседи, заметив такое свойство его рук, а также молчаливость и всегдашнюю трезвость, приглашали его в свободное от колхозного труда время на свое подворье подсобить в работе.

И столько было охочих и сострадательных до скуки рук Сёмочкина людей - страсть! На собственное подворье времени у него не оставалось, разве что старуха-мать иной раз крикнет на очередного просителя труда Сёмочкина:

- Глаза бы у вас повылазили! Заездили парня, проклятые! Что у него дома дел нет?

Тогда Сёмочкин трудился на собственном подворье, которое не в обиду другим было обихоженым, взять сарай для коровы или курятник, или хлев для свинки - все было сделано на совесть, прочно, словно Сёмочкин решил жить два века.

Сёмочкин знал всю мужскую работу и даже такую мудреную, как класть печи, чтобы и дров мало ели, и тепла неугарного в дом давали достаточно. Но он плохо соображал насчет

своей выгоды и потому для сельчан труд Сёмочкина измерялся только их совестью. И еще Сёмочкин очень боялся всякого рода начальства и робел перед ним. Такое природное расположение свойства Сёмочкина затрудняло его движение к новому, непривычному порядку вещей, какое приключилось внезапно, по причине объявленных властью реформ.

Матушка его, Пелагея Яковлевна, узнав об этом от соседки, у которой в доме стоял телевизор, перекрестившись на образок, с дрожью в голосе прошептала: «Всё, Васенька, те-перича грабить зачнут». - и как в воду смотрела.

Поначалу грабили незаметно, даже никто не понял, что грабят. А потому не заметили, что в колхозном деле только поздней осенью заработанное выдают, а когда реформы начались, то в правлении колхозникам сказали, денег нет, а продукция, что они наработали сообща, вся ушла в счет погашения кредита.

Так умно сказали, да и ни кто-нибудь, а сам Пал Палыч, председатель колхоза, сказал, что только единицы поняли сказанное. С той поры и пошло так: «не украдешь - не проживешь». Тащили из колхозного добра, каждый по своей способности и разумению смысла жизни. По осени наезжали в село городские люди и покупали у селян мед и огородные овощи, а взамен оставляли бумажные деньги. Деньги были красивыми, прочными, но быстро выходили из употребления. Новые деньги были также красивыми и прочными, чего не скажешь о ценах в сельмаге. Цены совсем сбили с толку жителей Урядина и, чтобы окончательно не растеряться в этом вопросе, сельчане всё на свете начали считать в поллитрах. Например, новые кирзовые сапоги Сёмочкина стоили три поллитры. Смекалистые стали ставить брагу на самогон и тем самым пускали в оборот собственную монету.

Для Сёмочкина беда нынешнего положения вещей состояла в том, что он не умел красть, и потому жизнь его в

материальном плане резко ухудшилась, хотя нагрузка на труд рук его оставалась прежней. С другой стороны, Сёмочкин не мог красть по причине боязни начальства. Мать-старуха не раз говорила ему, попрекала тем, что сын не соображал своей выгоды. Пока Пелагея Яковлевна была в силе и выходила за пределы двора, то, как могла, поправляла несообразительность сына, но с началом реформ совершенно ослабела.

Сёмочкин же исправно ходил на колхозную работу, несмотря на приключившуюся реформу. Ходил и год, и два, и вот уже третий годок пошел его молчаливого хождения на общественный труд, как приключилась смерть его матушки.

Умерла она под утро, когда сын собирался на колхозную работу, а матушка его по обыкновению не вышла на кухню, чтобы проводить сына. Очень тогда Сёмочкин растерялся, потому как не было у него опыта хоронить кого-либо. И еще он испугался, что опоздает на колхозную работу и начальство будет им недовольно.

Вот так он впервые по своей воле зашел к соседу и рассказал ему про такую беду. Сосед, Черепухин Никанор Кузьмич, знал, что в таких случаях нужно делать. Он сказал Сёмочкину, что ему не следует бояться начальства, так как дело его уважительную причину имеет.

«Перво-наперво, - сказал Никанор Кузьмич, - нужен гроб, а во-вторых, нужно купить водки в сельмаге». И поинтересовался, есть ли у Семочкина деньги? Деньгами в доме заведовала его матушка и потому от такого прямого вопроса Сёмочкин очень даже огорчился, так как не мог сказать, есть ли деньги.

«Эх ты! Душа твоя проста! Как же так, до пятидесяти лет дожил, а таких понятий не имеешь?».

Вместе с Никанором Кузьмичом произвели в доме обыск и обнаружили несколько десятков старых денег и книжку сберегательную, на которой было записано две тысячи рублей.

«Дуй в район и объясни там свое положение», – сказал Черепухин и для пущей верности и надежности дал в сопровождение Сёмочкину своего сына Димку, который учился в районе в десятом классе.

Пока Сёмочкин ехал в район на попутной машине, сберегательная касса оказалась уже запертой. Димка ушел заночевать к своей тетке, а Сёмочкин пристроился на крылечке и всю ночь думал о жизни и смерти.

Занятие думать было непривычным, а самое главное томил безделье и не было в его теле привычной усталости, клонящей ко сну.

О чём и как думал Сёмочкин, о том нам неизвестно, но только утром нашла его на крылечке сберкассы заведующая, Агапова Нина Михайловна, и очень удивилась, обнаружив спящего мужчину рядом с дверью.

Она сказала: «Вы почто спите в неполюженном месте и, наверное, в нетрезвом виде?»

«Нет, - ответил ей Сёмочкин, - это я от горя и бессоницы сомлел, вас дожидаясь, и трезв я по причине того, что не пью».

«Насчет «не пью» - это вы зря сказали, но, учитывая ваше горестное состояние, я на такую глупость внимания не обращаю. Только зря вы меня дожидаетесь, - сказала Нина Михайловна, поворачивая ключом в замочной скважине. - Нужно радио слушать и телевизор смотреть, потому как сказано было всем, что вклады «замораживаются».

Долго соображал Сёмочкин у той двери ответ Агаповой, пока не пришел Димка. Парнишка попробовал растолковать заведующей сберегательной кассы про горе, постигшее Сёмочкина, да только у той были инструкции - вкладов не выдавать.

Так что Димка остался в райцентре, а Сёмочкин скорым шагом направился в свое село Урядино, имея в кармане сберкнижку, но не имея ни рубля денег.

Пришел к вечеру, потому как попутных машин не было, а председатель колхоза, проезжая мимо, не мог посадить Сёмочкина в свою, заграничного дела, машину. Да и Сёмочкин постеснялся протянуть поперек дороги руку. Кто он такой и кто председатель? Да и машина вон какая, вся блестящая, как чайник, который был подарен лет десять тому назад Сёмочкину на седьмое ноября. Председатель же Пал Палыч, если что и подумал, проезжая мимо бредущего Сёмочкина, так только одно - раздражение по причине празднующегося человека в рабочее время и удивление, что эта заразная болезнь дошла и до Сёмочкина.

Впрочем, мог и ничего такого не думать, он мог просто спать на заднем сидении своей мягко идущей машины и видеть какой-нибудь завлекательный сон. Мужчина он был еще видный и потому вполне имел право смотреть завлекательные сны, тем более что по большому, **японскому телевизору** в собственном кирпичном доме с балконом и мезонином он видел разные обнаженные женские фигуры и не только.

Сёмочкин вошел в свой дом, наполненный скорбным народом, словно в чужое помещение. Соседки мать обрядили и в гроб положили, так что дело оставалось только за ним, то есть за деньгами. Когда он рассказал о случившемся с ним в районе, то стали соображать, как тут быть.

«Вот что я надумал, Василий, - вымолвил, наконец, Черепухин после долгого молчания, - надо бы тебе коровку, того... - он чиркнул себе по горлу. - Мясо нынче в цене. А пока складчину соберем и займы дадим».

Жалко было Сёмочкину корову, ласковая была, но что поделаешь, нужно же схоронить тело матери. Черепухин собрал деньги, купил водки, распорядился отрубить трём курам Сёмочкина головы, сам же Сёмочкин в таких вопросах участие не принимал, а сидел в изголовье гроба и только кис-

тями рук всё время двигал. Так и просидел всю ночь до утра, а с утра до обеда, пока гроб выносить не вздумали.

И вот, когда гроб подняли с табуреток, тогда и Сёмочкин встал. Встал и вдруг громко и неприлично засмеялся. Очень он своим смехом всех огорчил, подумали - человек от горя умом тронулся. Но Сёмочкин смеялся потому, что слезы нынче стали дороги, а смех дешёв, но он никому не сказал этого, а если бы и сказал, то никто не понял бы такой ход его мыслей.

Прожил Сёмочкин после этого случая три года и похоронен был рядом с матерью, а дом и усадьба его перешли, как безхозные, зятю Черепухина. И правильно, под одну усадьбу можно всё подвести, да и потратился Черепухин на похороны Сёмочкина.

2001 год

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.	4
ГОРОД ГРЕМЯЩИХ ТРАМВАЕВ	4
ПРОКУРОРСКАЯ САГА.	8
ФРАНЦ КАФКА ИЗ ТАШТАГОЛА.	53
ТРОЕ	75
КОВЧЕГ	96
КАК БУДТО БЫ...	136
ЖИТИЕ СТРАННИКА.	155
ЕСЛИ В ДОМЕ ТЕРЯЮТСЯ НОЖНИЦЫ.	174
ВАСЯТКА.	189
БИЛЕТ В ФАТЕРЛАНД.	204
ОТКУДА ТЫ, КОШКА?	295
СМЕРТЬ МАТЕРИ.	300



еженедельная информационно-развлекательная
Прокопьевская
Газета
Наш телефон
625-849

ООО «Прокопьевская Газета»

Еженедельное информационно-развлекательное издание г. Прокопьевска.

Газета позиционирована на широкую читательскую аудиторию.

Выходит с 12 октября 2006 года. На сегодня действуют 168 торговых точек, в которых можно купить газету. Заключены договора о реализации газеты с ОАО «Почта России», ООО «Кузбасспечатъ», ООО «Роспечатъ». В ареал распространения газеты входят районы города: Тырган, Центральный и Зенковский районы, Ясная Поляна, Красная Горка, Березовая Роща, Маганак, Красный Углекоп, Киселевск (Роспечатъ), (Красный камень). За короткое время газета заняла свой сегмент на рынке печатных СМИ Прокопьевска.

Кто наш читатель? Это человек трудоспособного возраста, интересующийся жизнью города (главные события Прокопьевска отражены в газете), желающий изменить условия жизни, что-то приобрести или продать (большое количество бесплатных частных объявлений), желание быть юридически грамотным (регулярные консультации юристов).

При создании «Прокопьевской газеты» наши сотрудники стараются охватить как можно более широкий круг читателей. Принцип газеты: мы должны развлекать читателя и помогать ориентироваться в сегодняшнем, завтрашнем дне.

Основу наших читателей составляют люди среднего возраста, у которых есть дети. Для них у нас постоянно публикуется «детская страничка».

Для подростков, молодежи проводятся SMS-конкурсы, специально разработана страница с новостями шоу-бизнеса, кино и музыки плюс тематическая страница «DIGITAL SYSTEMS», посвященная новинкам в сфере компьютеров, мобильной связи, программного обеспечения.

В «Полезной страничке», в зависимости от времени года, домохозяйки, владельцы приусадебных участков могут найти кулинарные рецепты, полезные советы.

Страничка «Смех и деньги»: здесь публикуются итоги розыгрыша лотерей, конкурсы анекдотов и фоторепортажей, и, как ясно из названия, юмористические материалы.

По нашим исследованиям востребована у прокопчан «Православная страничка», которая выходит раз в месяц.

В настоящее время наблюдается повышение читательского интереса к еженедельнику «Прокопьевская газета», что создаёт благоприятные условия для роста тиража издания, а также для расширения круга читателей и рекламодателей.

Рубрики объявлений и рекламы: «Услуги», «Недвижимость», «Транспорт», «Требуются», «Разное».

E-mail: prokopgazeta@gmail.com



Наши проекты сегодня:

«ОБЪЕКТИВ»

Передача о современных, интересных людях, живущих как в нашем регионе, так и за его пределами, об их профессиях и делах, которыми они занимаются. О тех, кто в наше сложное время не стоит на месте, развивается в новых направлениях, выдвигает прогрессивные нестандартные идеи и способы их воплощения.

Пять новых выпусков в неделю с повторами каждый день.

«СПОРТ ЛАЙФ»

Цель спортивной передачи - пропаганда спорта и здорового образа жизни в Прокопьевске и за его пределами. Интервью с известными спортсменами, тренерами, комментарии экспертов и специалистов в данной области и отзывы болельщиков. Также передача рассказывает о людях, которые не равнодушны к любительскому и профессиональному спорту, достигших высоких вершин и о тех, которые помогают спортсменам достигать их. Четыре новых выпуска в месяц с последующими повторами в течение дня и недели.

«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ»

Всегда будет держать вас в курсе атмосферных событий. Три раза в день, семь дней в неделю.

«РУССКОЕ СЛОВО»

Авторская программа литератора Михаила Анохина. Раз в неделю с одним повтором.

ООО «ВИТА-плюс»

предлагает Вам воспользоваться услугами по изготовлению и размещению видеорекламы на канале «РЕН-ТВ» в г.Прокопьевске и рекламно-информационных материалов в «Прокопьевской газете».

Независимая Телевизионная студия «ВИТА-плюс»

делает телевидение ярче и интереснее.

Освещает события в новом формате.

Контактные тел. 69-10-30, 625-849.



**Иван Николаевич
ЗАРЕЧНЕВ**
Директор
ООО "ВИТА-плюс"

**Уважаемый жители городов
Прокопьевска и Киселевска!**

Цель нашей компании сделать
кабельное телевидение доступным
для каждого.

В ближайшем будущем вся страна
перейдет на цифровой
формат вещания.

Телевизионные программы можно
будет просматривать в зависимости
от интересов. Эта возможность
появится и у абонентов кабельного
телевидения.



**НЕЗАВИСИМАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
СТУДИЯ**

г. Прокопьевск, ул. Обручева, 41/120
тел. рекламной службы: 8 (3846) 69-10-30
e-mail: vita_tv@list.ru



**КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ**

г. Прокопьевск, ул. К. Либнехта, 13
ул. Обручева, 41/120

Диспетчер (Рудничный р-он): 8 (3846) 65-66-98
Диспетчер (Центральный р-он): 8 (3846) 67-05-40
Абонентский отдел: 8 (3846) 67-05-70

г. Киселевск, ул. Весенняя, 14/109
тел. 8 (38464) 5-12-36

Отпечатано в
ОАО «Прокопьевское полиграфическое производственное объединение»
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 4
тел. (3846) 61-27-98, 61-28-29
Заказ № 612. Тираж 500 экз.

Отпечатано: г. Прокопьевск,
ОАО "ПППО", пр. Шахтеров, 4.
Тел.: (83846) 61-28-29.